

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Факультет журналистики

Е.Н. КОРНИЛОВА

РИТОРИКА ИСКУССТВО УБЕЖДАТЬ

**СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ
АНТИЧНОГО МИРА**

Учебное пособие

3-е издание, дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим советом
по журналистике
УМО по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений



ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2010

УДК 82.085
ББК 76.12
К67

*Публикуется по решению редакционно-издательского совета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова*

Корнилова Е.Н.

К67 Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики античного мира: Учебное пособие. — 3-е изд., доп. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. — 240 с.
ISBN 978-5-211-05382-3

«Риторика», «ораторское искусство», «красноречие» — термины, восходящие к греч. ῥήτωρ, включавшее в себя не только понятия «оратор», «политический деятель», но и «учитель», «ритор».

История античной Греции и Рима охватывает огромный период в развитии европейской цивилизации, с XII в до н.э. по IV в. н.э., и неслучайно такое несложное на первый взгляд понятие, как «риторика», в различные века меняет свое значение. Принципы и приемы риторического учения, в течение многих веков составлявшие основу системы образования, сегодня важны для изучения, так как роль устного слова, красноречия безмерно возросла в электронных средствах массовой информации. Поэтому проследить эволюцию понятия и связанных с ним достижений в области распространения информации и идеологии является задачей данного учебного пособия.

Для студентов и аспирантов — филологов, журналистов, юристов, изучающих курсы риторики, специалистов-языковедов и всех, интересующихся историей красноречия.

УДК 82.085
ББК 76.12

Учебное издание

Корнилова Елена Николаевна

РИТОРИКА — ИСКУССТВО УБЕЖДАТЬ

СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ АНТИЧНОГО МИРА

Редактор *В.В. Протасова*. Художественный редактор *Ю.М. Добрянская*. Обложка художника *Л.Л. Михалевского*. Технический редактор *З.С. Кондрашова*. Корректор *Г.Л. Семенова*. Подписано в печать 28.03.2009. Формат 60×88 1/16. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 15,0. Уч.-изд. л. 14,2. Тираж 1000 экз. Заказ № . Изд. № 8355. Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета. 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7. Тел.: 629-50-91. Факс: 697-66-71, 939-33-23 (отдел реализации). E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru.

ISBN 978-5-211-05382-3

© Изд-во Моск. ун-та, 2010
© Михалевский Л.Л., худ. оформление, 2010



ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОРЕЧИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Особый вид творческой деятельности — искусство красноречия — было порождением исключительно греческой культуры и того мировоззрения, которое стало одной из основ европейской цивилизации. Литература Древнего Востока по отношению к риторике находилась, скорее, под влиянием греков. В Ветхом Завете мы встречаем немало примеров риторики пророков, но древние греки с библейскими текстами познакомились значительно позднее, примерно к III в до н.э., а античное красноречие насчитывало к этому времени более чем двухвековую историю. Почему именно Древняя Греция породила тот особый вид художественной деятельности, который сегодня может быть признан началом искусства убеждать, — истоком публицистики и журналистики в целом?

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ Открытие фундаментального принципа греческой культуры — принципа состязательности — в классической филологии принято связывать с именем знаменитого базельского профессора Якоба Буркгардта¹, учителя Фридриха Ницше. Буркгардт неопровержимо доказал, что греческий менталитет обладал удивительным свойством *Der agonale Mensch* (человека агонистического), выделявшим грека из окружающих его древних народов.

¹ Идеи Буркгардта о специфике мышления древних эллинов, о фундаментальной категории греческой культуры, коей является принцип состязательности, стали общим местом в работах зарубежных и дореволюционных русских специалистов в области античной истории и классической литературы. В позднейшей отечественной классической истории и филологии о нем несколько подзабыли.

Агонистика (от греч. ἀγών — состязания или игры, борьба, бой, судебный процесс) — неудержимое стремление к любым состязаниям во всех сферах общественной жизни и отличительная черта греческого быта — восходит к древнейшим мифологическим представлениям этого народа. Напомню истории нескольких мифологических героев, например Арахны и Марсия, дерзнувших вступить в состязание с самими богами и жестоко наказанных за желание превзойти в искусности Афины и Аполлона. Гордое стремление человека доказать свое превосходство не с помощью дубины и меча, а с помощью интеллекта, образованности, тренировки — качеств, скорее приобретенных в результате самосовершенствования, чем дарованных от природы, — значительно продвинуло вперед греческую цивилизацию. По словам профессора Петербургского университета Ф.Ф. Зелинского, «все, что только можно было, пронизывает дух агонистики: все полно состязания, от самого низменного и шутивого состязания в скорости выпивания кружки до самого серьезного и возвышенного состязания в красоте созданных поэм и рожденных детей»². В самых высоких патетических выражениях говорит Аристотель о присущем грекам чувстве соревнования: «...соревнование <как ревностное желание сравняться> есть нечто хорошее и бывает у людей хороших... Склонными же к соревнованию <ζῆλος> будут необходимо люди, считающие себя достойными тех благ, которых они не имеют, ибо никто не желает того, что кажется невозможным. Поэтому-то такими [то есть склонными к соревнованию] бывают люди молодые и люди, обладающие величием души, а также люди, владеющие такими благами, которые достойны мужей, пользующихся уважением; к числу этих благ принадлежит богатство, обилие друзей, власть и другие тому подобные блага... Если чувство соревнования проявляется по отношению к благам, пользующимся уважением, то сюда необходимо нужно относить добродетели и все то, с помощью чего можно приносить пользу и оказывать благодеяния другим людям...» (Aris., Rhet., 1388 a—b). Не случайно именно в Элладе родились исполненные духом соревновательности и привычные для европейца обычаи — Олимпийские игры, драматические состязания, публичные диспуты мудрецов и философов.

Прежде всего Древняя Греция была единственной древней цивилизацией, историки которой вели летоисчисление не от мифической даты рождения божества (ср. в христианстве — от рождения

² Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. 2-е изд. СПб., 1995. С. 188.

Иисуса или в исламе — от даты переселения Мухаммеда в Медину), а от Олимпийских игр — придуманных греками состязаний, проводившихся, по мнению ученых, с 776 г. до н.э. О знаменитом морском сражении при острове Саламин в 480 г. до н.э. древний грек сказал бы, что это было в первый год 75-й Олимпиады. Первоначально Олимпийские игры — религиозное действо в честь Зевса Олимпийского — имели теснейшую связь с культом умерших (ср. рассказ о состязаниях колесниц, борцов, бегунов, кулачных бойцов и т.д. на могиле Патрокла в «Илиаде» Гомера. — Ном., II., XXIII, 257—879). Позднее они превратились в уникальное событие в культурной и политической жизни Греции, поскольку в Олимпии собирались самые значительные силы греческого общества: в разное время читал здесь свои исторические труды Геродот, вел философские беседы Сократ, выступали Платон и Демосфен³. На время Игр по всей Греции устанавливался священный мир, который охранял гостей и участников состязаний от нападений во время празднества. Олимпийские игры давали великолепную возможность ученым и людям искусства познакомиться со своими творениями тысячи людей. Спортивная программа включала атлетические (бег, пятиборье, борьба, кулачный бой, многоборье) и конные соревнования (колесничный бег и скачки), состязания вестников и трубачей. Победитель в качестве награды получал простой оливковый венок, но слава его, его семьи и даже его полиса среди греков была безмерна. Имя его увековечивалось, скульпторы ваяли статуи, поэты слагали стихи и песни. Состязавшиеся здесь же певцы и музыканты награждались лавровыми венками.

Помимо Олимпийских существовало немало других состязаний — Пифийские игры в честь Аполлона, где наградой служил лавровый венок, Истмийские игры (праздновались на Коринфском перешейке каждые два года), Немейские игры (устраивались раз в три года в Немейской долине Пелопоннеса). Это подтверждает стремление грека доказать свое первенство путем соревнования и заслужить славу, дарованную божеством, ибо грек верил, что судьба непременно на стороне победителя.

Во-вторых, в классической Греции состязательный принцип был положен также в основу устройства драматических представлений. Дидаскалии (διδασκαλία — официальные записи итогов драматических состязаний) сохранили имена победителя

³ См.: Соколов Г.И. Олимпия. М., 1981. С. 8.

и других поэтов, имя первого актера и свод победителей на музыкальных состязаниях праздника Дионисий. Среди трагических поэтов первенство чаще всего присуждалось Эсхилу и Софоклу; их младший современник Еврипид удостоился первого места всего лишь трижды.

Отметим, что и само драматическое действо строилось на том же принципе агонистики, ведь агон — центральная часть классической греческой трагедии (например, в «Антигоне» Софокла спор Креонта с Антигоной)⁴ и комедии⁵. Одновременно великий Сократ — не только зритель, но и герой нескольких драматических действий — пришел к мысли о том, что истина — продукт диалогического мышления; она не существует сама по себе, а рождается в споре между людьми.

Наконец, сократовская система философии настаивала на наличии абсолютной истины, которая возникает из столкновения кардинально противоположных мнений и лежит где-то посередине. Та же агонистика живет в сократовском диалоге и его позднейшем жанровом преображении — диатрибе. Сократовская школа, вплоть до Платона и Аристотеля, стояла у истоков «греческого рационализма», — по определению С.С. Аверинцева, «первого европейского рационализма»⁶. Но сократовский и платоновский рационализм был теснейшим образом (по антитезе и аналогии) связан с идеями софистов — создателей и учителей риторики, людей, сформировавших культуру красноречия и весь стиль политической и правовой жизни демократических Афин.

СОФИСТИКА Понятие «софист» (от греч. σοφιστής — учитель мудрости) первоначально означало «способный стать мастером» или просто «мастер»⁷. Пиндар относит его к поэтам, т.е. мастерам поэзии⁸, Геродот — к Солону и Пифагору как к мастерам, опытным в делах человеческих и божеских⁹. К середине V в. до н.э. софистом стали называть учителя, дающего

⁴ См.: *Софокл. Антигона*. II, 441—525 // Софокл. Драммы. М., 1990.

⁵ См.: *Аристофан. Всадники. Агон*. I—II; *Облака*. IV, 889—948 // Аристофан. Комедии: В 2 т. М., 1954.

⁶ *Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма* // Античная поэтика. М., 1991. С. 9.

⁷ См.: *Миллер Т.А. К истории литературной критики классической Греции V—IV вв. до н.э.* // Древнегреческая литературная критика. М., 1975. С. 27.

⁸ См.: *Пиндар. Истмийские оды* // Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. V, 36.

⁹ См.: *Геродот. История*. М., 1969. I, 29; IV, 95.

платные уроки. Софистика — духовно-воспитательное и философское учение в Греции V и IV вв. до н.э. — базировалась на субъективизме и отрицании объективной истины. Разочаровавшись в истинности естественно-научных теорий, поскольку экспериментальная база естественных наук была еще недостаточной, софисты обратились к изучению более доступного объекта — человека и его мыслительного процесса. Не случайно именно в рамках софистики возникает знаменитое изречение Протагора: *«Человек — мера всех вещей: существующих — что они существуют, несуществующих — что они не существуют»*. Скептицизм софистов носил просветительский характер и был направлен на разрушение мифологического сознания, как, например, сочинение Протагора из Абдеры «О богах». Из анализа общественных отношений софисты заключили, что права, обычаи, законы подвержены изменениям. Эти творения человека отражают интересы различных общественных групп, в то время как природа следует неизменным законам. Данный постулат лежит в основе естественного права и руссоизма.

Заинтересовавшись «человеческим», софисты впервые систематизировали понятия лингвистики, логики, риторики, этики и, наконец, теории государственного устройства. Обратившись к теории речи, Протагор заговорил о грамотном и нормативном выражении мысли, откуда явились правила грамматики и орфоэпии¹⁰. Он открыл части речи, упорядочил родовые окончания греческих имен и ввел деление глаголов на четыре наклонения. Продик составил длинный список синонимов, а Горгий Леонтийский предложил способы украшения речи, заимствованные из поэзии. Гиппий из Элиды, Продик Кеосский занялись теорией убеждения, т.е. психологией и восприятием. Формализуя таким путем язык, софисты впервые устанавливали для словесного искусства формальные критерии: *ὀρθότης* — правильность на грамматическом уровне и *καιρός* — своевременность на стилистическом. При пытливом характере греков вообще и софистов в особенности не мог не возникнуть вопрос о самом происхождении языка, точнее о том, произошел ли он природным путем (*φύσις*) или путем особого рода договора (*θεσμός*). Впрочем, ближе к непосредственной цели софистики был вопрос о связанной речи, поэтому риторика равным образом ведет свое происхождение от них и непосредственно от Горгия.

¹⁰ Аристотель, к примеру, сообщает, что «роды имен... разделил Протагор: мужской, женский, средний» (Arist., Rhetor., 1407a).

Софистическое обучение было первым опытом «высшего образования», т.е. формированием личности с помощью рационалистического знания: взамен родовой элитарности софистика предполагала и создала другую — элитарность образованности и знания.

Как убедительно показал М.Л. Гаспаров, «софистика в целом была духовным детищем демократии. Демократическим было прежде всего само предложение научить любого желающего всем доступным знаниям и этим сделать его совершенным человеком — предложение, которым больше всего привлекали к себе внимание софисты. Демократический образ мыслей лежал и в основе тех представлений о знании, с которыми выступали софисты: в основе учения об относительности истины. Как в свободном государстве всякий человек имеет право судить о государственных делах и требовать, чтобы с ним считались, так и о любом предмете всякий человек вправе иметь свое мнение, и оно имеет столько же прав на существование, как и любое другое. Объективной истины нет — есть только субъективное суждение о ней: человек есть мера всех вещей. Поэтому нельзя говорить, что одно мнение истиннее другого: можно лишь говорить, что одно мнение убедительнее другого. Научить убедительности, научить “делать слабое мнение сильным” — так представляли свою главную задачу софисты-преподаватели. Для этого в их распоряжении были два средства: диалектика, искусство рассуждать, и риторика, искусство говорить; первая обращалась к разуму слушателей, вторая — к чувству. Тот, кто умело владеет обоими искусствами, может переубедить любого противника и добиться торжества своего мнения, а в этом и заключается цель идеального “общественного человека”, участвующего в государственных делах. Отсюда понятно то внимание, с каким софисты занимались теорией красноречия»¹¹.

СОФИСТИКА И СКЕПТИЦИЗМ

Наиболее известным постулатом софистики стала формула Протагора: «О любом предмете можно высказать два суждения, противоположных друг другу» (N 11, Diels, 80 (74), 136a).

Мировоззренческой основой софистики послужили, по меньшей мере, три известные философские школы эллинского мира: элеаты, пифагорейцы и последователи Геродота Эфесского.

¹¹ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994. С. 9—10.

Элеаты — последователи учения критика традиционной религии Ксенофана Колофонского, ставившие мнение (δόξα) на место научного знания о мире. Отсюда один из основных релятивистских постулатов софистики — многообразие возможных точек зрения на одну и ту же проблему, скептическое отрицание существования всеобщей и объективной истины и стремление утвердить правоту собственной позиции с помощью гимнастики ума, ловко построенной системы доказательств. В отрицании истинности знания, в равнодушном обещании слабому аргументу дать с помощью техники перевес над сильным «отражается крушение старых норм этики и относительность новой этики, открывающая широкое поле для красноречия»¹².

Прямой реакцией на беспринципность софистики становится учение Сократа и его последователей, опиравшихся на тезис «истина добывается в процессе диалога». Однако сократовская метода, враждебная софистике в основном своем постулате, дает толчок развитию диалогического мышления, а следовательно, развивает умение вести полемику, способствует дальнейшему развитию красноречия.

Пифагорейцы, связанные с учением Пифагора о гармонии небесных сфер, изучали воздействие звука (в основном музыкального) на человеческую душу. Позднее в качестве приема психического воздействия стал рассматриваться сам язык. Стиль речи, музыкальность, периодичность, ритмичность, различные стилистические украшения были признаны одним из важнейших способов убеждения (ср. Горгий).

Диалектика — учение Гераклита Эфесского (конец VI — начало V в. до н.э.) об изменчивости мира вообще (центральный афоризм πάντα ῥεῖ — *все течет*). Отсутствие статических состояний, изменчивость сама по себе как смысл объяснения Гераклитом мира натолкнула софистов на краеугольный тезис их учения, гласящий, что о каждой вещи можно судить двояко, причем с взаимоисключающих позиций. Релятивистские тенденции и скептицизм софистов явились следствием переноса окуляра диалектики Гераклита с природы на общество и человека в качестве предметов более доступных, понятных, близких. Сократ использовал гераклитову диалектику как основу в искусстве спора. Его метода требовала отличать утверждения доказательные от совер-

¹² Меликова-Толстая С. Античные теории художественной речи // Античные теории языка и стиля: Антология текстов / Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. Л., 1996. С. 147.

шенно недоказательных. Со временем из этого искусства родилась логика, оформленная Аристотелем в систему.

Помимо этого, как указывает Г. Властос, объяснение Гераклитом появления государства и его структур как способа установления всеобщей справедливости вдохновило Солона на проведение реформ, а в период расцвета Афин легло в основу их государственного строя¹³. В дальнейшем мысль Гераклита о справедливости была оформлена в Афинах в двух терминах: *ἰσωνομία* — равенство в политических правах и *ἰσηγορία* — свобода слова, право апелляции к народному собранию, возможность в открытой публичной дискуссии высказать собственное мнение.

Уже после реформ Солона *ἰσηγορία* стала пониматься как синоним термина *δημοκρατία*, т.е. власть народа¹⁴.

Очевидно, что все эти философские, политические и эстетические достижения могли развиваться только в комплексе и поддерживая друг друга в условиях необыкновенной духовной атмосферы демократических Афин V в. до н.э.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НЕ СЛЕДУЕТ, ОДНАКО, ПОЛАГАТЬ, ЧТО ПЕРВЫЕ РИТОРЫ V в. до н.э. НАЧИНАЛИ НА ПУСТОМ МЕСТЕ. К ИХ УСЛУГАМ СУЩЕСТВОВАЛА ДРЕВНЕЙШАЯ ИЗУСТНАЯ ТРАДИЦИЯ ЭПИЧЕСКОЙ И ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ, В СОБСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ И ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ СОЗДАВАВШАЯ ОБРАЗЦЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА. БОЛЬШИНСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ УКАЗЫВАЮТ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЦАРЕЙ ПЕРЕД ВОИНАМИ В «ИЛИАДЕ» ГОМЕРА КАК НА РАННИЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ¹⁵. ВОТ КАК ЗВУЧАТ ОНИ В СЦЕНЕ РАСПРИ АГАМЕМНОНА С АХИЛЛЕСОМ В I ПЕСНЕ «ИЛИАДЫ»:

Царь, облеченный бесстыдством, коварный душою мздолюбец!
Кто из ахеев захочет твои повеления слушать?
Кто иль поход совершит, иль с враждебными храбро сразится?
Я за тебя ли пришел, чтоб троян, укротителей коней
Здесь воевать? Предо мною ни в чем не виновны трояне:
Муж их ни коней моих, ни тельцов никогда не похитил;
В счастливой Фтии моей, многолюдной, плодами обильной,

¹³ *Vlastos Gr.* Equality and Justice in Early Greek Cosmologies // *Studies in Presocratic Philosophy*. L., 1970. P. 71—72.

¹⁴ *Lewis J.D.* Isegoria at Athens: When did it Begin? // *Historia*. 1971. Vol. 20; *Woodhead A.G.* Istorion and the Council of 500 // *Historia*. 1967. Vol. 16.

¹⁵ См.: *Козаржевский А.Ч.* Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу. М., 1980. С. 8—9; *Ученова В.В.* У истоков публицистики. М., 1989. С. 6—8.

Нив никогда не топтал; беспредельные нас разделяют
Горы, покрытые лесом, и шумные волны морские.
Нет, за тебя мы пришли, веселим мы тебя, на троянах
Чести ища Менелаю, тебе, человек псообразный!
Ты же, бесстыдный, считаешь ничем то и все презираешь,
Ты угрожаешь и мне, что мою ты награду похитишь,
Подвигов тягостных мзду, драгоценнейший дар мне ахейан?..

(Ил., I, 149—162. Пер. Н. Гнедича)

Уязвленный за живое Ахилл защищает перед собранием ахейских воинов свое право на рабыню, доставшуюся ему в результате раздела воинской добычи. Звучат гневные риторические вопросы, восклицания, обличающие бесстыдство и мстительность «царя царей». Очевидно, наставник Ахилла Феникс обучал его как будущего царя красноречию, о чем он сам упоминает в обращении к оскорбленному герою:

μύθων τε ῥήτῃρ ἔμεναι πρῆκτῆρά τε ἔργων.

Был бы в речах ты вития и делатель дел знаменитый.

(Ил., II, IX, 443. Пер. Н. Гнедича)

А вот иной пример речи уже не обличительной, а защитительной, вызывающей не к справедливости, но к милосердию:

Я же несчастнейший смертный, сынов взрастил браноносных
В Трое святой, и из них ни единого мне не досталось!
Я пятьдесят их имел при нашествии рати ахейской...
...Многим Арей-истребитель сломил им несчастным колена.
Сын оставался один, защищал он и град наш, и граждан;
Ты умертвил и его, за отчизну сражавшегося храбро Гектора!
Я для него прихожу к кораблям мирмидонским;
Выкупить тело его приношу драгоценный я выкуп.
Храбрый! почти ты богов! над моим злополучием жалься,
Вспомни Пелея-отца: несравненно я жальче Пелея!
Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:
Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю!

(Ил., XXIV, 493—516. Пер. Н. Гнедича)

Эти жалобные стенания старца Приама трогали сердца людей разных поколений и не могли не быть замеченными риторам, стремившимися прежде всего к эмоциональному воздействию на слушателя. Поскольку повествование Гомера основывалось на реальных жизненных ситуациях, в его поэмах несложно было обнаружить великолепные описания случаев, становившихся в V в. до н.э. предметом судебного разбирательства. Убийство женою

мужа с помощью любовника — сюжет достаточно распространенный в аттическом судопроизводстве — описан Гомером на материале Аргосского цикла мифов. Вот какой рассказ из уст тени Агамемнона слышит Одиссей, посетивший мрачное царство Аида:

Видеть, конечно, немало убийств уж тебе приходилось —
И в одиночку погибших, и в общей сумятице боя.
Но несказанной печалью ты был бы охвачен, увидев,
Как меж кратеров с вином и столов, переполненных пищей,
Все на полу мы валялись, дымившемся нашею кровью.
Самым же странным, что слышать пришлось мне, был голос Кассандры,
Дочери славной Приама. На мне Клитемнестра-злодейка
Деву убила. Напрасно слабевшей рукою пытался
Меч я схватить умирая, — рука моя наземь упала.
Та же, бесстыжая, прочь отошла, не осмелившись даже
Глаз и рта мне закрыть, уходящему в царство Аида.
Нет ничего на земле ужаснее, нет и бесстыдней
Женщины, в сердце своем на такое решившейся дело!
Что за дело она неподобное сделать решилась,
Мужу законному смерть приготовив коварно!

(Одисс., XI, 416—430. Пер. В. Вересаева)

Впоследствии подобные описания станут основной частью судебной речи — повествованием о случившемся. В течение многих столетий Гомер оставался незыблемым авторитетом античного мира, но примеры красноречия подавал и Гесиод — мастер меткого афоризма и краткой формулы:

Слава худая мгновенно приходит, поднять ее людям
Очень легко, но нести тяжеленько и бросить непросто.

(Гесиод. Труды и дни, 761—762. Пер. В. Вересаева)

РОЛЬ ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА В ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В VII в. до н.э. с уходом в прошлое эпохи царей и усилением демократических тенденций в греческом полисе все большее значение приобретает звучащее слово (ἰσχυρία — живое слово как фактор функционирования государственной системы), обращенное к коллективу с призывом к действию. Таким коллективом чаще всего является строй воинов, которых необходимо вдохновить для битвы. Из потребностей жизни возникают еще очень близкие к эпической поэзии по размеру и лексике *эмбатери* (ἐμβάτηριος) — строевые песни, призывающие к стойкости и доблести:

Требует слава и честь, чтобы каждый за родину бился,
Бился с врагом за детей, за молодую жену.
Смерть ведь придет тогда, когда мойры прийти ей назначат.
Пусть же, поднявши копье, каждый на битву спешит,
Крепким шитом прикрывая свое многомогущее сердце
В час, когда волей судьбы дело до боя дойдет.

(Калин. Пер. Г. Церетели)

Самый прославленный автор эмбатериев в Греции, конечно, Тиртей. Его стихи полны глубокого патриотизма, духа единения и гражданственности, присущих политическому и торжественному красноречию классической эпохи:

Общее благо согражданам всем и отчизне любимой
Муж приносит, когда между передних бойцов,
Крепости полный, стоит, забывая о бегстве постыдном,
Жизнь и стойкий свой дух битве вверяя в борьбе,
Бодрость соседа в строю возбуждая отважною речью,
Вот какой муж на войне доблестью славен всегда.

(Тиртей. Пер. В. Латышева)

Не случайно как раз с именем Тиртея связана легенда, придающая некий мистический смысл звучащему слову. Как рассказывает Павсаний, хромой школьный учитель из Афин Тиртей был послан в Спарту по совету Оракула. Спартанцы несли тяжелые потери во второй Мессенской войне и обратились к афинянам с просьбой о помощи. Вид хромого учителя, с трудом сошедшего с колесницы, привел спартанское войско в уныние. Однако Тиртей так воспламенил дух спартанцев своими песнями, что они наголову разбили врагов¹⁶.

Это предание, вероятно, впоследствии сложено в Афинах, поскольку из анализа текста и других данных можно предположить, что по происхождению Тиртей скорее был спартанец. Тем не менее здесь поклонение эллинов звучащему слову является наглядным примером. В их трактовке истории слово действительно «брало города» и освобождало острова.

Сходная легенда известна нам и из рассказа Плутарха о жизни величайшего реформатора Греции Солона¹⁷. Прежде чем стать архонтом в Аттике, Солон подвигнул сограждан на освобождение острова Саламин. Этот остров контролировал вход в афинскую гавань Пирей, но был захвачен соседней Мегарой, что приносило

¹⁶ См.: *Павсаний*. Описание Эллады: В 2 т. СПб., 1996. Т. 1. IV, 15, 6; 18, 1.

¹⁷ См.: *Плутарх*. Солон, 8—10 // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М., 1994.

неисчислимыя беды живущим морской торговлей афинянам. Совершив несколько неудачных военных операций и отчаявшись вернуть себе власть над Саламином, афиняне постановили запретить под страхом смертной казни само упоминание о ненавистном острове. Тогда же молодой Солон сложил «очень изящную», по словам Плутарха, элегию в 100 стихов о Саламине и, притворившись умиленным, в рубище нищего прочел ее на площади при большом стечении народа. Афиняне устыдились своего малодушия и назначили Солона предводителем юных воинов. Вскоре под его руководством Саламин был отбит, а впоследствии и выигран в суде процесс с Мегарой на право владения островом.

Поэтическое слово, обращенное к народу, становится главным политическим оружием Солона-реформатора, человека, заложившего основы демократии и оставившего значительный след в литературе:

Законной властью облеченный, что сулил, —
...Я начертал; всем равный дал и скорый суд.
Когда б другой, корыстный, злонамеренный,
Моим рожном вооружился, стада б он
Не уберег и не упас. Когда бы сам
Противников я слушал всех и слушал все,
Что мне кричали эти и кричали те,
Осиротел бы город, много пало бы
В уособице сограждан.

(Солон. Пер. Вяч. Иванова)

Меткий, сочный, образный язык поэтов и философов составлял основу эрудиции древнего грека, поскольку научные знания о природе были еще очень приблизительными. Отсюда огромная любовь к цитированию в позднейшей риторике; отсюда же стремление зафиксировать крылатые фразы на века — высечь на камне и установить скрижали в наиболее людных местах. Постепенно греки начинают сооружать алтари не только богам и героям, но и простым смертным, которые погибли, защищая отечество. В парадной речи Перикла на могиле павших афинян в первый год Пелопоннесской войны о таких людях сказано: «...отдавая жизнь за родину, они обрели себе непреходящую славу и самую почетную гробницу не только здесь, мне думается, где они погребены, но повсюду, где есть повод вечно прославлять их хвалебным словом или славными подвигами. Ведь гробница доблестных —

¹⁸ Фукидид. История. М., 1993. II, 43, 2—3.

вся земля»¹⁸. Последняя реплика, по словам комментаторов, принадлежала самому Периклу, а не историку, передавшему нам эту речь. Обелиски, памятные надписи, эпитафии на могилах воинов, поэтов и философов, выполнявшие в Античности функции пропаганды самых различных идей, сохраняют для потомков значение исторического источника.

И все же главную роль в античной культуре играет изустное слово. «Слово — властитель великий, а телом малый и незаметный; творит оно божественные деяния, ибо способно бывает и страх пресечь, и горе унять, и радость вселить, и жалость умножить...» — утверждает в одной из немногих сохранившихся речей родоначальник аттического красноречия Горгий¹⁹.

Из свидетельств некоторых античных авторов можно заключить, что античный грек вовсе не знал чтения «про себя». К примеру, александрийский поэт III в. до н.э. Каллимах рассказывает историю двух влюбленных — Акконтия и Кидиппы. Встретив красивую девушку и полюбив ее, Акконтий замыслил хитрость — в храме он подбросил ей яблоко с надписью: «Клянусь, я выйду замуж только за Акконтия». Находясь перед жертвенником богини, девушка читает надпись и фактически произносит клятву. Когда родители пытаются выдать Кидиппу замуж за другого, она тяжело заболевает. Так ловкий влюбленный добивается своего... Обратим внимание на малозначительную на первый взгляд деталь: Кидиппа читает надпись... вслух! Даже в поздние века Античности «Amores» Овидия и сатиры Сенеки были рассчитаны не на чтение глазами, а на декламацию — произнесение вслух. Культура Греции и Рима до конца античного мира была культурой устного, а не письменного слова. Отсюда становится понятным, какое значение для развития художественного стиля античной литературы имело красноречие — «жанр, в котором звучащее слово царило полновластнее всего»²⁰.

ДЕМОКРАТИЯ И РИТОРИКА Классическая афинская демократия формировалась в конце VI — начале V в. до н.э. усилиями прославленных реформаторов родоплеменной общины Солона, Клисфена, Эфиальта. Создание неизвестного доселе государственного устройства было делом нескольких поколений и проходило на фоне напряженной социальной борьбы.

¹⁹ Горгий. Елена, 8. Цит. в пер. С. Меликовой-Толстой по: Античные теории языка и стиля. Антология текстов / Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. Л., 1996.

²⁰ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 7.

Главным демократическим достижением Афин и древние, и нынешние историки продолжают считать правовое устройство государства. К началу VI в. до н.э. жители Аттики, как и прочие греки, страдали от произвола *евпатридов* (знати), превыше всего ценивших благородство происхождения и уровень благосостояния. Родовая аристократия имела свой совет — Ареопаг, который решал все вопросы — от государственных до уголовных. Постановления Ареопага принимались согласно устно передаваемой традиции, вне писаных законов. Большой победой афинского демоса стала запись законов, произведенная архонтом-фесмофетом Драконтом. Аристократ Драконт сделал вынужденную уступку требованиям народа, прослышавшего о справедливости, царящей в Локриде — области в Центральной Греции, где некий Зелевк записал законы и стал творить суд в соответствии с записью как над аристократами, так и над «подлым народом». Примеру Зелевка последовали Харонд из Катаны, Фидон из Аргоса и Драконт, чьи законы, впрочем, вошли в поговорку как символ жестокости (*драконтовы меры*). С реформой Драконта жалобы Гесиода на «царей-дароядцев» прекратились.

По мнению М.М. Бахтина, благодаря особому типу греческой культуры, связанному с реальным хронотопом площади (агоры), оформилось и раскрылось «автобиографическое (и биографическое) самосознание человека и его жизни на античной классической почве»²¹. Ведь «античная площадь — это само государство (притом все государство со всеми его органами), высший суд, вся наука, все искусство, и на ней — весь народ. Это был удивительный хронотоп, где все высшие инстанции — от государства до истины — были конкретно представлены и воплощены, были зримо наличны. И в этом конкретном и как бы всеобъемлющем хронотопе совершались раскрытие и пересмотр всей жизни гражданина, производилась публично-гражданственная проверка ее.

Вполне понятно, что в таком биографическом человеке (образе человека) не было и не могло быть ничего интимно-приватного, секретно-личного, повернутого к себе самому, принципиально одинокого. Человек здесь открыт во все стороны, он весь вовне, в нем нет ничего «для себя одного», нет ничего, что не подлежало бы публично-государственному контролю и отчету. Здесь все сплошь и до конца было публично.

²¹ Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 282.

Вполне понятно, что в этих условиях не могло быть никаких принципиальных различий между подходом к чужой жизни и к своей собственной жизни, то есть между биографической и автобиографической точками зрения»²².

Главный оборонительный рубеж аристократии был сломлен, и настало время Солона — отца-основателя афинской демократии. Именно при Солоне в Афинах был создан суд присяжных, или **гелиэя** (от греч. ἡλιαία — солнечное место собраний), — демократический верховный суд, судьей в котором мог быть любой гражданин Аттики вне имущественного ценза, достигший тридцати лет. Смотря по важности дела, судейские заседатели избирались жребием по 201, 401 и 501, а в особо важных уголовных процессах — 1001, 1501 или 2001 судьей. В исключительных случаях (*остракизм*) судебную палату образовывали 6000 гелиастов. Численность каждой коллегии исключала возможность подкупа суда. Перед обсуждением дела гелиасты приводились к присяге (клятва обязывала к справедливости и соблюдению закона). Однако Солонов суд не имел современных институтов прокуратуры, следствия и защиты. Обычно обвинителем выступал сам потерпевший, в рассказе которого излагались материалы дела (т.е. выполнялись функции следствия). В случае смерти потерпевшего или иной причины, делавшей невозможным его выступление в суде, по законам Солона мог выступить «всякий желающий», т.е. родственник, друг или просто гражданин, ратующий за справедливость. Позднее эта мудрая идея, базировавшаяся на идеале гражданственности и благозакония (εὐνομία), выродилась в форму доносительства и вымогательства (сикофантия времен Пелопоннесской войны — от греч. συκοφαντία (ложный донос, клевета; значение слова «темно»). Функции защиты выполнял сам обвиняемый и только позднее — наемный оратор. Понятно, что решение суда присяжных во многом зависело от впечатления, которое производил на собрание тот или иной из тяжущихся. Убедительность и логичность речи, естественность и благородство поведения, умение разжалобить судей имели немаловажное значение. Отсюда возникло стремление блестяще говорить, умение держать себя на публике и представляющиеся нам наивными театральные приемы, позволяющие демонстрировать раны, полученные при защите отечества, или многочисленных иждивенцев, призывающих сжалиться над судьбой кормильца.

²² Там же. С. 282—283.

После заслушивания сторон путем тайного голосования без дебатов выносился приговор. Законы Солона навсегда определили правовой быт Афин. В обывательском сознании древних Афины навечно стали «городом адвокатов», а его граждане — «вечными сутягами». 600 лет спустя, во II в. н.э., Лукиан продолжал шутить: «Всякий раз, вглядываясь в Гетику, я замечал сражающихся гетов, когда же оборачивался на скифов, то видел их кочующими с кибитками. Слегка переведя взгляд в сторону, я мог наблюдать обрабатывающих землю египтян; финикийцы путешествовали, киликийцы совершали разбойничьи набеги, лаконяне сами себя бичевали, афиняне судились»²³. Несмотря на шутки, уже современникам Солона стало ясно, что демократический строй немыслим без существования развитой юридической системы — одного из важнейших гарантов прав гражданина, чего совсем не требуется в обществах авторитарного типа. Демократия открыла, что суд является наиболее цивилизованным способом решения конфликтов между гражданами, и потому именно из Афин пришли к нам первые образцы судебного красноречия.

Однако афинский суд допускал разбирательства по непредусмотренным законами преступлениям, как было в случае суда над Сократом (399 г. до н.э.), когда смертный приговор вынесли по обвинению в инакомыслии. Афинская демократия «драконтовыми мерами» защищала свою государственность, всячески устраняя разрушителей полисной идеологии. Еще в начале V в. до н.э. при Клисфене был введен остракизм (от греч. *ὄστρακον* — черепок) — решение о насильственном изгнании под угрозой смертной казни. Раз в год Народное собрание выносило решение: следует ли организовывать остракизм. Остракизму обыкновенно подвергались люди нерядовые: выдающиеся политические и государственные деятели. Подвергнуться остракизму надо было еще заслужить. Так, афиняне подвергли остракизму реформатора Солона и изгнали его из Аттики на 10 лет. В случае принятия решения об остракизме в суде организовывалось голосование с помощью черепков, на которых каждый судья писал имя политического деятеля, опасного для демократии (потенциального претендента на тиранию). Изгнание считалось решенным, если против обвиняемого подавалось не менее 6000 голосов. Афинский суд трижды подвергал вождя афинской демократии Перикла остракизму, но ни разу количество черепков с его именем не достигало 6000. Остракизм был формой высылки без лишения

²³ Лукиан. Икароменипп, или Заоблачный полет // Лукиан. Избранное. М., 1962. С. 197.

гражданских прав и конфискации имущества, но для глубоко патриотически чувствующих греков, стремившихся «видеть хоть дым от родных берегов, вдалеке восходящий» (Hom., Od., I, 58), это была страшная казнь. Аристид вне Афин утратил прозвище Честнейший, Алкивиад лишился вошедшей в пословицу храбрости, Сократ предпочел выпить чашу с цикутой...

С середины V в. до н.э. 6000 гелиастов стали получать за свою деятельность содержание в размере двух, позднее трех оболов (прожиточный минимум на день). Последовательный защитник демократии Перикл ввел эту меру, дабы позволить самым бедным выполнять свои гражданские обязанности без вреда для благосостояния и здоровья.

Другим достижением демократически мыслящего Солона стала реформа **эκκλησι** (ἐκκλησία — букв. с греч. *собрание вызванных*, так как о дне его созыва заблаговременно возвещали глашатаи, разосланные по стране) — вече, которое существовало еще при басилеях-царях как пережиток родоплеменной организации. Солон лишил Ареопаг — мощнейший рычаг аристократии в государстве — основных политических функций и передал их **эκκλη**-сии, оставив за прежним судом лишь решение дел о святотатстве. Теперь именно вече принимало решения о войне и мире, об отношениях с другими государствами, о праве высылки, выбирало должностных лиц и осуществляло контроль за их обязанностями. В 509 г. до н.э. Клисфен продолжил демократические реформы Солона, по-новому организовав гражданское население Афин. В результате «смешения граждан между собой» и разрушения родовых связей аристократия навсегда утратила власть, а Аттика стала делиться на 10 административных фил.

В **эκκλη**сии все свободные и полноправные граждане имели право голоса. Формула глашатаев «Кто из граждан старше 40 лет имеет сказать нечто полезное для народа?» явилась полнейшим выражением плебисцитарной демократии (в отличие от парламентской, где право голоса имеет только выборный представитель, а не каждый гражданин). В последние годы существования афинской демократии Демосфен упрекал афинян за неразумное использование свободы слова, предоставляемой не только гражданам: «Свободу речи во всех других случаях вы считаете настолько общим достоянием всех живущих в государстве, что распространили ее и на иностранцев, и на рабов, и часто у нас можно видеть рабов, которые с большей свободой высказывают то, что им хочется, чем граждане в некоторых других государствах» (Demosth., IX, 3). Теперь магистраты (должностные лица) добились назначения Народным собранием и отчитывались перед

ним в своей деятельности с помощью речей. Поскольку в экклесии могли одновременно присутствовать до 3000 граждан, принимавших решения, роль политического оратора непомерно возросла.

Наконец, **совет**, или **буле** (βουλή), тоже был создан Солоном, изъявшим право на подготовку дел для слушания в Народном собрании у Ареопага и передавшим это право специальному совету. При Солоне в совет избирались 400 граждан (по 100 от каждой филы). Клисфен увеличил его до 500 (по 50 от каждой филы), и под этим названием совет вошел в историю. **Совет пятисот** стал высшим административным органом демократических Афин, в котором все решения принимались коллегиально, и умение убедить в своей правоте стало главным оружием политика. Десятая дежурная часть Совета пятисот называлась **пританией** и по очереди выполняла государственные функции в течение $\frac{1}{10}$ части года (35—36 дней). Члены Совета пятисот — пританы — избирались на один год по жребию из числа наиболее достойных кандидатов, выдвинутых на собраниях по филам (подкуп исключен — рука Провидения дает власть). Аристократическая коллегия архонтов отошла на задний план.

В результате демократических реформ, проводимых в Афинах в конце VI — начале V в. до н.э., *ораторское слово превратилось в необходимое звено государственной системы*. Несомненно, структура афинской рабовладельческой демократии способствовала развитию ораторского искусства: дебаты в Народном собрании, Совете пятисот, в суде присяжных, необходимость отстаивать свои взгляды и убеждать в своей правоте слушателей вознесли на невиданную доселе высоту роль звучащего слова. Не случайно богиней-покровительницей ораторов была избрана *Пейто* (πεῖτω — убеждать, уговаривать), харита убеждения.

«В этой обстановке подъема и расцвета политического красноречия складывалось представление демократической Греции об идеале человека. Это был образ “общественного человека” (ὁῦνὴρ πολιτικός), человека, способного держать в своих руках управление государством; и понятно, что искусство владеть речью было непременной и важнейшей чертой этого образа», — пишет М.Л. Гаспаров в предисловии к книге Цицерона «Три трактата об ораторском искусстве»²⁴.

²⁴ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 9.



КЛАССИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

V—IV вв. до н.э.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРАТОРЫ

Греческие историки V—IV вв. до н.э. сохранили в памяти потомков имена отцов-основателей афинской демократии и величайших ораторов Древней Греции, добившихся политического могущества благодаря великолепному дару убеждения. Великим оратором считали *Фемистокла*, творца морской мощи Афин, «честнейшего» *Аристиды*, основателя и главу Афинского морского союза, и, наконец, вождя афинской демократии *Перикла*, которого даже его противники называли Олимпийцем за умение потрясать души слушателей с помощью слова. Современники Перикла оставили немало свидетельств ораторского мастерства «первого стратега». К примеру, герой комедии Аристофана крестьянин Дикеополь в притворном страхе повествует: «Перикл Олимпиец в гневе метал громы и молнии, всю Элладу взбудоражил»¹. В отрывке из комедии Евполида сохранился другой восторженный отклик: «Он превосходил всех даром слова... Его уста осеняла богиня Пейто — так очаровывала его речь, что из всех ораторов лишь его жало язвило души слушателей...». То, что комедиографы — авторы наиболее публицистичного и злободневного жанра греческой литературы — столь любили Перикла, лишний раз свидетельствует о его могуществе и популярности.

Перикл принадлежал к типу ораторов, привлекавших слушателей неопровержимой логикой и уверенностью в правоте, истинности своей позиции. Стремление взвинтить чувства и страсти толпы, завоевать себе эмоциональных сторонников было ему

¹ *Аристофан*. Ахарняне, 531 // *Аристофан*. Комедии: В 2 т. М., 1954.

чуждо. Стройная логика его речей стала результатом серьезной подготовки. Об этом сообщает Плутарх, утверждая, что на призывы толпы Перикл нередко отказывался говорить, ссылаясь на то, что не успел подготовиться². В период наивысшего подъема демократии в Афинах популизм был чужд ее вождю.

По рассказам того же Плутарха, на ораторской трибуне Перикл держался спокойно и с достоинством; во время речи выражение его лица почти не менялось, он не прибегал к жестикуляции, высказывался сдержанно и никогда не смеялся сам и не смешил народ какими-либо забавными рассказами и выходками.

К сожалению, судить о красноречии Перикла мы можем лишь по отзывам современников, поскольку «ничего писанного, кроме постановлений, он после себя не оставил»³. Аристотель в «Риторике» передает лишь несколько «крылатых выражений» Перикла. Например, «Перикл в “Надгробной речи” сказал, что потеря юношества имеет для отечества такое же значение, как если бы из года исчезла весна»⁴ или «сравнение, которое Перикл делает относительно самосцев, что они похожи на детей, которые и берут предлагаемый им кусочек, но продолжают плакать»⁵. Платон, не любивший Перикла, тем не менее отзывался о нем как о «совершеннейшем в ораторском искусстве»⁶, а Ксенофонт утверждал, что Сократ сравнивал Перикла с сиренами⁷. Некоторое представление о содержании перикловых речей (а точнее его политики) мы можем почерпнуть из «Истории» Фукидида, где рассказчик вкладывает в уста исторического лица три речи, каждая из которых являет квинтэссенцию смысла афинской демократии: «И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное

² Плутарх. О воспитании детей, 9.

³ Плутарх. Перикл, 8.

⁴ Аристотель. Риторика, I, 7, 1365a. Цит. в пер. Н. Платоновой (Античные риторика / Собр. текстов, коммент. и общ. ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 99, 134).

⁵ Там же. III, 4, 1407a.

⁶ Платон. Федр // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. 269Е.

⁷ Ксенофонт. Воспоминания, III, 5, 18. Цит. по: Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб., 1993.

положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству»⁸. «Только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, не благонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем. Мы не думаем, что открытое обсуждение может повредить ходу государственных дел. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи выступлений с речами за и против...

Одним словом, я утверждаю, что город наш — школа всей Эллады...» (Fhuc., II, 40, 2; 41, 1). Эти слова, вложенные Фукидидом в уста Перикла, были, по утверждению историка, произнесены на торжественном погребении защитников Афин, погибших по завершении первого года Пелопоннесской войны. Отдавая дань мужеству и гражданской доблести павших, Перикл прибегает к патетической манере изложения своих идей: «Признав более благоприятным вступить в борьбу на смерть, чем уступить, спасая жизнь, они избежали упреков в трусости, и решающий момент расставания с жизнью был для них и концом страха, и началом посмертной славы» (Fhuc., II, 42, 5). По мнению Фукидида, глубокая страстность перикловых речей объясняется необходимостью утверждения идеалов гражданственности и патриотизма, обретших новый смысл в условиях демократического государственного устройства. «...как бы хороши ни были дела частного лица, с гибелью родины он все равно погибнет, неудачные же в счастливом государстве гораздо скорее поправятся, — считает Перикл. — Итак, если город может перенести бедствия отдельных граждан, а каждый отдельный гражданин, напротив, не в состоянии перенести несчастья города, то будем же защищать родину...» (Fhuc., II, 60, 3—4). Вся речь проста и логична, построена на ценностях, понятных всем и не требующих ни доказательств, ни особых ухищрений и красот. Хотя, возможно, не без вмешательства Фукидида в речи первого стратега мы встречаем и достаточно пространственные, профессионально выверенные приемы, например градацию: «Ведь тот, кто хорошо разбирается в деле, но не может растолковать это другому, не лучше того, кто сам ничего не соображает; кто может и то и другое, обладая талантом и красноречием, но к городу относится недоброжелательно, не станет подавать добрые советы, как любящий родину; наконец, если человек любит родину, но не может устоять перед подкупом, то он может все продать за деньги» (Fhuc., II, 60, 6).

⁸ Фукидид. История. М., 1993.

Предводитель партии радикальных демократов Клеон, смеившийся Перикла на посту первого стратега, являл собой иной тип оратора и вызвал бесчисленные нападки Аристофана и Фукидида. Как оратор Клеон отличался дотоле невиданной раскованностью поведения на трибуне⁹ — свободой жестикуляции и напористостью выражений. «Он отбросил всякую благопристойность на ораторской трибуне, — рассказывает Плутарх. — Он первый, обращаясь к народу, начал кричать, сбрасывать с себя плащ, ударять себя по бедрам, бегать во время речи и тем подал людям, занимавшимся государственными делами, пример того своеволия и пренебрежения к приличию, которое потом привело все в беспорядок и расстройство»¹⁰.

Непристойность поведения Клеона и довольно странная для государственного деятеля манера держаться объяснялись многими факторами, повлиявшими на формирование его политического имиджа. В отличие от Перикла, принадлежавшего к древнему царскому роду, из которого происходил и Солон, Клеон был владельцем кожевенной мастерской — ремесленником. Добившись власти, он выражал убеждения наиболее бедной и наименее образованной части афинского населения — охлоса (от греч. ὄχλος — народ, толпа, сборище). Чтобы устранить Перикла, традиционно занимавшего центристскую позицию, Клеон обратился к черни, угождая ей по всякому поводу, льстил ее самолюбию. Клеон стал тем типом афинского демагога (δημαγωγέ — букв. руководить народом), который придал негативную окраску званию народного вождя. Клеон был законченным типом политика, ныне называемого популистом; он пришел к власти в период кризиса афинской демократии и привел народ к трагическому поражению в Пелопоннесской войне, к кровавой тирании Тридцати, к распаду мифа перикловых Афин. Современники и потомки ненависть к политике Клеона переносили на личность самого политика. Не случайно Фукидид называет его «наглейшим из граждан»¹¹. В представлении европейца имя Клеона обычно ассоциируется с комической маской Кожевника, Пафлогонца — мошенника и плута, нарисованного Аристофаном в комедии «Всадники», где сам афинский народ предстает в образе выжившего из ума старика Демоса.

⁹ О нарушениях Клеоном норм поведения на ораторском возвышении мы можем судить хотя бы по замечанию Аристотеля, создавшего свой труд едва ли не век спустя: «...говоря, он одновременно шагал, обнаруживая нрав буйный и грубый» (Arist., Rhet., III, 16, 1417a, 9).

¹⁰ Плутарх. Никий, 8.

¹¹ Фукидид. История, III, 36.

Как и в случае с Периклом, мы не имеем подлинных текстов речей Клеона; их смысл излагает Фукидид, чье мнение нельзя считать объективным (об этом сказано выше). Плутарх же повествует о Клеоне спустя без малого шесть веков (I в. н.э.), естественно, со слов современников Пелопоннесской войны. Подобно Фукидиду, он горестно сожалеет о распаде афинской государственности, виновником которого стал и Клеон.

Спустя четыре века в одном из своих знаменитых трактатов об ораторском искусстве прославленный римлянин Цицерон размышлял об этом периоде так: «Таким образом, век Перикла впервые принес Афинам почти совершенного оратора. Действительно, вкус к красноречию обычно появляется не тогда, когда основывают государство, когда ведут войны или самовластие мешает оратору и сковывает его дарование. Красноречие — спутник мира, союзник досуга и как бы вскормленник уже хорошо устроенного общества» (Cic., Brut, 12, 45).

ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛИ КРАСНОРЕЧИЯ

«Греческая художественная проза рождалась в V—IV вв. до н.э. как своеобразный антипод поэзии, у которой она перенимала тематику и заимствовала художественные средства. Антиподом героического эпоса стали сочинения историков, антиподом поэтических энкомиев — энкомии риторов, восхваляющие мифологические и исторические персонажи. Ораторская речь предназначалась теперь не только для произнесения, но и просто для чтения»¹².

Помимо политических деятелей ораторское искусство в V в. до н.э. активно эксплуатировала новая в афинском обществе группа людей, зарабатывавшая на жизнь интеллектуальным трудом. Это были учителя красноречия, сформировавшиеся в недрах софистики и бравшиеся обучать за довольно высокую плату тех, кто стремился к общественной или государственной деятельности. Большинство «новых учителей» были выходцами из других областей Греции, и древние нормы полисной аттической морали воспринимались ими иначе, чем автохтонами.

«Все софисты учили “ловко говорить”, но одни из них занимались преимущественно теоретической и практической разработкой общих правил риторики, другие обучали учеников составлению и произнесению политических и судебных речей, третьи

¹² Миллер Т.А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля // Аристотель и античная литературная теория. М., 1978. С. 32—33.

учили вести споры», — отмечал крупнейший знаток греческой культуры С.И. Соболевский¹³.

Среди первых древние называли *Корака* и *Тисия* — сицилийцев, преподававших в Афинах. Однако как риторы оба они прославились уже на Сицилии — острове, гордившемся именем родины философа *Эмпедокла*, которого иногда называют родоначальником красноречия¹⁴. Из древности дошел до нас рассказ об этом необыкновенном уроженце Акраганта — поэте, естествоиспытателе и жреце, тесно связанном с идеями Гераклита. Обыватель помнил Эмпедокла как человека, добровольно бросившегося в кратер Этны. Последователи и ученики Эмпедокла сохранили память о нем как о герое, восставшем против тирании и возглавившем в своем родном городе демократическое движение. Впервые тирания была свергнута не силой оружия, а силой слова, ибо Эмпедокл выступил в роли судебного оратора против Фрасибула (466 г. до н.э.). Но, победив противника, он отказался от предложенных ему знаков царского достоинства. Последователями Эмпедокла и в искусстве говорить, и в приверженности демократическим принципам по праву считали *Корака*, *Тисия* и *Горгия*¹⁵.

На Сицилии *Корак* уже был известным государственным деятелем, который, по словам анонимного комментатора, «задумал с помощью слова склонить демос к полезному и отклонить от бесполезного» (N 9, Art. script., A V, 160). Однако он вскоре оставил общественное поприще и открыл школу, где стал преподавать то, что вынес из судебной практики по поводу имущественных дел, возникших после падения сицилийской тирании. Вскоре он выпустил сборник «общих мест» — хрестоматию готовых примеров для заучивания, чтобы вставлять их в произносимую речь.

¹³ История греческой литературы: В 3 т. / Под ред. С.И. Соболевского. М.; Л., 1946—1960. Т. 2. 1955. С. 227.

¹⁴ Norden E. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. Leipzig, 1898. Bd. I. S. 18—19.

¹⁵ Вот что рассказывает о них Цицерон: «...сицилийцы Корак и Тисий (а сицилийцы — народ изобретательный и опытный в спорах) впервые составили теорию и правила судебного красноречия именно тогда, когда из Сицилии были изгнаны тираны и в судах после долгого перерыва возобновились частные процессы. А до этого никто обычно не пользовался ни методом, ни теорией и лишь старались излагать дело точно и по порядку».

Рассуждения на самые знаменитые темы, которые теперь называются «общими местами», впервые составил и написал Протагор; то же самое сделал и Горгий, сочинив похвалу и порицание на одни и те же предметы, так как главным в ораторе он считал умение возвысить любую вещь похвалой и вновь низвергнуть порицанием» (Cic., Brut., 12, 46—47. Пер. И.П. Стрельниковой).

Его ученик и соратник Тисий завершил работу, создав теоретическое пособие **техне** (τέχνη), которое не содержало примеров, но давало рекомендации относительно самой структуры ораторских выступлений¹⁶.

Любопытный исторический анекдот, связанный с именами Корака и Тисия, прекрасно характеризует время формирования первых риторических школ. «Научившись от Корака искусству говорить, Тисий сам сделался учителем риторики и, полагаясь на свою ловкость вести судебные дела, не стал платить учителю установленного вознаграждения. Корак привлек Тисия к суду. “Скажи мне, Корак, — обратился к своему бывшему наставнику Тисий, — учителем чего я объявляю себя?” “Искусства убеждать кого угодно,” — отвечал Корак. “Но если ты выучил меня этому искусству, — продолжал Тисий, — то вот я тебя убеждаю ничего с меня не брать; если же ты меня не выучил убеждать, то и в этом случае я тебе ничего не должен, так как ты не научил меня тому, чему обещал”. На это Корак возразил: “Если, научившись у меня искусству убеждать, ты убеждаешь меня ничего с тебя не брать, то ты должен отдать мне вознаграждение, так как ты умеешь убеждать; если же ты меня не убеждаешь, то ты опять-таки должен заплатить мне деньги, так как я не убежден тобою не брать с тебя денег”. Вместо приговора судьи сказали: “У дурного ворона дурные яйца. Как воронята готовы пожрать своих родителей, так и вы пожираете друг друга”». (Известная греческая поговорка — приблизительный русский эквивалент «Ворон ворону глаз не выклюет»; комизм заключается в игре слов, ибо по-гречески *корак* значит *ворон*¹⁷.)

В истории классической риторики имена Корака и Тисия открывают ряд первых учителей красноречия. Так, Квинтилиан писал: «...самые древние руководства составили сицилийцы Корак и Тисий» (Quint. Inst. or., 3, 1, 8). Сходного же мнения придерживались Платон, Аристотель и Цицерон. Известно, что учениками Тисия в разное время были Лисий и Исократ.

ГОРГИЙ И ГОРГИ- АНСКИЕ ФИГУРЫ (485—380 до н.э.)

Третий уроженец Сицилии *Горгий* оказался самым прославленным учеником Эмпедокла. Ряд исследователей считает именно Горгия творцом греческой художественной прозы¹⁸. При-

¹⁶ Подр. см.: *Миллер Т.А.* Аттическая проза V в. до н.э. // История всемирной литературы: В 9 т. Т. 1. М., 1983.

¹⁷ История греческой литературы. Т. 2. С. 228.

быв в Атику в 427 г. до н.э. в качестве посла города Леонтин, терпящего притеснения от соседних Сиракуз, Горгий привел в восторг афинскую публику искусными антитезами и рифмованными созвучиями слов. Так до Горгия в Афинах не говорил никто. В результате Народное собрание отдало предпочтение этому политическому оратору только за умение красиво выражать свою мысль. В постановлении экклесии значилось: немедленно оказать леонтийцам военную помощь в борьбе против Сиракуз.

«Нововведение Горгия заключалось не в придумывании приемов (аллитераций, ассонансов, повторов, поэтических фигур, антитез и аналогий) — они были хорошо известны задолго до него, — а в той организации словесной ткани, которой он достигал с их помощью. Противопоставление понятий и связанная с этим игра словами превращались у него в членение речи на симметричные отрезки с сознательно подобранной созвучной концовкой. Равновесие частей придавало речи в целом предельную ясность», — пишет Т.А. Миллер¹⁹.

Спустя немного времени окрыленный успехом Горгий переселяется в Афины и открывает школу красноречия.

Как можно судить по диалогам Платона «Горгий» и «Федр», привлекательность речей Горгия для современников заключалась в умении использовать звуковую, музыкальную сторону речи. Именно Горгий впервые внимательно анализирует звуковую организацию словесных приемов, которые используются в заговорах, молитвах, в поэзии, и переносит их в свою речь. Он сам говорит об этом в одной из немногих сохранившихся до наших дней речей: «Заклинания, проникнутые божественной силой речи, и радость наводят, и печаль отвращают, потому что мощь заклинания, соприкасаясь с человеческой мыслью, чарует ее, убеждает и переиначивает средствами своего волшебства. Существуют же два способа волшебного чародейства: чарование духа и обман мысли»²⁰.

Оба приема — «чарование духа» и «обман мысли» — представляют собой воплощение в реальность основного постулата софистического релятивизма, что вызывает бурную реакцию Платона, обрушившегося на безнравственность и неискренность риторического учения. Не владея знанием об истинном и ложном (ибо софист, по Протагору, склоняется к принятию

¹⁸ Там же. С. 229.

¹⁹ Миллер Т.А. Аттическая проза V в. до н.э. // История всемирной литературы. Т. 1. С. 384.

²⁰ Горгий. Елена, 10 // Ораторы Греции. М., 1985. С. 29.

кардинально противоположных мнений, каждое из которых имеет равное право на существование), оратор идет на поводу у публики, потакая ее заблуждениям и тем самым принося народу не пользу, а вред. «Риторика не имеет даже права называться наукой, изучающей законы речи, так как форма речи не подчиняется никаким общим законам и определяется только конкретным содержанием речи; риторика есть всего лишь практическое знание, приобретаемое не изучением, а опытом. Этой ходячей риторике Платон противопоставляет истинное красноречие, основанное на подлинном знании и потому доступное только философу. Познав сущность вещей, философ придет к правильному о них мнению, а познав природу человеческих душ, он правильно внушит свое мнение душам слушателей»²¹.

«Чарование мысли», по Платону, есть лишь средство усиления обмана, искусство шамана, «заклинанием своим зачаровывающего рассерженных»²². Различие взглядов становится очевидным даже на уровне терминов: если в софистике ключевое понятие было связано с лексическим рядом σοφός — σοφία (умение, опытность, ловкость), то у Платона на первый план выступил лексический ряд φιλόσοφος — φιλοσοφία (стремление достичь мудрости). Так с самого возникновения красноречия начинается яростное противостояние риторики и философии, публицистики и науки, не завершенное и по сей день.

Тем не менее Горгий разрабатывает методику воздействия на слушателя. Не случайно именно в его школе было выработано определение:

ῥητορικὴ ἐστὶ πειθοῦς δημιουργός²³

Риторика способна убеждением творить..

(Sext. Empir. Adv. rhet., 61, p. 687)

Горгий вводит ряд средств, с помощью которых оратор «ведет за собой» душу слушателя и услаждает ее (ψυχαγωγία). Античная традиция приписывает Горгию изобретение словесных фигур (греч. σχήματα, лат. figurae), известных у нас под названием **горгианских фигур**. Собственно у Горгия их было три: **антитеза** (ἀντιθεσις) — сочетание членов фразы, находящихся между

²¹ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 11.

²² Платон. Федр, 267, с.—d.

²³ Sext. Empir., Adv. rhet., 61. Платон устами Сократа мастерски развенчивает этот тезис в знаменитом диалоге «Горгий» (Платон. Горгий, 453—455a).

собой в отношении противоположности (напр., «приятно лезть начинается и горько она кончается»); **равночленность** — исоколон (ἰσοκῶλον — симметрия слогов) — уравнивание между собой синтаксических членений предложения (см. приведенные примеры антитезы и созвучия окончаний); **созвучие окончаний** — «гомойотелевтон» [ῥομοιoteλεῦτον — обычное украшение антитезы («Была ли она силой похищена, или речами улещена, или любовью охвачена?»)]²⁴.

Все последующие приемы ораторского искусства включались в перечень *фигур*, а позднее требовали уже специальной и разветвленной классификации.

Платон с пристрастием описывает самоуверенность Горгия, рассчитывавшего на магическую силу красноречия его школы. В диалоге «Горгий» герой так говорит о могуществе оратора, руководящего толпой: «Если бы в какой угодно город прибыл оратор и врач и если бы в Народном собрании или в любом ином собрании зашел спор, кого из двоих выбрать врачом, то на врача никто бы и смотреть не стал, а выбрали бы того, кто владеет словом <...> потому, что не существует предмета, о котором оратор не сказал бы убедительнее перед толпой, чем любой из знатоков своего дела. Вот какова сила искусства и его возможности... Оратор способен выступить против любого противника и по любому поводу так, что убедит толпу скорее всякого другого; короче говоря, он достигнет всего, чего ни пожелает...»²⁵. Такая смелость первых софистов опиралась на избранный ими способ рассуждения. Т.А. Миллер определяет его как «*соотнесение*» — единичного, отдельного, с общим, целым, а также предметов друг с дру-

²⁴ Созвучия окончаний — гомойотелевтон — сопрягали одинаковые по своей грамматической форме слова, расставляя их по концам синтаксических отрезков. Подобный способ выражения оценивался как черта приподнятого стиля, например у Горгия: «Они воздвигли трофеи над врагами, Зевсу на украшение, себе же на прославление; они не были незнакомы ни с дарованной им от природы доблестью, ни с дозволенной им от закона любовью, ни с бранным спором, ни с ясным миром, были благочестивы перед богами своей праведностью и почтительны перед родителями своей преданностью, справедливы перед согражданами своей скромностью и честны перед друзьями своей верностью...» (пер. Ф.Ф. Зелинского). Впоследствии людям с хорошим эстетическим чутьем они казались чересчур торжественными, навязчивыми, утомительными, но никто не находил их смешными. В «Поэтике ранневизантийской литературы» С.С. Аверинцев посвящает виртуозную по уровню филологического исследования главу сопоставлению рифмы, рожденной из духа «диалектики» в греческой риторической прозе, с принятой сегодня поэтической рифмой (см.: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 233—249).

²⁵ Платон. Горгий, 452D—459E.

гом, их противопоставление и соположение. Эти мыслительные операции сами по себе, разумеется, не были новшеством, однако, превращенные в рабочий метод, они легли в основу того специфического описания реальности, которое выявляет в предметах сопоставимые (соотносимые) друг с другом грани (мы называем это схематизацией) и которое позволило Аристотелю создать учение о силлогизмах (логических связях) и применить классификацию по родам и видам, а писателям — разработать достаточно жесткий трафарет изображения действительности»²⁶. Уже с первых шагов античная риторика отличалась продуманной связностью всех частей от больших до мельчайших, системной рациональностью, столь характерной для всей греко-римской культуры²⁷.

По свидетельству Филострата²⁸, Горгий вызывал восторг вовсе не как судебный или политический оратор, а как мастер торжественного красноречия [позднее Аристотель назвал этот тип *эпидейктическим* (Arist., Rhetor., I, III, 2)]. Именно Горгию принадлежали поразившие слушателей Олимпийская речь на празднествах в Пифийском храме и надгробное слово в память афинян, павших на войне (обе речи не сохранились). «Вырабатывался специфический новый тип красноречия, предназначенный не для споров и тяжб, а для прославления и уничижения, не для доказательства или опровержения фактов, а для их оценивания»²⁹. Эти речи способствовали не столько выражению симпатий или лести тому или иному политическому деятелю, но посвящались пропаганде определенной идеологии или образа жизни.

Главным поприщем, на котором совершенствовал себя мастер парадного красноречия, было умение хвалить. От софистов V в. до н.э. в нескончаемую даль последующих веков тянется нить изощренных опытов этого искусства, охватывающего все многообразие предметов от самых ординарных (похвала горшкам, мышам, камешкам — ученик Горгия Поликрат) до самых престижных (похвала городу, правителю). Умение хвалить предполагало три вещи: умение придать словесной ткани эффектное благозвучие (как хвалить), умение найти в объекте ценность, заслуживающую похвалы (за что хвалить) и умение сделать предмет похвалы

²⁶ Миллер Т.А. От поэзии к прозе. Риторическая проза Горгия и Исократа // Античная поэтика. М., 1991. С. 61—62.

²⁷ См.: Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Античная поэтика. М., 1991. С. 7.

²⁸ Памятники поздней античной научно-художественной литературы II—V вв. М., 1964. С. 170—171.

²⁹ Миллер Т.А. От поэзии к прозе... С. 65.

близким слушателю (для чего хвалить). Овладевая этим умением, риторы V—IV вв. до н.э. создали непререкаемую норму достоинств стиля и подняли нравственные ценности полиса на ту притягательную высоту, на которой они оставались еще многие столетия.

Похвала могла быть основной темой речи, и тогда речь называлась **энкомием** (ἐγκώμιον букв. с греч. — во славу, с целью прославления; в литературе европейского классицизма энкомию соответствует жанр оды) — похвальным словом, а могла быть лишь частью более широкой темы, как, например, в **эпитафиях** (греч. ἐπιτάφιος — надгробных речах), которые наряду с похвалой включали в себя также и сетования (плач), утешение и назидание. Приемы похвалы отрабатывались, кодифицировались, превращались в стереотипы и в таком виде усваивались другими жанрами — судебным красноречием, историографией, поэзией. Дошедшие до нас сочинения Горгия «Похвала Елене» и «Оправдание Паламеда» как раз являются учебными образцами торжественного красноречия, ибо написаны на мифологический сюжет и, как утверждает сам Горгий в заключительных строках «Елены», есть лишь «игра ума» (παίγνιον — букв. с греч. *игрушка*; в пер. С. Кондратьева: «Елене во славу, себе же в забаву»).

Для своей «Похвалы» Горгий не случайно избирает тему, достаточно распространенную в греческой культуре середины V в. до н.э. Его старшие современники Геродот (История, II, 115—120) и Еврипид в трагедии «Елена» старались оправдать гомерову виновницу Троянской войны, опираясь на версию Стесихора, согласно которой в Трое находилась лишь тень Елены Спартанской, в то время как верная жена Менелая ожидала мужа в Египте. В отличие от них Горгий не стал изменять мифологическую версию «жизнеописания» Елены, а дал ей новую оценку. Секрет оратора заключался в умении перетолковывать факты и придавать им неожиданную окраску. «Он применил особый прием, который сводился к тому, что явления реальности распределялись по двум противоположным полюсам, и от того, насколько удавалось оратору подвести предмет под определенную категорию и соответственно поместить его на том или ином полюсе, зависела его оценка. В фокус внимания писателя попадали не изолированные объекты с их частными особенностями, а сразу два предмета, каждый из которых был наделен признаками, прямо противоположными признакам своего напарника. При таком способе изображения на первый план выступили не индивидуальные черты вещей, а то, чем предметы отличались друг от друга.

Интерес привлекала не вещь сама по себе, а то обстоятельство, что она иная, чем другая вещь, и “быть чьей-то противоположностью” делалось ее главной характеристикой, ее главной сущностью. Ни один из двух предметов в этой ситуации не мог быть показан без другого, поскольку “противоположное” всегда противоположно чему-то и не существует без соотношенного с ним антипода³⁰. В подтверждение сказанного приведем несколько примеров из замечательного исследования Т.А. Миллер речи Горгия «Елена». «Во вступительной части, прежде чем перейти к главной теме, Горгий фиксирует логический принцип, положенный им в основу дальнейших рассуждений. Это принцип оппозиций, в силу которого объект рассматривается в сопряженности со своим антиподом. Оратор предлагает две схемы таких оппозиций: “космос” (украшение, слава) — “акосмия” (то, в чем отсутствует космос) и “хрэ” (должное) — “гамартия” (ошибочное), “аматия” (необдуманное). Первая схема классифицирует (подводит под общую категорию) отдельные свойства (качества) разных сторон человеческой жизни от города-государства до тела или слова, вторая — способы их оценивания. Фраза, открывающая “Елену”, звучит так:

Славою [космос] служит городу смелость, телу — красота, духу — разумность, деянию — доблесть, речи — правдивость; все обратное (энантиа) этому — лишь бесславие [акосмия] (1).

Созвучие слов, вынесенных в начало и конец фразы и отличающихся друг от друга лишь отрицательным префиксом, делает прозрачно ясной полярную противоположность понятий, а строго выдержанная однотипность перечислений (параллелизм) подчеркивает смысловое единство признаков, входящих в общую категорию *космос* (слава). <...>

В основной части вместо изложения фактов из жизни Елены Горгий предлагал слушателю взглянуть на нее с совершенно новой стороны. Поведение Елены не описывается в конкретных подробностях, а воспроизводится в виде моделей. Модели, намеченные Горгием, — это схемы взаимодействия Елены и тех вероятных (эйкос) причин, которые толкнули ее на отъезд в Трою... <...>

Приводимые причины включают в себя четыре рода факторов: *иррациональный* (изволение случая /түхэ/, веление богов, неизбежности /ананкэ/ узаконение); *физический* (акт насилия); *интеллектуальный* (убеждение словом); *эмоциональный* (любовь) (6). Способ реабилитации героини прост и схематичен: устанавлива-

³⁰ Там же. С. 67.

ется система зависимости между антиподами “сильный — слабый”, и каждая из причин помещается в разряд “сильных”, так что Елена автоматически должна занять место на противоположном полюсе, т.е. в числе слабых или неповинных жертв насилия. Изошренность ораторского красноречия проявляет себя в полной мере в эффектном нагромождении все новых и новых примеров, иллюстрирующих схему “сильный — слабый”. Схема эта преподносится слушателю в сопряжении двойных антитез:

От природы не слабый сильному препона, <...>

а сильное слабому власть и вождь. <...>

Сильное ведет, а слабое следом идет. <...>

В эту схему контрастных противопоставлений легче всего укладывалось “иррациональное — человек”, и Горгий, анализируя тут же первую из указанных им причин, строил умозаключение, безапелляционно оправдывающее Елену: “Бог сильнее человека и мощью и мудростью, как и всем остальным: если богу или случаю мы вину должны приписать, то Елену свободной от бесчестия должны признать” (6). <...>

Игра контрастами, в которой изошрялся Горгий, могла производить ошеломляющее впечатление, и с ее помощью можно было доказывать вещи прямо противоположные, стоило лишь найти для искомого предмета новый ряд оппозиций»³¹. Не случайно Горгию приписывали одно из наиболее релятивистских утверждений софистики: «1) *ничто не существует*; 2) *если есть нечто сущее, то оно непознаваемо*; 3) *если даже оно познаваемо, то оно невыразимо и неизъяснимо*»³². Для того чтобы утверждать и обосновывать позитивные аспекты фактов, метод Горгия оказывался непригодным. Эту особенность мастерства Горгия отметил еще Исократ, заметивший «небольшой изъян» в речи своего предшественника: «...ведь он утверждает, что составил похвальную речь Елене, а получилось так, что он произнес защитительную речь о ее поведении. Эти два типа речей строятся не по одной схеме и говорят не об одном и том же, а о прямо противоположном. Ведь защищать следует тех, кого обвиняют в преступлениях, а восхвалять тех, кто выделяется чем-либо хорошим»³³. Во времена Горгия типы красноречия, впоследствии классифицированные Аристотелем, еще существовали в неразрывном единстве, и, может быть, в силу этого знаменитый создатель горгианских фигур не вошел в классический «канон десяти ораторов».

³¹ Там же. С. 69—72.

³² *Маковельский А.О.* Софисты. Вып. 1. Баку, 1940.

³³ *Исократ.* Елена, 14—15.

Эксперимент Горгия был дополнен *Фрасимахом*³⁴, который ввел понятие «период» — сложную синтаксическую конструкцию, придающую речи ясность, ритмичность, законченность. Позднее Аристотель дал такое определение периода: «Периодом я называю отрывок (λῆξις), имеющий в себе самом свое начало и свой конец, и хорошо обозримую протяженность. Такой отрывок приятен и легок для усвоения; приятен потому, что является собой противоположность беспредельному, и слушателю кажется, что он все время получает нечто завершённое — ведь неприятно ничего не видеть перед собой и не достигать никакой цели; легок же он для усвоения потому, что хорошо запоминается, а это в свою очередь потому, что построенный по периодам слог несет в себе число — то, что из всего сущего запоминается лучше всего. Потому и стихи все запоминают лучше, чем прозу: ведь стихотворная мера есть число. Нужно также, чтобы мысль (διάνοια) завершалась вместе с периодом»³⁵.

«В софистической прозе период получил членение на отрезки (колоны), в которых естественное дробление речи на такты использовалось для смысловой дифференциации. Колонам придавалось ритмическое строение, они приобретали плавность стихотворной речи, не образуя, однако, в своей совокупности строгой метрической системы стиха. Таким путем вырабатывался особый стиль литературной аттической прозы... Софисты, как никто другой, чувствовали эмоциональную силу искусно оформленной речи. Главным направлением их работы был стилистический эксперимент, проба разных словесных возможностей в обработке одной и той же темы, опыт игры со словом безотносительно к предмету речи. Их лозунгом стало “делать слабый довод сильным и сильный слабым”»³⁶.

ПРАКТИКА СУДЕБНОГО КРАСНОРЕЧИЯ

Риторическое движение в конце V — начале IV в. до н.э. было, очевидно, гораздо шире, чем нам известно. Ряд случайностей сохранил одни имена и позволил другим навсегда погибнуть. Самым распространенным видом практической риторики в Греции было красноречие судебное. Человек, произносивший речь в суде как ответчик, подвергал риску свое имущество,

³⁴ *Фрасимах из Халкедона* — софист-ритор, современник Горгия. Традиция приписывала ему сочинение «жалобных» концовок в речах (см.: *Платон. Федр.* 267 с.), так называемых ἑλεοί, употребляемых для того, чтобы вызвать сочувствие и сострадание слушателей.

³⁵ *Аристотель. Риторика*, III, IX, 3, 4; 1409a—в.

³⁶ *История всемирной литературы*. Т. 1. С. 384.

свободу, жизнь или ставил под тот же удар другого человека, выступая в качестве обвинителя. Судьба обвинителя или обвиняемого целиком зависела от судебного вердикта. Такой, в буквальном смысле, кровной заинтересованности в силе звучащего слова не знали даже поэты, потому практически все знаменитые ораторы, включая Демосфена и Цицерона, имели судебную практику.

Из прославленных судебных ораторов Аттики V в. до н.э. история сохранила нам имена *Антифонта*, *Андокида* и *Лисия*. Их творческие поиски были тесно связаны с **теорией правдоподобия** — важнейшим постулатом судебного, да и любого другого, красноречия в Аттике. Так стали называть особый тип аргументации, когда за неимением фактических улик или достоверных свидетельств о реальности какого-либо события оратор раскрывал логическую или психологическую зависимость между лицами и происшествиями и признавал, что событие могло иметь место, если оно похоже на то, что часто случается в жизни и потому вероятно. Довод «правдоподобия», «вероятности» (εἰκός) и требование «подобающего», «должного» (πρέπον, δέον) надолго определили способы убеждения в софистике³⁷. Так, например, еще

³⁷ В так называемой «Риторике к Александру», авторство которой долгое время приписывали Аристотелю, хотя вероятнее всего она была создана в 40-е гг. IV в. до н.э., даются практические советы, как использовать аргумент «эйкос» (вероятность) в ораторской практике: «Правдоподобно то, при упоминании чего в уме слушателя встают знакомые примеры. Так, если кто начинает говорить, что хочет видеть родину великой, своих домашних счастливыми, врагов несчастными и другое в том же роде, то все это вместе покажется правдоподобным. Ведь любой человек, слыша это, сознает, что и сам он испытывает подобные чувства по отношению к таким вот предметам...». Аристотель в «Риторике» ответит на подобный способ доказательства саркастически: «На слушателей действует и то, чем до отвращения часто пользуются сочинители речей (οἱ λογογράφοι): “Кто же этого не знает?” — “Все знают!” Слушатель в смущении соглашался, чтобы разделить суждение “всех остальных”» (III, 7, 1408a).

Дальше автор «Риторики к Александру» советует, как использовать правдоподобие в судебных прениях, включая в обвинительную или защитительную речь те страсти, «которые от природы присущи людям. Например, если случится кому-нибудь оскорбить или испугаться, часто делать одно и то же, обрадоваться или огорчиться, гореть желанием или освободиться от страсти... Эти и подобные им страсти у всей человеческой природы общие, и слушателям они знакомы. Вот то, что привычно людям от природы, и это то, что надо включать в речь.

Вторая часть правдоподобия — это обычай, то, что любой из нас привык делать. Третья — выгода...». Аристотель предлагает в качестве опровержения такой аргументации ссылку на индивидуальные особенности говорящего: «Если же основания привести не можешь, [скажи], что тебе, мол, отлично известно, что слова твои неправдоподобны, но таков уж ты от природы; ведь люди находят неправдоподобным, что можно по своей охоте делать что-либо кроме выгодного». (III, 15, 9; 1417a). Так сторонник платоновской идеи об истинности знания расправляется с софистическим тезисом «мнения» (δόξα).

в руководстве Тисия находим: «...слабые обвиняются в нанесении побоев — это неправдоподобно, однако если обвиняемый силен, то и тогда неправдоподобно, потому что [если бы он это сделал] это грозило бы показаться правдоподобным»³⁸. Утверждение, явно отдающее полемическим задором и выстроенное по принципу антитезы. Подчеркнуть *психологическую достоверность* поведения обвиняемого означает «слабейший довод делать сильнейшим». Подобный ход мысли помогал оратору строить вымышленные сюжеты, вкладывать «психологическую начинку» в мифы, примеры чему мы находим в «парадных» речах Горгия и Исократа. «Изображение событий как вероятных и правдоподобных не было изобретением учителей красноречия, но превращенное ими в постоянный прием рассуждения, оно определило собой основной характер риторической прозы — ее повышенный интерес к общему, общезначимому и очень малую заинтересованность в конкретном, неповторимом, индивидуальном... Ориентация на общее и целое определяла в свою очередь и сам характер работы оратора: его притягивала к себе не столько новизна предмета, сколько возможность подводить один и тот же предмет под все новые и новые категории, освещать его с разных сторон и устанавливать все новые и новые связи его с другими предметами. Отсюда неограниченная возможность вариаций и экспериментов на одну и ту же тему и отсюда же — способность оценивать одно и то же прямо противоположным образом, о чем Платон с усмешкой свидетельствовал в своем “Федре” (267a—b): “Они дознались, будто вместо истины надо почитать более вероятность, и силой своего красноречия выдают малое за большое, а большое — за малое, новое представляют древним, а древнее — новым и измышляют по любому поводу то сжатые, то бесконечно пространственные речи”»³⁹.

Суровый аристократ *Антифонт*, заплативший в 411 г. до н.э. жизнью за участие в антидемократическом (олигархическом) заговоре, известен как создатель речей, пронизанных трезвостью и деловитостью, хотя их композиция еще очень неумела. По всей видимости, Антифонта можно назвать оратором в «уголовных процессах», ибо все пятнадцать сохранившихся речей относятся к делам об убийстве. В это число вошли три речи, предназначенные

³⁸ См. подр.: Платон. Федр, 273a—e. Аристотель в «Риторике» приписывает это рассуждение Кораку (Arist., Rhetor., II, 24, 15; 1402a).

³⁹ Миллер Т.А. От поэзии к прозе... С. 62—63.

для произнесения в суде, и двенадцать так называемых тетралогий Антифонта — сборник риторических упражнений. В тетралогиях Антифонт разработал систему аргументации, которой говорящий может воспользоваться как для обвинения, так и для оправдания подсудимого. Воображаемый судебный казус, хотя и почерпнут из реальной судебной практики автора, здесь дается в самых общих чертах. Аргументация в целом тоже сводится к знаменитым школьным «общим местам», но пригодна для доказательства правдоподобия или неправдоподобия каждого случая. Стремление выработать язык, понятный для наиболее обширной аудитории, выгодно отличает практического оратора Антифонта от теоретика Горгия. Отсюда и его любовь к «ключевым словам», пристрастие к смелым, образным выражениям (например: «Вследствие моего бездетства я заживо буду зарыт» — т.е. «лишившись сына, я стану мертвым при жизни»)⁴⁰; почти полное отсутствие у него горгианских фигур (например, удвоения, риторического вопроса) и умелое нагнетание «пафоса», апеллировавшего скорее к чувствам, чем к разуму слушателей. Ораторское наследие Антифонта простодушно и архаично, но некоторые из его «общих мест» (например, восхваление справедливости законов и судей, заявление подсудимого, что он заслуживает сострадания, а не наказания и т.д.) стали общими местами в дальнейшей практике судебных речей.

Своеобразие и простота отличают речи и другого афинского изгнанника — *Андокида*, схваченного в связи с делом гермокопидов (осквернителей герм). Подобно Антифону, он еще не знает искусства этопеи и бесхитростно повествует о своей вине и невиновности. Понятие **этопеи** (искусства создания характера) связано в аттической прозе с именем Лисия.

ЛИСИЙ (ок. 459—380 до н.э.)

Как нередко случалось в истории красноречия, Лисия подвигли на ораторскую деятельность жизненные невзгоды. Комментаторы утверждают, что свою первую речь Лисий произнес, когда ему пошел шестой десяток лет, и он, разоренный и многое претерпевший в ходе олигархического переворота (404 г. до н.э.), известного как правление Тридцати тиранов, вынужден был выступать обвинителем на процессе против виновника гибели

⁴⁰ История греческой литературы. Т. 2. С. 239.

брата. Политическая речь Лисия «Против Эратосфена, бывшего члена коллегии Тридцати» — драгоценное свидетельство истории и один из самых достоверных источников биографии самого оратора. Рассказывая историю семьи, Лисий упоминает Перикла, призвавшего его отца Кефала в Атику на самых выгодных для него условиях. Становится ясным, что метек (т.е. иноземец, человек, не пользующийся всеми правами афинского гражданина) Кефал был не только искусным оружейником — Лисию с братом он оставил мастерскую щитов, — но и человеком, разделяющим демократические убеждения Перикла⁴¹. Без ложной скромности Лисий говорит о заслугах семьи перед новой родиной: «...мы исполняли все обязанности по снаряжению хоров, делали много взносов на военные надобности, были друзьями закона и порядка и исполняли все требования правительства, врагов у нас не было никого, а многих афинян мы выкупили у неприятелей из плена»⁴². Из сказанного Лисием здесь и в других речах складывается *нравственный идеал человека—гражданина демократического полиса*, утверждаемый оратором на всем протяжении его творчества:

— гражданин призван соблюдать все обычаи и выполнять все религиозные обряды и повинности, возложенные на него полисом, с максимальным рвением и бескорыстием;

— гражданин должен быть самоотверженным воином, всегда готовым защищать родину на суше и на море;

— он обязан выполнять все законы и постановления народного собрания, все требования правительства;

— в случае назначения его на общественные должности и магистратуры он должен не только выполнять их честно, но и дать полный отчет о сделанном после окончания службы;

— он обязан быть хорошим семьянином, заботиться о родителях, правильно воспитывать детей, выдавать своих сестер за хороших людей с хорошим приданым;

⁴¹ Любопытно, что прославленный диалог Платона «Государство» происходил в доме почтенного старца Кефала, сына Лисания, который и сам был известным на Сицилии оратором и приехал в Афины по приглашению Перикла с двумя сыновьями, Полемахом и Лисием. См. комментарий И.И. Маханькова к «Государству» Платона (*Платон. Собр. соч.* Т. 3. С. 565).

⁴² *Лисий*. Против Эратосфена, бывшего члена коллегии Тридцати. XI, 20 (цит. в пер. С. Соболевского по: *Лисий*. Речи. М., 1994. С. 141).

— высоко ценились также траты на общественные нужды собственных средств в размерах, превосходящих минимально необходимые;

— похвальным было редкое обращение в суд, умение не иметь врагов и улаживать проблемы полюбовно, прибегая к помощи дружеского третейского суда⁴³.

Как справедливо замечают Л.Г. Маринович и Г.А. Кошеленко, в афинской юридической мысли и судебной практике существовал привлекательный принцип: человек, живший как образцовый гражданин, в ходе судебного заседания должен был пользоваться определенными преимуществами⁴⁴, хотя сегодня нам кажется несколько наивным признание одного из клиентов Лисия «в случае какого-либо несчастья выступать на суде с большей надеждой на успех» (Lys., XV, 12—13).

По правилам афинского суда тяжущиеся стороны могли говорить только по существу того конкретного дела, которое рассматривалось на данном заседании. Но любопытно, что изображение предшествующей «праведной» жизни говорящего и его заслуг перед государством не считалось не относящимся к делу. Естественно, противник изображался человеком, нарушавшим нравственные идеалы и жившим не по правилам. Этический комплекс гражданина полиса, к которому постоянно апеллирует Лисий, базируется на сократовской этике. В частности, С.И. Соболевский указывает на косвенные данные, подтверждающие влияние Сократа на творчество Лисия, чей брат Полемарх посещал школу прославленного философа⁴⁵.

С другой стороны, в речах Лисия можно подметить очевидные признаки школы софиста Тисия, у которого, по свидетельству древних, Лисий учился в юности в Италии. Пример тому — начало все той же XI речи, которая цитировалась выше: «Не начать обвинение мне кажется трудным, а окончить речь, так велики и многочисленны преступления этих людей. Поэтому если бы обвинитель стал говорить ложь, то не мог бы инкриминировать им факты хуже действительных; а если бы и хотел держаться истины, то не мог бы пересказать всех их злодеяний; неизбежно бы у обвинителя не хватило бы или сил, или времени» (Lys., XI, 1).

⁴³ Ср.: Lys., VII, 31; XXV, 12—13.

⁴⁴ См.: *Маринович Л.Г., Кошеленко Г.А.* Предисловие к изданию речей Лисия // Лисий. Речи. М., 1994. С. 28.

⁴⁵ См.: *Соболевский С.И.* Лисий и его речи // Лисий. Речи. С. 36.

Почти песенный зачин, преувеличенный пафос и размеренный ритм этого вступления демонстрируют нам ученический, декламационный стиль оратора. Действительно, из исторических свидетельств мы знаем, что «Речь против Эратосфена, бывшего члена коллегии Тридцати» была первой и единственной речью Лисия, которую он произнес сам. В этой «пробе пера» мастера еще заметны механически усвоенные приемы школы, такие как фигура мысли, риторический вопрос: «Выходит так, подлый негодай, ты возражал, чтобы нас спасти, но арестовывал, чтобы казнить?» (XI, 26).

Но вот «приступ» (вступление) завершен, и Лисий переходит к «дизегезе» (повествовательной части), в которую мастерски вплетается вся аргументация обвинения. Увлеченный материалом, Лисий забывает искусственные формулы ораторских ухищрений и говорит логично, ясно, убежденно. Описав причины ненависти Тридцати тиранов к своей семье, Лисий кратко излагает формальный повод обвинения против Эратосфена: будучи членом коллегии Тридцати, он лично арестовал и отправил в тюрьму ни в чем не повинного Полемарха, брата оратора, где ему «приказали выпить яд», а позднее не позволил семье «достойно похоронить» безвинно убитого (Lys., XII, 17). Однако композиционный упор обвинения против Эратосфена оратор строит на разоблачениях, имеющих более общественное звучание, нежели частное. С величайшим публицистическим пафосом Лисий описывает ужасающие беззакония, творимые в период правления Тридцати: «Многих граждан они изгнали на чужбину к неприятелям, многих несправедливо казнили и лишили должного погребения, у многих полноправных граждан отняли права гражданства, дочерям многих граждан, бывших уже невестами, помешали выйти замуж. А теперь они дошли до такой наглости, что явились сюда и оправдываются и говорят, что они ничего дурного и позорного не сделали». И далее от патетических обличений Лисий обращается к квалификации преступления: он апеллирует к недавней истории и предшествующим судебным решениям: «Получается вопиющая несправедливость: вы приговариваете к смертной казни стратегов, победителей в морском сражении, за то, что они, по их заявлению, вследствие бури не могли подобрать упавших в море людей: вы считали своим долгом посредством наказания стратегов воздать дань уважения храбрости погибших. Так не должны ли вы подвергнуть высшей мере наказания этих злодеев — и их самих, и детей их — за то, что они, бывши част-

ными лицами, по мере сил способствовали вашему поражению в морском бою (роковое сражение при Эгоспотаме в 405 г. до н.э. Лисий приписывает измене олигархов. — *Е.К.*), ставши у власти, как сами признаются, казнили множество граждан без суда» (Lys., XII, 36).

Оценивая положение государства в период правления Тридцати, Лисий проявляет себя как патриот Афин, который без боли не может видеть в Акрополе иноземный гарнизон и оскверненные святыни (XII, 92—96). Поэтому столь естественным и логически верным кажется самое серьезное политическое обвинение, выдвинутое оратором лично против Эратосфена: «...будь он действительно порядочным человеком, он прежде всего не должен бы был входить в состав незаконного правительства» (XII, 48). Наконец, оратор достигает высокого эмоционального накала, способного вдохновить слушателей-судей на принятие по-настоящему гражданского решения — осуждения режима Тридцати, которые «дошли до того в своем высокомерии, что старались приобрести вашу верность не путем общения с вами в материальном благосостоянии, а надеясь на то, что вы будете их сторонниками, если они заставят вас участвовать в их позоре... Я кончу обвинение. Вы слышали, видели, пострадали; они в ваших руках, судите!» (XII, 92—96). Прием антитезы служит Лисию основным средством обличения противника. Виновность ответчика сама собой проистекает из той воображаемой линии поведения, которой он должен был следовать и которая, по сути, являлась неписаным морально-этическим кодексом афинского гражданина. Сам способ изложения Лисием обстоятельств дела (в современном понимании — результатов расследования) служит обвинением лицу, против которого выступает оратор.

У нас нет достоверных свидетельств о том, как завершился возбужденный Лисием процесс против члена правления Тридцати тиранов, но мы знаем, что в дальнейшем утративший состояние отца оратор избрал себе профессию **логографа** (λογογράφος — изготовитель речей для других), в качестве которого написал речь для афинянина Евфилета «Об убийстве Эратосфена». В знаменитом справочнике «Реальная энциклопедия классических древностей в алфавитном порядке» делается предположение, что убитый соблазнитель жены Евфилета был заклятым недругом Лисия, и последний не случайно согласился составить защитительную речь для оскорбленного мужа⁴⁶.

⁴⁶ Pauly-Wissowa. T. IV. P. 358.

Речь об убийстве Эратосфена является хрестоматийным примером мастерства Лисия-логографа, классика искусства **этопей** (ἡθοποιία — букв. творчество характеров). В красочно написанном повествовании рядового афинского гражданина перед читателем развернута картина нравов современного Лисию общества. Здесь обманутый муж, его соперник — известный соблазнитель, о котором служанка говорит: «Такова уж его специальность» (I, 16), наперсницы-рабыни — как на подбор будущие персонажи новоаттической бытовой комедии. В изображении быта и простого человека Лисий не знает предшественников, равных себе по мастерству. Его подзащитный, человек обыкновенный, не может похвастаться своими подвигами на воинской или государственной службе, ибо перед судьями, добываясь оправдательного приговора, обязательно об этом бы упомянул. Он — «маленький человек» (не бог и не герой трагедии), но человек чести и, узнав об измене жены, намерен мстить своему обидчику, собрав свидетелей и друзей. Евфилет убивает Эратосфена на месте преступления, в собственном доме. Но даже в характеристике развратителя и соблазнителя чужих жен Лисий проявляет чувство меры, избегая злобных выпадов и высмеивания недостатков противника. Евфилет карает преступника «по закону» (I, 1), «не только за себя, но и за все государство», чтобы «подобные люди поостереглись вредить своему ближнему, видя, какая награда ждет их за такого рода подвиги» (I, 47).

Мастерство в создании этопей, столь важное в искусстве логографа, было необходимо, потому что сам истец или ответчик должен был говорить естественно, согласно своему характеру (φύσις — природным склонностям, по софистской терминологии), образу мыслей и образованию. Пишущий за него речь логограф поистине владел искусством перевоплощения, чтобы попасть в такт мышлению и выражениям подзащитного. Лисий как оратор-профессионал нередко выбирал самую привлекательную ипостась своего клиента, «типично» выглядевшие его поступки (софистский εἰκός — принцип правдоподобия), когда видимая достоверность оказывалась важнее истины. Например, он придает своему солдату Полиену, защищающему от обвинения завистника крохотную государственную пенсию в один обол, колоритный облик калеки-балагура. Перед нами немощный и одинокий, но никогда не унывающий человек, привлекательный своим грубоватым юмором, жизнелюбием и желанием справедливости. «Я думал, господа судьи, — обращается он

к присяжным, — что настоящий процесс касается только предмета обвинения, а не моей личности...» (IX, 3).

Однако написание речи, соответствующей характеру подзащитного, было лишь малой толикой дела. Логограф выступал в судебном процессе за сценой, но изначально должен был обладать знанием права, законов и постановлений Народного собрания. Перед тем как сесть за изготовление речи, необходимо было собрать материалы «предварительного следствия», избрать наиболее выгодный вид жалобы, указать судебную инстанцию, которой надлежало вести данное дело, и наконец, в случаях, не предусмотренных законом (а наказание определялось судом), наметить приемлемую кару, чтобы суд не назначил наказания, предложенного противной стороной. Здесь Лисий проявил себя как блистательный юрист, рассчитывавший более не на систему юридических выкладок, а на умение очаровать присяжных и таким образом заполучить их голоса.

Среди достоинств оратора отметим способность готовить материал в установленные афинским судом ограниченные сроки. Написанные Лисием речи всегда отличались краткостью и четкостью мысли. Этому способствовал достаточно строгий принцип композиции излагаемого материала: в приступе (πρῶμιον) находилось обращение к судьям и некоторые общие, эмоционально окрашенные замечания о сути дела; повествовательная часть — диэгеа (διήγησις) содержала аргументацию защиты (ἀποδείξεις) и при необходимости опровержение аргументов обвинения. Эпilog (ἐπιλογος — довод, рассуждение; *позд.* — заключение речи) был пронизан чувством негодования, но Лисий редко прибегал к подобным аффектам, предпочитая всему чувство меры. Чувство меры диктовало достаточно сдержанное использование оратором риторических украшений, которые никогда не нагромождались друг на друга, а располагались в естественных, будто богами предназначенных им местах.

По мнению ученых-историков, Лисий сознательно отказался от вычурности горгианского стиля и крайностей софистской риторики; он стремился к чистоте речи образованного общества Афин, избегал архаических или откровенно поэтических выражений, старался употреблять слова в их собственном значении (κῦρια ὀνόματα), избегал смелых метафор, благодаря чему достиг ясности и краткости выражений⁴⁷. Обаяние речей Лисия заклю-

⁴⁷ См.: Маринович Л.Г., Кошеленко Г.А. Указ. соч. С. 43.

чается в убедительности и силе речи; позднее его стиль был признан образцом **аттицизма** (*Цецилий*) и стал примером для подражания таких выдающихся писателей эпохи эллинизма, как *Юлий Цезарь*, *Брут*, *Лициний*, *Кальв*. Из греков ближайшим наследником был *Исей*, деятельность которого относится к первой половине IV в. до н.э. Он прославился как судебный оратор в делах о наследстве, но не совершил, подобно учителю, переворота в истории риторики. По изяществу и пластичности образов сохранившиеся речи Исея («О наследстве Аполлодора», «О наследстве Филоктемона») значительно уступают в мастерстве речам Лисия, хотя представляют большой интерес для характеристики экономической жизни и семейных отношений в Аттике.

ИСОКРАТ

(436—338 до н.э.)

Формирование общественно-политических и морально-нравственных взглядов Исократ, наследника Лисия, происходило в иной период развития афинской демократии. Поражение в Пелопоннесской войне и осознание последствий этого явились причиной распада многих ценностных основ демократического полиса, что, естественно, должно было породить защитников древнего полисного стиля. Исократ был не первым и не последним в ряду афинян, стремившихся с помощью пера возродить больную демократию, но он создал для этого новые средства, соответствовавшие потребностям момента. Деятельность Исократ в области «политии» и риторики открывает эпоху эллинизма.

Специалисты-историки прямо говорят о переориентации культуры, в рамках которой творит Исократ: «Ораторское искусство, философия, исторические сочинения заняли в ней ведущее место, оттеснив на второй план драму и лирику. Утратила былую популярность трагедия, зато процветала комедия. Сократилось монументальное строительство, но наблюдался явный расцвет архитектуры малых форм. В ваянии и живописи разрушался прежний идеал гармонии и соразмерности, все чаще люди и боги изображались в состоянии аффекта, больше внимания уделялось индивидуальным чертам личности»⁴⁸. Изменениям оказался подвержен не просто стиль мировидения, но и тип самого воссоздающего мир оратора.

Исократ впоследствии признавался: «...нет у меня ни достаточно сильного голоса, ни смелости, чтобы обращаться к толпе,

⁴⁸ *Исаева В.И.* Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994. С. 30—31.

подвергаться оскорблениям и браниться с торчащими на трибуне (82). Что же касается здравого ума и хорошего воспитания — хотя кто-нибудь скажет, что слишком нескромно говорить так, — я держусь иного мнения и причислил бы себя не к последним, а к выделяющимся среди других. Поэтому я и берусь давать советы так, как позволяют мои способности и возможности, и нашему государству, и всем эллинам, и самым знаменитым людям»⁴⁹. Действительно, не обладавший природными данными трибуна Исократ не был «действующим», практическим оратором. Он стал моралистом и, следовательно, наставником, теоретиком, т.е. аналитиком, и, наконец, журналистом, создателем жанровых форм политического руководства (инструкции), открытого письма, обличения или панегирика в современном понимании этого слова. Рассмотрим подробнее названные ипостаси Исократа.

Моралист и наставник, Исократ создает в 392—352 гг. до н.э. школу красноречия, которая стала крупнейшим риторическим центром Эллады. Из нее вышли прославленные ораторы *Исей*, *Ликург*, *Гисперид*, историки *Андротсион*, *Эфор*, *Феопомп*, политические деятели и полководцы *Тимофей*, *Леодамант*, *Клеарх*, *Никокл*. Обучение в школе Исократа продолжалось три-четыре года, но стоило около 1000 драхм, что было доступно только очень состоятельным людям. Глава школы не уставал повторять, что обучение искусству красноречия закладывает фундамент образования, формирует профессиональные навыки для деятельности любого рода: «Люди могут стать лучшими, более достойными, чем были раньше, если загорятся желанием научиться красноречию и страстно захотят постигнуть искусство убеждать слушателей»; риторика помогает достигнуть известных выгод, «не тех, к которым стремятся невежественные люди, но тех, которые действительно таковы» (Isocr., Antid., 274. Пер. В.Г. Боруховича).

Создавая школу, Исократ рассматривает риторику как синоним знания, которым можно овладеть в процессе обучения, и приравнивает обучение красноречию к воспитанию, призванному сформировать достойного гражданина, — ведь все выдающиеся государственные деятели прошлого имели репутацию блестящих ораторов. Искусство составления речей квалифицируется им как философия; педотрибика — один из двух элементов педагогики — должна заботиться о теле человека, а философия — заниматься его душой. Образование такого рода помогает ученикам одно-

⁴⁹ Isocr., Phil., 81—82 (цит. по: *Исаева В.И.* Указ. соч. С. 225).

временно совершенствовать тело и душу (Isocr., Antid., 50, 81, 185). Поэтому в его школе физические упражнения, занятия сценической речью, пластикой соседствуют с общеобразовательными предметами, ведь оратор никогда не знает, на какую тему ему придется говорить, и поэтому знания из области физики и истории, математики и биологии, астрономии и мифологии, литературы и экономики нужны ему как воздух. Постигание законов развития слова и построения речи для Исократов не самоцель, а универсальный инструмент для понимания природы человека и активного воздействия на нее. Особое внимание уделяется при этом политической сфере, в которой философия и политика выступают равными партнерами.

Ситуация, при которой человек, сам не произносивший речей, обучал других красноречию, была, конечно, неординарной и служила предметом насмешек. Отголоски этой реакции сохранились у *Псевдо-Плутарха*: «Когда его спрашивали, как это он, сам не способный [произносить речи], учит других, он отвечал, что точильный камень не может резать, но он делает железо острым» (Ps.-Plut., Vitae X or 838E—F). На время руководства школой приходится пик политической активности Исократов, разработка им теории и практики государственного устройства, внутренней и внешней политики полисов, принципов межгосударственных отношений, социальной стратификации.

В школе Исократов изначально отсутствовал снобистский дух специального философского обучения, ведь чтобы убедить слушателей и иметь у них успех, нужно говорить на доступном им языке, ориентироваться на их психологию и восприятие мира, использовать укоренившиеся стереотипы, манипулировать общеизвестными фактами. Народное собрание в Афинах состояло отнюдь не из интеллектуалов; обращаясь к нему, было бесполезно ссылаться на философские постулаты или строить сложные умозрительные схемы. Поэтому в учении и школе Исократов появляется понятие «δόγματα τῶν πολλῶν» — «мнение большинства». Завоевать «мнение большинства» — это значит уловить настроение аудитории, установить с ней контакт и тем самым снискать одобрение слушателей. Подобные идеи связывали школу Исократов с практикой софистского обучения, опираясь на которое глава школы подчеркивал большие потенциальные возможности, заложенные в красноречии. По его мнению, искусство оратора может быть употреблено как на благо, так и во зло; природа слова такова, что «одно и то же можно изложить

разными способами: великое представить незначительным, малое возвеличить, старое представить новым, а о недавних событиях рассказать так, что они покажутся древними» (Isocr., Paneg., 8. Пер. К.М. Колобовой).

Для всей греческой литературы характерно искание не новых тем, а новых трактовок. В частности, конечно, новизна трактовок понимается и как новизна словесного выражения. Исократ выставляет это требование в своей программной речи «Против софистов», где он говорит, что наиболее искусным кажется тот человек, который, говоря на тему, уже использованную ранее, сумеет найти в ней другими не сказанное. Еще яснее эта мысль выражается в «Панегирике» (Isocr., Paneg., 4, 8): «...речи отличаются тем свойством, что можно об одном и том же говорить на разные лады и старую тему излагать по-новому». Школа Исократ — школа нового по сравнению с софистикой периода, и релятивизм здесь заменяется требованием нравственных аспектов риторики. Благодаря этому Исократ входит в историю как создатель общеобразовательной школы, отличающейся от научных академий и лицеев Платона и Аристотеля.

Обычно морализаторский пафос становится необходимым в обществе, утратившем нормы морали, в мире, где понятия добра и зла потеряли свой первоначальный смысл, в социуме, который надо спасать. Таковой, на взгляд Исократ, является не только Аттика, но и вся эллинская цивилизация. К эллинам он обращается со своей *философией речи*, с призывом возродить *πάτριος πολιτεία* — «конституцию древних», при которой Эллада победила варваров, а Аттика достигла в пределах Греции невероятного могущества.

Исократ создает свои пространные описания в кабинетной тиши, опираясь на глубокие мифологические и исторические экскурсы, продуманную, но очень сложную композицию, выверенный многократным прочтением вслух способ использования тропов и фигур. Древние говорили, что его речь льется как масло, гладко и плавно, правда, на слушателя наводит сон, зато в текстовом варианте не имеет себе равных по красоте. Исократ действительно много внимания уделял форме своих сочинений. Он первым разграничивает речь *поэтическую* и собственно *прозаическую*, каковой и является ораторская проза. Во вступлении к «Евагору» он пишет: «...поэтам дано много средств украсить рассказ: им можно изображать богов в общении с людьми, беседующих и сражающихся вместе с ними против кого угодно; они могут

употреблять не только общепринятые слова, но и чужеземные, и вновь придуманные, и метафоры; им не надо ничего пропускать, напротив, им можно всяческими приемами расцвечивать поэзию. Ораторы же лишены этих возможностей: они должны быть точными и пользоваться только общеупотребительными словами и умозаключениями, относящимися только к самому делу. Поэмы, кроме того, сочиняют все с помощью размеров и ритмов, ораторам же недоступно ни то ни другое...» (Isocr., Euag., 9—11). Результатом этого разграничения явилось понимание специфики **аналитического** метода публицистической прозы, отличавшего ее от **пластического** способа изображения в поэзии. Как замечает Т.А. Миллер, «он как бы делал эскиз с далекого расстояния, откуда видны лишь контуры предметов, но откуда заметны также нити, связующие их друг с другом, откуда можно объять взором множество предметов сразу, можно их сопоставить, отличить похожие от непохожих, малые от великих... Пластичность красочных, чувственно воспринимаемых фигур заменена здесь наглядностью совсем иного рода, заменена логической ясностью четко проведенной группировки»⁵⁰.

Итак, способ выявления логической связи между предметами — достижение публицистической практики Исократ. Антитезы и параллелизмы прежних ораторов оттачивали интеллектуальную наблюдательность, стимулировали работу ума, четко распределяли объекты по группам. Теперь оратор соотносил в своей речи не только отдельных людей, а целые государства, целые системы человеческого общежития и тем достигал особого впечатления.

Вторым звеном той техники, которая помогала Исократу осуществить главные функции ораторской прозы — назидание и увещание, — было *благозвучие*. Стремление к совершенству порождает продуманную и выверенную до мелочей композицию⁵¹, а также искусную периодичность речи. В трактате «Брут» Цицерон отмечает, что «дробный ритм Фрасимаха и Горгия, которые, по преданию, первые стали искусно сочетать слова, ему (Исократу. — Е.К.) казался рубленым... Он первый стал изливать мысли в более странных словах и в более мягких ритмах» (Cic.,

⁵⁰ Миллер Т.А. От поэзии к прозе... С. 89.

⁵¹ В уже упомянутой речи «Против софистов» Исократ прислал: «Не могут быть красивы речи, если в них не соблюдена уместность (*καίρος*), если они не составлены подобающим образом (*πρεπόντως*) и нет в них новизны (*καινός*)» (13). Далее он рассматривал подобное украшение речи *эпитемами* — особыми риторическими доказательствами (16).

Brutus, 40). Период Исократа четко расчленен содержательно и формально, особенно при помощи антитезы, музыкален и оформлен ритмически. Кроме того, стремление к благозвучию породило намерение избежать **зияний** — стечения гласных в конце одного и начале другого слова, что было неприятно для чуткого слуха греков и нарушало плавное течение речи.

Наконец, Исократ отказался от *обилия* тропов и риторических фигур, введенных Горгием, и стал следовать литературным нормам, выработанным Лисием, которые стали общеупотребительными в наиболее образованных слоях общества. Как указывает Ф.Ф. Зелинский, «великий учитель всей интеллигенции IV в. до Р.Х.» Исократ «создал стиль греческой прозы, отныне обязательный для всех, дорожащих литературной славой писателя»⁵².

Одним из условий хорошо составленной речи сам Исократ считал степень важности затронутых в ней проблем, видя в этом принципиальное отличие политического красноречия, посвященного «государственным делам, делам эллинов и царей», от пустых тем, частных сделок и судебных разбирательств (Isocr., Panath., 11; Paneg., 4; Pril., 4, 13, 28, 94). Долг оратора как гражданина — служить родному городу (Isocr., Antid., 61, 76—79; Panath., 2; Phil., 23, 82) и использовать дар слова на благо людям (Isocr., Antid., 36). На практике он включает в круг интересов своей публицистики вопросы внутренней и внешней политики Афин и Эллады по отношению к «варварским» государствам, рассматривает формы государственной власти, ее взаимоотношений с гражданской общиной и конкретным человеком. Он обращается к историческим фактам как к материалу, необходимому для теоретических построений, отмечает на конкретных примерах определенные политические и социальные тенденции, чего прежде ораторы не делали.

Цель Исократа заключается в том, чтобы помочь правителям и гражданам найти правильный путь в современной «политии», поскольку величайшие возможности, заложенные в слове, могут принести коллективу много пользы и много вреда. «Лучшими из речей я признаю те, которые посвящены наиболее важным вопросам, наиболее ярко характеризуют ораторов и приносят наибольшую пользу слушателям» (Isocr., Paneg., 4). Польза лежит в области морали, а мораль Исократа в своих истоках напоминает нам патриархальные этические нормы Гесиода и библейских пророков: «Обычно богатство и могущество сопровождаются

⁵² Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. С. 179.

безрассудством и своеволием, а бедность и скромность сочетаются с благоразумием и умеренностью». Обращаясь к современности в речи «О мире», оратор исполнен праведного гнева в своих упреках согражданам: «...некоторые дошли до такой степени неразумия, что хотя и признают несправедливость весьма постыдной, но считают ее выгодной и полезной в повседневной жизни; справедливость же, по их суждению, хотя и обеспечивает добрую славу, но невыгодна и способна приносить большую пользу не тем, кто ее проявляет, а другим людям (32). Они не понимают, что ничто не содействует материальной выгоде, доброй славе, правильному образу действий и вообще благополучию в такой степени, как добродетель со всем тем, что в нее входит»⁵³.

Однако из дальнейшего знакомства с речами Исократ становится ясна подвижность шкалы моральных ценностей, построенной на утилитаристском, по мнению К. Брингманна, принципе⁵⁴. Политический мыслитель вводит понятие *пользы*, в зависимости от которой начинает оценивать справедливость или несправедливость принимаемых государственных решений. Если в ораторской практике Исократ придает большое значение пользе как конечной цели хорошо составленной речи (Isocr., Antid., 78—79; Paneg., 4; Phil., 13, 24), то в сфере политики польза для него — задача, поставленная перед государством, одновременно показатель правильности выбранного пути. Исократ объясняет причины ожесточенной борьбы за гегемонию в Элладе недостатком земли и хлеба. По его мнению, нужда (ἀπορία) разрушает дружбу, обращает родство во вражду (ἔχθρος) и вовлекает всех людей в войны и смуты (πόλεμος, στάσις) (Isocr., Paneg., 17, 34, 119; Phil., 9). «...Действия государств определяются не ненавистью или клятвами или тому подобным, а только соображениями собственной выгоды» (Isocr., Phil., 45), — с уверенностью констатирует он. Поэтому наряду с традиционной аргументацией — моральной и политической — он вводит еще один вид доказательств — экономический.

Понимание роли экономических процессов в формировании политических убеждений и принципов внешней политики выделяет Исократ из ряда современников и заставляет нас признать его первенство в попытке создания аналитической публицистики. «Мы должны усвоить, — между прочим замечает ритор, — что никто не является демократом или олигархом по природе, а каж-

⁵³ Исократ. О мире. Филипп / Пер. Л.М. Глускиной // Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994. С. 188.

⁵⁴ Bringmann K. Studien zu den politischen Ideen des Isocrates. Göttingen, 1965. S. 93.

дый хочет, чтобы утвердился такой политический строй, при котором он будет занимать почетное положение» (Isocr., De Pace, 133). Исходя из этой позиции Исократ делает вполне однозначные выводы о «пользе» и «вреде» для народа Архе (державы) с точки зрения смысла социальной политики: *«Дело правителей заключается в том, чтобы своими заботами сделать управляемых более счастливыми; в обычае же тиранов трудами и несчастьями других доставлять себе радости»* (Isocr., De Pace, 91). При анализе данного утверждения становится очевидным, во-первых, что Исократ свободно включает в свои рассуждения один из главных постулатов, содержащихся в утопии Платона «Государство» (тезис о том, что искусство управления имеет в виду не собственную выгоду, а выгоду предмета, которому служит, — 342С—Е); во-вторых — в методике построения своих рассуждений опирается на разработанный софистикой принцип антитезы, технология которой становится главной в построении системы его доказательств. В-третьих, или изначально наш автор является убежденным приверженцем демократии и противником тирании, или мастерски использует привычные стереотипы массового сознания о «справедливой и несправедливой власти». И наконец, несмотря на все уверения в неумении, нежелании лстить толпе и угождать ее вкусам, Исократ знает, какие из его идей могут получить поддержку сегодня, и приводит их в соответствие с пониманием потребностей момента.

Обширная сеть *бинарных оппозиций*, присущих технике убеждения Исократ-журналиста, позволяет ему свободно манипулировать сознанием своих читателей, предлагая им «новейшие» трактовки того, что в политике нравственно, а что нет. Приведем наиболее показательные примеры.

Распространенная антитеза «прошлое—настоящее» используется Исократом в основном для выработки оценочного критерия некоторых политических явлений современности. Вслед за Гомером, идеализирующим героическое и мифологическое прошлое человечества, Исократ в знаменитом *«Ареопагитике»*, говоря о достаточно известных исторических временах, прошлое Афин периода правления Солона оценивает как образцовую форму государственного устройства. Нарисованная им картина поражает читателя полной гармонией, царящей в городе, удивительным доверием и согласием как между государством и индивидом, так и между различными слоями общества.

Порядок и устойчивость конституции, по мнению Исократ, поддерживались высокой нравственностью граждан и правиль-

ным воспитанием молодежи. Созданная Ареопагом община требовала от своих членов выполнения гражданских доблестей и строгого соблюдения моральных норм, к тому же заботилась об их материальном благополучии, обучая менее состоятельных земледелию и морской торговле, более состоятельных — верховой езде, охоте и философии (Isocr., Areopag., 44—45). Таким образом, всем был обеспечен достаток и какой-либо род занятий, позволяющие уничтожить причины преступности — нищенство и праздность. Наблюдение за неприкосновенностью религиозных обрядов и установленного государственного строя осуществлял совет Ареопага, состоявший из нравственных, знатных и доблестных граждан (Isocr., Areopag., 37). Они строго следили за жизнью каждого, удерживая граждан от дурных поступков не столько наказанием, сколько общей нравственностью; наблюдение было организовано столь тщательно, что заранее было известно, кто мог совершить преступление (Isocr., Areopag., 42, 46—48).

Подобная картина даже современникам Исократу представлялась явной утопией, потомуки же долгое время считали «Ареопагитик» трактатом о воспитании. Впрочем, цель автора лежала в иной плоскости. Созданный им миф о прошлом должен был восприниматься как антитеза настоящему, против несовершенств которого направлен основной пафос произведения. Только в прошлом существовала δικαίον — справедливость, в то время как сейчас царствует ἀδικία — несправедливость. Однако данная вполне логически обоснованная антитеза вскоре заменяется Исократом несколько условной оппозицией «польза—справедливость». Для Фукидида, современника Исократу, несовместимость этих понятий очевидна (Thuc., V, 85—112). Исократ же, выступая против сторонников продолжения Союзнической войны, выдвинул тезис о конфликте пользы и справедливости в политике (Isocr., De Pace, 31—34), но затем объявил, что конфликт этот мнимый и вызван неверной трактовкой понятий: по-настоящему несправедливость не может быть выгодной, так как ведет к получению преимущества на короткое время, а справедливость гарантирует длительный период благоденствия (Isocr., De Pace, 31—35, 63, 66).

Наконец, Исократ использует антитезу «сила—справедливость», когда в ней возникает потребность; его мораль тесно связана с политической ситуацией и меняется в зависимости от нее. В речи «О мире» он возмущается афинской политикой угнетения союзников и стремлением города к господству над Элладой как факторами, послужившими причиной поражения государства в войне

(Isocr., De Pace, 19—22, 28—29, 64—66, 79—80). В «Панегирике», речи с другой политической задачей, автор утверждает, что действия города по отношению к союзникам были справедливы, афиняне процветали, а пострадали лишь враги (Isocr., Paneg., 20, 80—81, 100—103, 115). Опосредование морали политическими и экономическими нуждами превращается в прием убеждения, в метод манипулирования общественным сознанием. Существующие исторические свидетельства того, что автор знаменитого трактата «Государь» Макиавелли, вероятно, с немалой пользой для себя штудировал Исократ.

Исократ торжественно провозгласил принцип точности и правдивости в ораторском описании (Isocr., Euag., 10), но его же риторическая практика делает этот тезис одним из штампов пропаганды, цель которой — завоевать доверие аудитории. Использовались как умолчание, так и искажение событий прошлого и настоящего. Например, для доказательства положения о том, что внешняя политика демократического полиса лучше политики Тридцати тиранов, победу Конона при Книде (394 г. до н.э.) оратор переносит в 361—360 гг. до н.э. (Isocr., Areopag., 65). С целью создать впечатление о моральном падении греческих полисов заключение Анталкидова мира приписано Ксерксу, а не Артаксерксу (Isocr., Phil., 42). Для обоснования дуалистической гегемонии Афин и Спарты Исократ в «Панегирике» пишет о единодушии афинян и спартанцев во время греко-персидских войн, искажив широко известные исторические факты (Isocr., Paneg., 86 и сл.). Чтобы показать легкость завоевания Востока, оратор дает заведомо неверную картину военно-экономического потенциала Персии (Isocr., Paneg., 138—164; Phil., 99—104).

Ту же эволюцию наблюдаем в оппозиции «свобода—рабство» (ἐλευθερία—δουλεία), которая у Исократа связана не с индивидуальным, а с государственным статусом. Рабство и ассоциируемые с ним негативные представления усиливают позитивное значение понятия «свобода», метафорически заменяющее известный политический термин ἀυτονομία (независимость) (Isocr., Paneg., 115, 117). Внешне отказавшийся от горгианских фигур, Исократ творчески подошел к наследию учителя, сделав поэтический прием метафорического использования понятия аргументом в политической борьбе. Не случайно создатель формальной логики Аристотель, по преданию ненавидевший Исократ, призывал: «Стыдно молчать и позволять говорить Исократам!»⁵⁵

⁵⁵ Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Античная поэтика. С. 11.

Очевидные противоречия исократовской методики тем не менее были не вполне очевидны современникам и даже самому писателю, который громко декларировал принципы «истинной демократии» (на самом деле — аристократической олигархии) в «Ареопагитике» и «Панегирике», а по сути всегда делил мир на *πολιτεύόμενοι* (политические лидеры и их команда) и *ῥήτωρ* (ораторы), с одной стороны, и *ἰδιῶται* (чернь, толпа) — с другой. Именно *чернь во власти* породила наиболее мощные по силе воздействия и эмоциональности разоблачения Исократом современных ему форм народоправства. В речи «О мире» он говорит, что эллины возненавидели Афины из-за наглости предков (*τὴν ἀσέλγειαν τῶν πατέρων* — Isocr., De Pace, 79), т.е. из-за претензий Афинского морского союза на гегемонию среди греческих полисов. Прошлое здесь становится причиной, настоящее — следствием. Сходный прием используется для разоблачения внутренней политики радикальной демократии: порча «политии» (хорошей конституции) объявлена прямым результатом действий лиц, отнявших у Ареопага его права (Isocr., Areopag., 50—51). При нынешнем состоянии вещей «распушенность считается демократией, противозаконие — свободой, невоздержанность на язык — равенством, а возможность делать все, что вздумается, — счастьем» (Isocr., Areopag., 20). Впрочем, в такой оценке событий оратор не одинок. Об этом периоде развития афинской демократии Платон говорит как о государстве, где наглость называют просвещенностью, разнузданность — свободой, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством (Plato, De Rep., 560E).

Власть толпы порождает, по мнению Исократа, развращенность среди политиков: «Из выступающих с трибуны вам нравятся самые негодные, и вы думаете, что пьяные более преданы демократии, чем трезвые, неразумные — чем здравомыслящие, те, которые делят между собой государственное достояние, — чем те, которые выполняют литургии из собственных средств. И можно только удивляться, если кто-либо надеется, что государство, имеющее таких советников, будет преуспевать... хотя у нас и демократия, но нет свободы слова в Народном собрании, кроме как для безрассуднейших и нисколько о вас не заботящихся ораторов...» (Isocr., De Pace, 13—14). В оценке роли демократических лидеров Афинского государства начала IV в. до н.э. мнение политического оратора Исократа совпадает с точкой зрения комедиографа Аристофана, разоблачителя предателей-демагогов:

Заботы одинаковы о городе
У всех нас. Огорчаясь и печалуясь,
Слежу я за разрухой государственной
И вижу: негодяи правят городом.

(Arist., Eccl., 173—176. Пер. А. Пиотровского)

Стремление Аристофана вернуть родной город ко временам Эсхила и Марафона было проявлением стереотипа мышления, характерного для греческой культурной традиции, и проявилось, как уже отмечалось, в социальной утопии «Ареопагитика» Исократ. Но как политический мыслитель Исократ осознает невозможность возврата к мифическому благоденствию под эгидой Ареопага и для современного государства ищет иную эгиду в форме единовластия.

Переход к пропаганде идей единовластия был для афинянина нелегким процессом, продиктованным политической и нравственной необходимостью. С солоновских времен тирания воспринималась эллинами как абсолютно неприемлемая форма правления, и сам Исократ с глубоким убеждением писал: «Разве люди, овладевшие единоличной властью, не подвергаются сразу же таким бедствиям, что вынуждены вести борьбу со всеми гражданами, ненавидеть даже тех, от кого не претерпели никакого зла, не доверять собственным друзьям и товарищам, возлагать охрану своей безопасности на наемников, которых никогда и не видели; опасаться своей охраны не меньше, чем заговорщиков; столь подозрительно ко всем относиться, что не чувствовать себя в безопасности в присутствии даже ближайших родственников? И это вполне естественно: ведь они знают, что из тиранов, правивших до них, одни были убиты своими родителями, другие — детьми, третьи — братьями, четвертые — женами и что род их оказался стертым с лица земли» (Isocr., De Pace, 111—114). Говоря это, Исократ использует сложившийся еще со времен тираноубийства Писистратидов стереотип насильственной гибели тирана и неприемлемости подобной формы правления для Афин. В массовое сознание эти идеи долго внедрялись трагическими поэтами — сторонниками демократии: Эсхилом в «Персах» и «Прикованном Прометее», Софоклом в «Антигоне» и «Эдипе» [*«спесь порождает тирана и грозное ждет наказание»* (Soph., Oed., 873)], Еврипидом в «Ионе» [*«Всякий честный // Тирану — острый нож. Трепещет он...»* (Eurip., Ion., 626—627. Пер. И. Анненского)]. Вторя им, историки отвергали тиранию, видя в ней образ правления ненавистной Персидской державы (Herod., I,

III, 80; IV, 37; V, 92; Thuc., I, 17). Геродот полагал, что тиран должен вести недостойный образ жизни и испытывать всяческие беды — искупление за недостойную форму правления (Herod., 32; III, 40—43, 80). Платон в «Государстве» говорит о тирании как порождении презируемой им охлократии: демагог окружал себя телохранителями, получал от безумного народа власть и становился кровавым тираном (Plato, De Rep., 565D, 566A).

Однако под влиянием исторических условий Платон меняет свои взгляды на проблему единоличной власти в сторону примирения с ней, приходит к осознанию необходимости твердой власти на фоне развалившегося государство народоправства. Тот же вывод предлагает Ксенофонт, создавший в «Агесилае» и «Гiero-не» апологию единоличной власти с точки зрения этики и морали и дававший тиранам советы, как правильнее проводить политические, экономические и социальные реформы.

Свою лепту в разработку концепции единоличной власти внес и Исократ, обосновав ее с позиций законности и целесообразности, моральной и политической точек зрения. В своих ранних речах «*Похвала Елене*» и «*Бусирус*» Исократ высказывал мысль, что наилучшая форма правления — единоличная власть, но ни в коем случае не тираническая, описанная так: «Они грабят святыни богов, умерщвляют лучших из сограждан, не доверяют самым близким людям, и на душе у них ничуть не легче, чем у схваченных и приговоренных к смерти...» (Isocr., Bus., 15). Исократ проводил четкое разграничение между властью мудрого правителя, царствующего с согласия граждан и благодаря своим выдающимся личным качествам, и тираном, опирающимся на военную силу, правящим вопреки воле сограждан. Он превозносил мифического правителя Тесея за то, что «свою власть он не охранял наемниками, но сберегал ее благомыслием граждан, по могуществу своему равный тирану, а по благодеяниям — заступник народа» (Isocr., Hel., 37). Его Тесей — идеальный правитель, вождь, который заботился о народе, правил с согласия своих сограждан; власть для него — не источник обогащения, а средство возвеличить эллинов, обеспечить их безопасность (Isocr., Hel., 43). Уже в этой речи оратор пытался набросать идеал правителя, «который берет на себя опасности, оставляя плоды своих трудов на общее пользование» (Isocr., Hel., 33). Раздраженный практикой народных собраний, принимающих необоснованные решения, Исократ довольно зло замечает: «...мы и фиванцы должны бы давать друг другу деньги на народные собрания: ведь кто из нас

чаще будет собираться, тот обеспечит лучшее положение своему противнику» (Isocr., De Pace, 59). Каков контраст с апологией народоправства у Перикла! Демократическая политика характеризуется Исократом как отсутствие быстрой реакции на происходящее, пагубно отражающееся на внешней политике полиса. Оратор постепенно склоняется к мысли, что государства с единовластным способом правления «превосходят другие в принятии решений и выполнении необходимых дел», а также имеют преимущества в войне (Isocr., Nic., 17, 22—24). Так рождается мысль об идеальной тирании, находящейся в прямой оппозиции к демократии.

Эту мысль Исократ подробно разрабатывает в так называемом «кипрском цикле», включающем в себя речи «К Никоклу», «Никокл», «Евагор» и «К Демонику» (370—360-е гг. до н.э.). Здесь впервые в греческой политической теории была обоснована мысль, что судьба тирана «и по божественным, и по человеческим понятиям является самой высокой и почетной». Тирания провозглашается даже предпочтительнее наследственной царской власти, а образцом идеального правителя становится кипрский тиран Евагор. Этот политический деятель был союзником афинян в борьбе с лакедемонянами и дружественной Спарте Персией; за свои заслуги он получил права афинского гражданства и ему даже воздвигли статую в Афинах. Исократ создает **энкомий** — похвальное слово Евагору — примерно в 365 г. до н.э., после смерти тирана, убитого в 374 г. до н.э., и, следовательно, преследует пропагандистские и педагогические цели, а не стремится польстить власти предрежащей. Как верно подмечает М.М. Бахтин, в основе энкомия лежит «гражданская надгробная и поминальная речь, заменившая собой древнюю “заплачку”»⁵⁶. «Евагор» сыграл беспрецедентную роль в формировании жанра энкомия в греческой литературе, а также в создании наследующих ему жанров житий и торжественных биографий и в обосновании пунктов политической программы любого претендента на власть. Современная журналистика стыдливо отрекается от жанровой специфики энкомия (хвалебной песни, посвященной какому-либо лицу или божеству) или панегирика (хвалебной речи в праздничном собрании), хотя приемы Исократовы при создании торжественных биографий отлично усвоены создателями имиджей президентов и прочих политических лидеров. Между тем помимо славословия

⁵⁶ Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 282.

(ἐγκομιον — букв. пер. слова *энкомий*) античное красноречие знало еще и **погос** — речь обличительную, разоблачительную, содержащую в своей основе инвективу.

Принцип и метод похвалы, разработанный еще в «Елене» и «Бусирисе», сводился к следующим основным рекомендациям: в объекте должно освещать только его достоинства, т.е. дела и свойства, соответствующие благу и добродетели, как их понимал Исократ и его соотечественники, а все несогласное с этой нормой должно опускать. Для прославления объекта необходимо преувеличивать его достоинства и ради этого следует прибегать к нарочитым приемам, в особенности к ссылкам на авторитет, к сопоставлению со знаменитостями и проч. «Ведь всем известно, что стремящиеся восхвалять кого-либо должны уметь обнаруживать в нем больше положительных качеств, чем у него есть на самом деле, — поясняет в «Бусирисе» Исократ, — обвиняющие должны действовать как раз наоборот» (Isocr., Bus., 5).

Руководствуясь этими соображениями, Исократ начинает воссоздавать образцовый облик государственного мужа с мифологизации его родословной, которая ведется от потомков Зевса (Isocr., Euag., 12—18), и далее предлагает перечень моральных качеств и достоинств, которые проявляются в действиях героя и в своей совокупности образуют единую полную добродетель (ἀρετή) — норму полисной этики. Мажорный тон всему дальнейшему рассказу задается четко очерченной характеристикой такого рода: «В детстве Евагор отличался красотой (κάλλος), силою (ῥώμην) и скромностью (σωφροσύνην) — качествами, которые наиболее приличны такому возрасту. Засвидетельствовать его скромность могли бы те, кто рос вместе с ним, его красоту — все, кто его видел, его силу — те состязания, на которых он побеждал своих сверстников. Когда он возмужал, все эти качества также возросли, а кроме того, присоединились мужество (ἀνδρία), мудрость (σοφία) и справедливость (δικαιοσύνη), причем не в умеренной степени, как это бывает у других людей, но каждое качество в избытке. Действительно, Евагор настолько превосходил других достоинствами (ἀρεταῖς) своего тела и разума (ψυχῆς), что тогдашние правители всякий раз, как они видели Евагора, приходили в смятение и начинали бояться за свою власть... однако когда они обращали свой взор на нравственные качества этого человека, они проникались к нему столь сильным доверием, что полагали даже найти в нем своего защитника...» (Isocr., Euagl., 22—24. Цит. в пер. Э.Д. Фролова. — ВДИ. 1966. № 4). При восхвалении современника писателю

предстояло, пользуясь вполне ординарными деталями, самому создать впечатление его величия. Точка отсчета оставалась неизменной: хвалить полагалось за «аретэ» — совокупность общепризнанных достоинств. Наличие требуемых свойств не было чем-то само собой разумеющимся и нуждалось в обосновании. Исократ сумел почти на пустом месте достичь эффекта грандиозности. Для этого он окинул взором всю жизнь своего персонажа в ее целостности, в естественном переходе от одного возраста к другому. Каждому возрасту оратор приписал набор необходимых положительных качеств и тем самым изобразил жизнь кипрского царя в виде четкой схемы, как совершенствование и накопление добродетелей по мере развития от детства к возмужанию. Итогом сказанного становится совершенно софистический довод — «человек с такой натурой не может всю жизнь довольствоваться простой ролью» (Isocr., Euag., 24). В итоге оратор приходит к почти нищенскому выводу о том, что сильный человек не должен ограничиваться законами и повиноваться государству, так как именно в этом и заключается препятствие для осуществления его целей (Isocr., Epist., VII, 8—9).

В бесспорности высоких качеств прославляемого автор убеждал своего читателя не фактами, а ссылками на авторитетное мнение тех, кто знал Евагора. Для того чтобы представить Евагора как фигуру необычную, Исократ сосредоточил свое внимание не на размерах и значимости его действий, которые, естественно, не могли идти в сравнение с подвигами исторических деятелей, а на способе их осуществления, на линии поведения персонажа, на средствах достижения цели. Изображая Евагора как политика и правителя, оратор выставляет в привлекательном виде его приход к власти. «Вина насилия» при захвате трона снята с Евагора и возложена на другого; для вящей убедительности распределение ролей санкционировано авторитетом Бога: «А божество с исключительной предусмотрительностью позаботилось о том, чтобы он получил царскую власть достойным путем: все, что связано с вероломством, неизбежным в таком случае, совершил другой, а для Евагора божество сохранило лишь такие дела, благодаря которым можно было добиться власти, не погрешая ни против божеских, ни против человеческих установлений» (Isocr., Euag., 25—26). Горгианский принцип антитезы позволял Исократу говорить о необычности героя, сравнивая его с неограниченным числом антиподов. Евагору противопоставляются люди, оказавшиеся в одном с ним положении, и тогда его непохожее ни на кого поведение свидетельствует о величии духа про-

славляемой персоны: «Счастливо избежав опасности и укрывшись в Солах, что в Киликии, Евагор не поддался тому настроению, которое обычно охватывает людей, попавших в такую беду. Обычно изгнанники, даже если они ранее были тиранами, падают духом под влиянием постигшего их несчастья; Евагор, напротив, проявил такое величие духа, что хотя до этого был простым человеком, теперь вынужденный стать изгнанником, решил добиваться тирании» (Isocr., Euag., 27).

Наиболее ошеломляющее впечатление производит парадоксальное сопоставление кипрского царька со всемирно известным покорителем Азии Киром Старшим, в котором Исократ отдает пальму первенства Евагору. Процедура «переоценки» сводилась к введению двойного критерия, когда величие государственного деятеля оценивалось не столько размерами его завоеваний, сколько личными качествами. «Сколько тиранов было на протяжении веков, — восклицает Исократ, — но ни один не достиг этого положения более достойным путем, чем Евагор... из царей более позднего времени, а может быть, вообще из всех более всего и чаще всего восхищаются Киром, который отобрал власть у мидян и передал ее персам. Но ведь он одержал победу над мидийским войском при помощи персидского, что легко могли бы сделать многие как из эллинов, так и из варваров, тогда как Евагор большую часть подвигов, о которых было сказано выше, несомненно совершил благодаря личной духовной и физической силе... Кроме того, у одного все было совершено с полным уважением к божескому и человеческому праву, тогда как у другого случались и неблагоприятные поступки: Евагор истреблял только врагов, Кир же убил отца своей матери. Поэтому если иметь в виду не масштабы событий, а доблесть (аретэ) каждого, то по справедливости Евагору следует воздать большую похвалу, чем Киру» (Isocr., Euag., 34, 37, 38).

Критерий оценки деяний Евагора постоянно соотносится Исократом с интересами Аттики. Величие преобразований, проведенных на Кипре, доказывается тем, что туда начали стекаться эллины и сам афинский полководец Конон стал другом Евагора, а исключительная одаренность и военный талант тирана, его отвага и величие духа — тем, что даже персидский царь испытывал перед ним страх и не смог победить его (Isocr., Euag., 51—57 и сл.). «Прием парного соположения позволял создавать внутри этих замкнутых зарисовок впечатление полноты и исключительности. Ритор изображал не только героя в контексте других лиц, но и мелкие детали в контексте других деталей, существующих или

только возможных. В рифмующихся парных отрезках текста реальность представляла расчлененной на все новые и новые оппозиции или соответствия (антитезы и параллелизмы). Реальность приобрела множество оттенков, и объект выглядел на ее фоне каким-то особенным, выдающимся благодаря тому, что в нем отдавалось предпочтение чему-то перед чем-то», — пишет Т.А. Миллер⁵⁷.

Наконец, Исократ подходит к важнейшей формуле, определяющей идеального государственного деятеля с позиций канона этических представлений своего времени: «От каждой политической формы он брал самое лучшее; он обладал качествами народного вождя — потому что умел окружать заботой народ; государственного деятеля — потому что справлялся с управлением целого государства; опытного полководца — потому что сохранял благоразумие перед лицом опасности; наконец, прирожденного повелителя, потому что всем этим отличался от других» (Isocr., Euag., 4—6). Схема, намеченная Исократом, впоследствии стала стереотипом в агитации и жизнеописаниях людей, избравших себе государственное поприще. И не важно, что не все их деяния укладывались в предложенную схему: о преступлениях можно было умолчать, ссылаясь на **эйкос** (εἰκός — правдоподобное, вероятное), как делал сам Исократ, опуская то, что позорило его героя. Например, смерть Евагора от руки убийц автор энкомия заменяет благостной кончиной старца на руках у близких. Оратор без труда возвеличивает заслуги героя, вставив их в мифологический ряд, где Троянская война не идет ни в какое сравнение с борьбой Евагора за Кипр: «Спрашивается, можно ли яснее, чем это сделано на примере столь трудной и опасной войны, показать все мужество, рассудительность и доблесть Евагора? Ведь совершенно очевидно, что эта война не сравнима не только с другими войнами, которые когда-либо велись людьми, но и с походом древних героев, который повсюду воспевается в песнях. Участники этого похода силами всей Эллады взяли одну только Трою, тогда как Евагор, опираясь на единственный город, боролся против всей Азии» (Isocr., Euag., 65).

Наконец, Исократ, не смущаясь, готов назвать своего героя «богом среди людей» или «смертным божеством», поскольку, на его взгляд, пример тирана Евагора мог быть использован как наиболее перспективный и реальный вариант монархии для Греции IV в. до н.э. Идеальная тирания Исократа должна была держаться

⁵⁷ Миллер Т.А. От поэзии к прозе... С. 95.

не на терроре, а опираться на имущие слои; обязанность тирана — охранять «порядочных людей» от «злоумышленников». Сия умо-зрительная конструкция была ничуть не менее утопичной, чем демократия «Ареопагитика», но в реальной исторической ситуации оказалась более жизненной, поскольку в отличие от «власти Ареопага» проецировалась в будущее и связывалась оратором в последний период творчества с династией македонских царей.

Заканчивая разговор об энкомии, следует указать на пропагандистскую специфику названной жанровой формы. Издревле прославление достоинств личности служило воспитывающим фактором, поскольку герой энкомия мог послужить притягательным примером для современников. Попытка изобразить в прозе некую норму человеческого совершенства как образец для подражания была вызовом поэзии и соперничеством с ней. В частности, исследуя предпосылки формирования жанра романа в европейской литературе, М.М. Бахтин возводил его жанровый генезис в том числе и к энкомии Исократ: «На основе разработанных биографических схем энкомиона и возникла первая автобиография в форме защитительной речи — автобиография Исократ, оказавшая громадное влияние на всю мировую литературу (особенно через итальянских и английских гуманистов). Это — публичный апологетический отчет о своей жизни. Принципы построения своего образа те же, что и при построении образа умерших деятелей в энкомионе. В основу кладется идеал ратора. Сама риторическая деятельность прославляется Исократом как высшая форма жизненной деятельности. Это профессиональное самосознание Исократ носит совершенно конкретный характер. Он характеризует свое материальное положение, упоминает о своих заработках как ратора. Элементы чисто приватные (с нашей точки зрения), элементы узкопрофессиональные (опять с нашей точки зрения), элементы общественно-государственные, наконец, и философские идеи здесь лежат в одном конкретном ряду, тесно переплетаются между собою. Все эти элементы воспринимаются как чисто однородные и слагаются в единый и целостный пластический образ человека. Самопознание человека опирается здесь только на такие элементы своей личности и своей жизни, которые повернуты вовне, существуют для других так же, как и для себя; только в них самосознание ищет своей опоры и своего единства, других же интимно-личных, “самостных”, индивидуально-неповторимых моментов самосознание вовсе не знает.

Отсюда и специфический нормативно-педагогический характер этой первой автобиографии. В конце ее прямо выставляется воспитательный и образовательный идеал»⁵⁸.

На закате дней свои монархические идеи Исократ формулирует в речи «*Филипп*», представляющей собой форму открытого письма, написанного македонскому царю Филиппу, врагу эллинской свободы. Здесь Исократ с пылом возвращается к обоснованию горгиевой идеи панэллинизма, звучавшей и в более ранних его речах «О мире» и «Панегирик». Теперь прославленный ритор предлагает Филиппу примириться с греками и, объединив их под своей эгидой, разгромить Персию. Таким образом, за счет варваров Исократ планирует вывести Элладу из экономического и политического кризиса, в котором она пребывает. Как указывает неизвестный древний комментатор последней речи Исократа, «Филипп не послушался излагавшихся в ней советов, но отложил их исполнение до другого времени. Однако позже сын его Александр тоже прочитал эту речь и, воодушевленный ею, предпринял поход против Дария Второго»⁵⁹. Вдохновленный идеями Исократа, он создал самую знаменитую из великих империй древности и открыл новую историческую эпоху — эллинизм.

Да и может ли тот, кто обращается к народу, совершать преступление гнуснее этого — говорить одно, а думать другое.

Демосфен, XVIII, 282

ДЕМОСФЕН

(384—322 до н.э.)

Классическая греческая риторика V—IV вв. до н.э. увенчана поистине трагической фигурой политического и судебного оратора Демосфена, погибшего в неравной схватке с единовластием, предопределенным самой историей. Судьба Демосфена, его титаническое единоборство с царем Филиппом и промакедонской партией в Афинах настолько поразили современников и потомков, что воспоминания о нем приобрели легендарный характер. Демосфен не был полубогом или святым, он лучше других знал соблазны, подстерегающие на каждом шагу лидера политической партии, он испытал диктатуру толпы, но все-таки остался патриотом и сторонником народовластия. Пожалуй, только он с полным правом мог сказать согражданам: «Никогда не бывает, чтобы

⁵⁸ Бахтин М.М. *Формы времени и хронотопа* в романе. С. 287.

⁵⁹ Исаева В.И. *Античная Греция в зеркале риторики*. Исократ. М., 1994. С. 215.

ораторы делали вас негодными или честными, наоборот, вы делаете их какими хотите: не вам ведь приходится угадывать, чего они хотят, а они стараются угадать то, что, по их мнению, желательно для вас»⁶⁰.

Рассказывают, что природа не наделила Демосфена ни одним из качеств, необходимых вождю и трибуну. Блезненный ребенок, опекаемый вдовой-матерью, он получил скверное образование и к совершеннолетию был разорен недобросовестными опекунами. Активно взявшись за отстаивание собственных прав через суд, он стал брать уроки у Исея (в то время очень известного специалиста по имущественным делам) и в конце концов выиграл процесс над расхитителями отцовского наследства. Правда, помимо морального удовлетворения выигранное дело денег Демосфену не принесло, но опыт ведения подобных дел — ценное приобретение, и юноша избрал профессию логографа. Так в силу жизненных обстоятельств Демосфен становится оратором.

Беда заключалась в том, что молодой честолюбец, до слез восхищавшийся оратором Каллистратом, который, будучи обвинен в измене, только с помощью красноречия завоевал симпатии присяжных и вышел из суда победителем, сопровождаемый общими похвалами и поздравлениями, при первом своем появлении на публике был осмеян и освистан. Частое дыхание, нервный тик и дефекты речи не позволяли Демосфену целиком отдаться избранному поприщу. С этого момента начинается преодоление — самая характерная черта в судьбе и личности Демосфена Пеанийского, сына Демосфенова.

Как рассказывает Плутарх, «когда в полном отчаянии, закрывши от стыда лицо плащом, он отправился домой, его пошел проводить актер Сатир, близкий его приятель. Демосфен стал ему жаловаться, что из всех ораторов он самый трудолюбивый и отдает красноречию все силы без остатка, а народ знать его не желает, между тем как пьяницы, мореходы и полные невежды всегда находят слушателей и не сходят с возвышения. “Верно, Демосфен, — отвечал Сатир, — но я быстро помогу твоей беде. Прочти-ка мне, пожалуйста, наизусть какой-нибудь отрывок из Еврипида или Софокла”. Демосфен прочитал, а Сатир повторил, но при этом так передал соответствующий характер и настроение, что Демосфену и самому этот отрывок показался совсем иным. Так он убедился, сколько стройности и красоты придает

⁶⁰ *Демосфен*, XIII, 36. Здесь и далее цит. по: *Демосфен. Речи: В 3 т. / Под ред. Е.С. Голубцовой, М.П. Маринович, Э.Л. Фролова. М., 1994.*

речи “игра”, и понял, что сами по себе упражнения значат очень мало или даже вообще ничего не значат, если ты не думаешь о том, как лучше всего преподнести и передать слушателям содержание твоих слов. Он устроил себе в подземелье комнату для занятий, которая цела и до нашего времени, и, неукоснительно уходя туда всякий день, учился актерской игре и укреплял голос, а нередко уединялся на два-три месяца подряд, выбрив себе половину головы, чтобы от стыда невозможно было выйти наружу, даже если очень захочется.

Но этого мало — любую встречу, беседу, деловой разговор он тут же превращал в предлог и предмет для усердной работы. Оставшись один, он поскорее спускался к себе в подземелье и излагал последовательно все обстоятельства вместе с относящимися к каждому из них доводами. Запоминая речи, которые ему случалось услышать, он затем восстанавливал ход рассуждений и периоды; он повторял слова, сказанные другими или же им самим, и придумывал всевозможные поправки и способы выразить ту же мысль иначе⁶¹. Ведь обыкновенный судебный оратор в Афинах вынужден был часами говорить на открытом воздухе перед аудиторией в 6 тысяч слушателей так, чтобы его слышали даже не желающие слушать! А Демосфен стремился говорить в Народном собрании, где собиралось значительно большее количество людей. Он стал тренировать голос и дыхание, громко декламируя стихи, когда поднимался в гору, он исправлял свою дикцию с помощью камешков, которыми наполнял рот, и так говорил, перекрикивая шум прибоя; он часами стоял перед зеркалом, отрабатывая мимику и жесты, он избавился от непроизвольного подергивания левого плеча, подвесив над ним меч, каждый раз коловший непослушное тело...⁶² Он лепил себя сам, доводя до совершенства то, что так небрежно исполнила природа. Факт для греческой культуры, блиставшей самородками, поразительный.

При внимательном чтении текстов Демосфена мы обнаружим, что некоторые досадные погрешности в произнесении им речей все же сохранились. Например, в знаменитейшей речи «За Ктесифонта о венке» оратор с издевкой отвечает Эсхину, который обозвал его Батталом (заикой) и передразнил Демосфенов «выговор и повадку»: «Ну конечно — неужто еще непонятно? —

⁶¹ Plut., Dem., 7—8 (цит. в пер. С.П. Маркиша по: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Т. 2. С. 325).

⁶² См. подпр.: Plut., Dem., 9; Cic., De finibus, V, 2.

эллинические дела приняли бы совершенно иной оборот, если бы вот это слово я произнес не так, а этак и если бы протянул руку не сюда, а вон туда!»⁶³

Видимо, суть демосфеновой славы таилась не в мастерстве актерской подачи, а в публицистической мощи идей, изложенных в форме, доступной большинству. Все тот же Плутарх рассказывает о насмешках современников над стремлением Демосфена озвучивать только хорошо продуманные речи: «...очень трудно было услышать Демосфена, говорящим без подготовки, но, сидя в Собрании, где народ часто выкрикивал его имя, он никогда не выступал, если не обдумал и не составил речь заранее. Над этим потешались многие из вожakov народа и искателей его благосклонности, а Пифей однажды сострил, что, дескать, доводы Демосфена отдают фитилем. “Фитили моей и твоей лампы, любезнейший, видят совсем не одно и то же”, — язвительно возразил ему Демосфен. Но вообще-то он и сам признавался, что, хотя и не пишет всех речей целиком, никогда не говорит без предварительных заметок. При этом он доказывал, что человек, который готовится к своим выступлениям, — истинный сторонник демократии, ибо такая подготовка — знак внимания к народу, а не проявлять ни малейшей заботы о том, как воспринимает народ твою речь, свойственно приверженцу олигархии, больше полагающемуся на силу рук, чем на силу слова» (Plut., Dem., 8).

Действительно, в течение всей своей жизни Демосфен был ярким приверженцем народовластия и искренним патриотом Афин. Известно, что политический оратор в Аттике не обладал никакой иной формой власти (ни исполнительной, ни финансовой, ни военной), кроме власти слова. В той же речи «За Ктесифонта о венке» Демосфен противопоставляет всемогущество монарха (в конкретном случае Филиппа Македонского) положению вождя демократической партии в Афинах: «Прежде всего он самодержавно правил своими подначальными, а это для войны самое главное. Кроме того, его люди всегда были в полной боевой готовности. Ну, а кроме того, денег у него было предостаточно, и поступал он так, как сам решит, не объявляя о делах своих заранее в особых постановлениях, не обсуждая их на виду у всего света, не таскаясь в суды по облыжным доносам, не отвечая на обвинения в беззаконии и никому ни в чем не отчитываясь, — во всех своих делах был сам себе повелитель и хозяин и самый

⁶³ Demoth., XVIII, 231 (цит. в пер. Е. Рабинович по: Ораторы Греции. М., 1985. С. 261).

главный начальник. Ну а я? Я противостоял ему один на один, и справедливости ради об этом тоже надобно теперь сказать, но чем я мог распоряжаться по собственному усмотрению? Ничем и никем! Даже самая возможность говорить перед народом не была моим преимущественным правом, но делилась вами поровну между мною и его наемными слугами, так что когда случилось им меня переспорить — а случалось часто и по многим поводам! — то вы уходили домой, проголосовав за предложения своих врагов» (Demoth., XVIII, 235—236). Демосфен хорошо знал этот диктат толпы и часто вынужден был подчиняться ее требованиям и вкусам. Образованные люди (Деметрий Фалерский) находили внешнюю манеру изложения Демосфена «низменной, пошлой и бессильной», хотя из «его речей видно, что он говорил с народом прямее и откровеннее остальных, не уступая желаниям толпы и беспощадно порицая ее заблуждения и пороки» (Plut., Dem., 11—14).

Главным средством Демосфена-оратора становится его умение увлечь слушателей тем душевным волнением, которое испытывал сам, говоря о положении родного полиса в эллинском мире и о внешней политике демократии по отношению к другим системам и государствам.

По своему положению в Афинах Демосфен исполнял роль министра иностранных дел, осуществляющего внешнюю политику демократического полиса примерно с 352—341 гг. до н.э. Но он не был официальным должностным лицом, а лишь проводил свои предложения в области международной политики в виде постановлений через Народное собрание или Совет пятисот. Не занимая никакой официальной должности, но прекрасно разбираясь в межгосударственных отношениях, Демосфен был советником, принимал участие в прениях и при положительном решении по его проектам неоднократно отправлялся с посольскими делегациями и исполнял волю народа. Для подобных функций необходимо было не только быть выдающимся оратором, но и дипломатом, публицистом, аналитиком и, наконец, мужественным человеком, умеющим брать на себя ответственность за политические решения. Таким был самый непримиримый враг Македонии и объединитель эллинского мира.

В основании политической позиции Демосфена лежит все тот же древний этический кодекс человека-гражданина, сформулированный с помощью сократовско-платоновской диалектики и ставший «десятью заповедями» как судебной (Лисий), так и политической риторики. В соответствии с этим кодексом смер-

тельным врагом полисного устройства является тирания. «Народ, который попадает в зависимость от царя, перестает быть свободным и превратится в раба» (Demoth., I, 23), «...ведь всякий царь или тиран есть враг свободы и противник законов» (Demoth., VI, 25), — говорит оратор во «Второй речи против Филиппа». Опора на закон — вот главное завоевание демократии и основа народоправства в Афинах, потому что демократическое государство есть государство правовое. Старые, испытанные законы не должны необдуманно изменяться; судебные решения не должны терять свою силу (Demoth., XX, 89—92; XVIII, 64—81; XXIV, 152—156, 216—217). Этот тезис — общее место для современников борьбы с Филиппом, поскольку его несколько раз варьирует в своих речах непримиримый противник Демосфена, сторонник промакедонской партии Эсхин. «Не подчиняй себе законы, а подчиняйся им сам: только этим укрепляется народовластие», — советует он политикам, и далее: «В городе, где народная власть, простой человек царствует благодаря закону и праву голоса; если же он передаст их другому, то сам подорвет свою силу»⁶⁴. Ему вторит Демосфен: «Одного, да, одного нужно остерегаться больше всего на свете: чтобы кто-нибудь возвышался над большинством. Не нужно мне, чтобы кого-нибудь спасали или губили потому, что так желает такой-то; но кого содеянное спасает или губит, то пусть получает от каждого из вас голос соответственно делам: в этом суть народовластия» (Demoth., XIX, 296). Но если для Демосфена подобные сентенции — суть его политического мышления, те ценности, за которые он был готов и в конце концов пожертвовал жизнью, для его современников Исократ и Эсхина — лишь громкие фразы, стереотипы мышления толпы, используемые в качестве привлекательного антуража. Подобно Исократу, Эсхин проводит в Аттике политическую линию македонского царя и поэтому становится злейшим врагом Демосфена.

Противоборство двух ораторов, Демосфена и Эсхина, начинается с 343—342 гг. до н.э., когда первый возбуждает против второго в афинском суде (так сливаются воедино судебное и политическое красноречие) дело «О предательском посольстве», в результате которого из-за прямого сговора с врагом и медлительности подкупленных царем послов Филипп погубил афинских союзников фокидян и захватил новые территории во Фракии, стремительно пройдя неприступные прежде ворота Греции —

⁶⁴ Эсхин. Против Ктесифонта о венке: 23, 233 (цит. в пер. С. Ошерова, М. Гаспарова по: Ораторы Греции. С. 166, 206).

Фермопилы. Обвинения Демосфена в этой речи строятся в основном на доводах морального порядка, поскольку фактическими доказательствами он не обладает. Ощущая свою моральную правоту, Демосфен апеллирует к Народному собранию с призывом казнить Эсхина, хотя крайней формой наказания за подобное преступление могла служить лишь атимия (лишение гражданских прав).

Перед оратором, обвиняющим Эсхина, стоит сложнейшая задача развенчания предательской политики промакедонской партии, стремящейся к разрушению существующего государственного строя — демократии и независимости Афин. Но разговоры о высокой политике, об образцах героической доблести и справедливости предков стали настолько общим местом всех подвизающихся на ораторском возвышении, что афинский обыватель уже не отличает своих защитников от своих врагов. Поэтому Демосфен к высокой патетике политического красноречия времен Перикла примешивает низкий жанр инвективы, поношения, обличения конкретного человека. Он не чурается самых бранных слов, самых низкопробных упреков в происхождении родителей, незаконнорожденности, порочащих любовных связях, изменах жены, актерских провалах и проч., направленных на уничтожение личности «пособника Филиппа» Эсхина. Любопытно, что уже здесь употреблен остроумный риторический прием *претериции* (*praeteritio*⁶⁵ — букв. прохождение мимо), когда Демосфен заявляет, что браниться не умеет и не любит, а дальше разражается чудовищной бранью в адрес своего врага.

В принципе подобный способ использования политической аргументации, сегодня рассматривающийся как низкопробный и популистский, был обоснован тезисом афинской «политии», что человек, негодный в личной жизни и быту, не может исправно исполнять возложенные на него народом государственные обязанности. Так в официальную сферу политического красноречия врываются лексика и обороты улицы. В Народном собрании Афин, где большинство составляли крестьяне и матросы, успехом пользуются соленые шутки, острые словечки, ругательства, божба и прочие элементы народно-смеховой культуры. В речах Демосфена против Эсхина (XVIII, XIX) их более чем достаточно. Аггическая классика в очень незначительной степени разводит по разные стороны официальную (государственную)

⁶⁵ Окончательно система риторических фигур сложилась только в латинской традиции. Поэтому многие термины имеют латинское происхождение.

и торжественную (обрядовую) речь и язык площади — народную, смеховую, фаллическую, комическую традицию. Нередко они продолжают пересекаться, создавая наиболее злободневное содержание, как в политических комедиях Аристофана или в речах Демосфена, Эсхина, Гиперида, Ликурга — последних ораторов свободных Афин. Только жесткая теория стилей непрерываемого французского классицизма, на основе которой сложилось наше сегодняшнее пуристское представление о языке и нормах ведения политического диалога, создает преграды (впрочем, не всегда) непристойности, личным нападкам и грубым шуткам.

Однако наряду с инвективой в речах против Эсхина звучат удивительные по глубине образности и точности наблюдений размышления Демосфена над судьбой афинской демократии в ее трагическом единоборстве с единовластием. С горечью говоря о делах общеэллинских, Демосфен отмечает великое преимущество Македонца не в особенностях государственного устройства, не в воинской мощи или поддержке собственного населения, а в предательстве подкупленных царем греческих политиков, «ибо в Элладе в ту пору — да и не где-то в одном месте, а повсюду — взошел такой урожай предателей, взяточников и прочих свято-татцев, что подобного изобилия никому не припомнить, сколько ни вспоминай. Вот с этими-то союзниками и помощниками он ввергнул эллинов, издавна не ладивших и враждовавших друг с другом, в еще злейшие несчастья: иных обманул, иных одурачил подачками, иных прельстил всяческими посулами и этим способом совершенно разобшил всех, хотя на деле для всех было самым лучшим лишь одно — не давать ему такой силы» (Demoth., XVIII, 61). «По-моему, в эту самую пору и случилось так, что почти повсюду граждане из-за своей неумеренной и неуместной беспечности совершенно лишились свободы, а их предводители, прежде думавшие, что торгуют всеми, но не собою, поняли, что себя продали еще в самом начале торга. Теперь-то не величают их друзьями и гостями, как в былое время, когда наживались они на взятках! Теперь-то они зовутся и подхалимами, и клятвопреступниками, и еще по-всякому — слушают, что заслужили!» (там же, 46). Большая коррупцией демократия не в силах сопротивляться внешнему напору агрессора именно из-за утраты гражданами ценностных ориентиров, вырождения их в пустую фразу; там, где нет идеалов, там торжествует чистоган; имморализм и подкуп — вот главные симптомы кризиса и распада.

Борьба с Эсхином, еще одним кумиром аттической Агоры, была для Демосфена нелегкой. И хотя Эсхин не получил специального риторического образования, он был известнейшей политической фигурой, когда Демосфен только начинал карьеру политического оратора. Профессиональный актер, Эсхин умел увлечь публику своими четкими и логически обоснованными периодами, почти трагедийным пафосом в апологии самого себя и, наконец, инвективой против Демосфена. Он начинает свою речь «О предательском посольстве» с точных психологических наблюдений за противником, например, замечает, что все обвинения Демосфена были произнесены «не в гневе: лжец никогда не гневается на несправедливо оклеветанных им» (Esch., 2). Вероятно, Демосфен-обвинитель, ставя в вину Эсхину заключение предательского Филократова мира (346 г. до н.э.), ко времени начала процесса (343—342 гг. до н.э.) несколько растерял обличительный пафос, и это сказалось на результатах голосования. Сам он, впоследствии отвечая на вопрос о главном качестве оратора, утверждал, что первейшее условие успеха — живость, второе — живость и третье — тоже живость.

Эсхин справедливо упрекает обвинителя в «сумбурности» речи, как профессионал отмечает просчеты противника в собственной апологетике: «Из его речи следует, что он, Демосфен, — единственный хранитель города, все остальные — предатели...» (8). Опыт политической борьбы несомненно сказывается в продуманных нападках на личность обвинителя — в трусости на поле боя (148), тогда как он, Эсхин, в сражениях проявил себя героически (167—170), в незаконнорожденности (93), даже в детских прозвищах и страсти к сутяжничеству (99) и т.д. «...я обозвал его блудодеем, у которого нет на теле чистого места вплоть до уст, откуда исходит голос...» — позволяет себе заявить Эсхин. Но слабость его позиции в этом деле становится ясной из показательного софистского заявления: «Ведь не Македония делает людей подлыми или честными, а природа!» В дальнейшем ссылка на «честную природу» афинского посла Эсхина требует подпорок в перечислении прежних заслуг: «...я, первым сообщивший вам о победе города и о подвигах ваших сыновей, прошу у вас самой первой милости — спасения жизни...». И далее: «Со мною пришли к вам просители: мой отец — не отнимайте же надежду его старости! — мои братья, которые, расставшись со мной, вряд ли захотят жить, мои свойственники и эти малые дети, еще не сознающие грозящих опасностей, но достойные жалости, если мне придется пострадать. О них я прошу, для них молю величайшего снисхождения: не предайте их врагам...» (179).

На этот раз Эсхин процесс выиграл — небольшим преимуществом голосов, но выиграл. Правда, от посольских обязанностей его отстранили и от государственных должностей тоже. Спустя двенадцать лет (330 г. до н.э.) давняя вражда вновь выплеснулась наружу: теперь Эсхин обвинил некоего Ктесифонта в нарушении закона при награждении золотым венком... Демосфена. Демосфен не мог уклониться от процесса, на самом деле направленного против него лично, да и не собирался этого делать, хотя обстоятельства политической жизни в Афинах сильно изменились. В 338 г. до н.э. союзные войска афинян и фиванцев были разгромлены при Херонее царем Филиппом, и независимость греческих городов-государств стала мнимой. Теперь Эсхин не стесняется называть себя гостеприимцем и другом Филиппа (к этому времени убитого Павсанием) и его сына Александра. Демосфен, чью голову уже требовали выдать македоняне, по логике политической игры должен был испугаться, но вопреки логике он создает блестящую апологию самого себя, а на самом деле апологию демократического вождя, до конца преданного своим принципам.

Демосфен изъясняет здесь трудность позиции государственно-го человека, избравшего своим поприщем дела общеэллинские. Он повествует с законной гордостью победителя о своем посольстве, спасшем Византий и остальных союзников от захватнических планов Филиппа в 341 г. до н.э.: «...вы прогнали Филиппа с Евбеи вашим оружием, но также и моими — да, моими, хоть бы кто-то тут и лопнул от злости! — постановлениями и моим государственным участием...» (Demoth., Phill., I, 87). За это деяние Совет и народ впервые постановили увенчать Демосфена золотым венком в театре Диониса (349 г. до н.э.). Причем дипломатическая победа оратора принесла городу не только славу и почет, «но еще и достаток — жить стало сытнее и дешевле» (89). Подобно Исократу воспитанный в лоне демократии, Демосфен оценивает собственную государственную деятельность подъемом уровня жизни большинства населения. Затем, став среди добровольцев, начальствовавших над боевыми кораблями афинян, Демосфен провел закон, «посредством которого принудил богачей честно исполнять свои обязанности, бедняков освободил от несправедливых утеснений, а больше всего принес пользы городу, добившись, чтобы суда снаряжались к положенному сроку» (102). Показательным для демократически мыслящего оратора является вывод, построенный на параллелизме, подчеркнутым отрицательной частицей *ни*: «ни в городских делах я не предпочитал приязнь богачей правам большинства граждан, ни в делах эллинских не

променивал блага Эллады на Филипповы подарки и гостеприимство» (109).

В речи «За Ктесифонта о венке» Демосфен подробно рассказывает о своих трудах, разъездах, неподкупности на страже афинской демократии (218), о пренебрежении личной безопасностью (220), о том, как он единственный «в страшный миг не покинул своего места в гражданском строю» (173), когда Фивы уже готовы были уступить Филиппу, и убедил их заключить политический и военный союз с Афинами. Позднее Плутарх красноречиво опишет этот подвиг оратора-патриота: «...когда Филипп, гордый своим успехом при Амфиссе, внезапно захватил Элатию и занял всю Фокиду и афиняне были потрясены настолько, что никто не решался взойти на ораторское возвышение и не знал, что сказать, Демосфен, поднявшись среди всеобщего молчания и растерянности, советовал объединиться с фиванцами; этою и еще другими надеждами он, как всегда, ободрил и воодушевил народ и принял поручение вместе с несколькими согражданами выехать в Фивы. Отправил своих послов, как сообщает Марсий, и Филипп — македонян Аминта, Клеандра и Кассандра, фессалийцев Даоха и Дикеарха, которые должны были выступить против афинян. Фиванцы ясно видели, в чем для них польза, а в чем вред, ибо у каждого в глазах еще стояли ужасы войны и раны фокейских боев были совсем свежи. Но сила Демосфенова красноречия, по словам Феопомпа, оживила их мужество, разожгла честолюбие и помрачила все прочие чувства, и в этом высоком воодушевлении они забыли и о страхе, и о благоразумии, и о благодарности, всем сердцем и всеми помыслами устремляясь лишь к доблести. Этот подвиг оратора произвел такое огромное и яркое впечатление, что не только Филипп немедленно послал вестника с просьбой о мире, но и вся Греция воспрянула и с надеждою глядела в будущее...» (Plut., Demoth., 18). Народ стал открыто предпочитать его другим ораторам как в радости, так и в печали среди общего несчастья. Именно Демосфену было поручено сказать надгробное слово павшим в битве при Херонее — тем, кто до последнего дыхания защищал эллинскую свободу. Ведь Демосфен сделал для «обороны Аттики сколько посильно человеческому разумению и укрепил всю страну, а не только поставил стены вокруг города и Пирея» (300). Поэтому враги греческой независимости преследовали и продолжают преследовать вождя демократической партии в Афинах. «Чего со мною ни бывало: меня требовали выдать с головой, меня страшали возмездием амфиктионов, мне угрожали, меня пытались подкупить, на меня натрав-

ливали вот этих гнусных тварей, — но, несмотря ни на что, моя преданность вам пребывала неизменной. А почему? А потому, что, едва вступив на государственное поприще, сразу избрал я для себя прямой и честный путь — блюсти и неустанно приумножать силу и преуспеяние отечества. Такова моя служба» (322), — утверждает Демосфен.

Страстность, последовательность, убедительность речи Демосфена увлекли за собою слушателей и судей, и обвинитель Эсхин, вчистую проигравший этот процесс (он не собрал даже необходимой для обвинителя пятой части голосов), подвергся штрафу в 1000 драхм и, не желая платить, удалился в изгнание на остров Родос, где открыл ораторскую школу. В его политической карьере была поставлена точка. Рассказывали, будто ученики Эсхина однажды попросили наставника повторить для них его последнюю речь. Эсхин, издавший впоследствии этот образец ораторского искусства, с наслаждением повторил ее. Восхищенные слушатели с недоумением спросили: «Как же ты после такой речи оказался в изгнании?» — «Если бы вы слышали, что говорил Демосфен, — ответствовал Эсхин, — вы бы об этом не спрашивали».

Однако самым главным противником Демосфена, конечно, был македонский царь Филипп, об опасности политики которого оратор заговорил еще в 351 г. до н.э. в «Первой филиппике». Именно тогда патриот афинской демократии пытался внушить согражданам: «Будущее зависит от нас самих, и если мы не захотим теперь вести войну с Филиппом вдали отсюда, то, наверное, будем вынуждены вести ее здесь» (Demoth., VI, 50). Спустя двадцать лет он с полным правом мог сказать афинянам: «Я умел различать события при их зарождении, заранее постигнуть их и заранее сообщить свои мысли другим» (Demoth., XVIII, 246). Борьбе с Филиппом Демосфен посвящает по меньшей мере восемь из дошедших до нас речей, известных под общим названием «Филиппики»: «Первую речь против Филиппа», три олинфских речи, речь «О мире», «Вторую речь против Филиппа», «Херсонесскую речь», «Третью речь против Филиппа». И в каждой из них он неустанно разъясняет эллинам смысл внешней политики Македонца, основанной на принципе «разделяй и властвуй». Обращаясь к мессенцам во «Второй филиппике», он говорит: «Чего вы добиваетесь? — спросил я. — Свободы. — Но разве вы не видите, что Филипп — злейший враг ее, хотя бы по своему титулу? Ведь всякий решительно царь и владыка — ненавистник свободы и законов» (VI, 23—25). Суть позиции Филиппа по отношению к независимости греческих городов-государств, особенно

с демократическим правлением, проницательно раскрыта оратором в его выступлении «О положении дел в Херсонесе»: «Ему ненавистны больше всего наши свободные учреждения ... ему ведь прекрасно известно, что если он покорит своей власти все народы, прочно владеть чем-либо он не будет до тех пор, пока у вас существует народоправство» (VIII, 40—41).

Говоря о методах борьбы Филиппа со свободолюбием греков, Демосфен указывает на пренебрежение Македонца к «общепринятым у эллинов понятиям правозаконности» (XVIII, 181). Здесь в ход идут обман и подкуп, нарушение клятв и стравливание противников (XVIII, 19, 65 и сл.): «...в иных эллинских городах он держит свои сторожевые отряды и вмешивается в государственное устройство, иные разрушает и жителей обращает в рабство, а в иные вместо эллинов поселяет варваров, допуская их попираť святыни и могилы. Все это вполне согласно с отечественными его обычаями, хотя он и злоупотребляет нынешнею своею удачей, позабывши, как сам, против всяких ожиданий, возвеличился из низости и ничтожества» (XVIII, 182).

В отличие от Исократы, смотревшего на Филиппа как на возможного спасителя Греции, который объединит враждующие полисы и возглавит поход на Восток, Демосфен видел в македонском монархе угрозу самому существованию эллинства. Отсюда столь противоположные оценки как самой личности Филиппа, так и его деяний — от энкомия до погоса. Впрочем, к прямой инвективе против Филиппа Демосфен прибегнуть не мог, поскольку в международной политике ораторы, видимо, придерживались более строгих норм в выражении своих мыслей. Но все же Демосфен нередко указывает на слабые стороны своего заклятого врага, срывая с него флер победителя и героя, в который обряжают Филиппа сторонники промакедонской партии. По выражению Демосфена, «удачи Филиппа заслоняют на время его характер, потому что удачи способны прикрыть собой пороки, но достаточно малейшего потрясения — и характер обнаруживается в настоящем виде» (II, 17). Нас восхищает рациональность политического мышления Демосфена, смеющегося над верою соотечественников в то, что сами боги способствуют тем, кто побеждает; менее чем за полтора века до Демосфена поэт Пиндар склонился перед персами, считая, что где сила, там и боги. В целом Демосфен нередко смеется над религиозными суевериями; к примеру, Эсхин упрекает Демосфена в святотатственной насмешке над прорицаниями Дельфийского оракула, поскольку, как саркастически заявил вождь афинской демократии, «пифия держит сторону Филиппа» (*Эсхин. Против Ктесифонта о венке*, 130).

Не случайно речи Демосфена против Филиппа имели общегреческий успех и заслужили всеобщее признание потомков. По преданию, сам Филипп Македонский, прочитав «Третью филиппику» Демосфена, с улыбкой заметил: «Если бы я слышал Демосфена, я сам бы подал голос за него как за вождя в борьбе против меня».

В целом мышлению Демосфена присуща ирония, искрящаяся и прорывающаяся в самые патетические моменты его речей. Так, нападая на Эсхина, он называет своего обвинителя «театральной мартышкой, деревенским Эномаем» (двойной намек, поскольку Эномай — мифологический царь, убивавший своих соперников в колесничном беге копьем в спину, и роль, проваленная Эхином в одной из театральных постановок в Афинах); сравнивает противника с врачом, который, «посещая страждущих от недуга, ничего бы им не советовал и не указывал никаких лечебных средств, а потом, после смерти какого-нибудь больного, явившись на тризну, принялся бы прямо на могиле объяснять, что если бы усопший вел себя так-то и так-то, он бы остался жив» (XVIII, 242—243). Обличая издоимство Эсхина, подкупленного Филиппом, Демосфен соединяет *иронию* (пародирование манеры противника), *антитезу* и *риторический вопрос*: «Не выступая с речью, надо прятать руку под плащ, Эсхин, а, будучи послом, надо прятать руку под плащ. А ты там протягивал и подставлял ее, опозорив всех, здесь же напыщенно вещаешь и думаешь, что, заготовив жалкие слова и хорошо поставив голос, не заплатишься за такое множество тяжких преступлений?» (XIX, 255).

Арсенал риторических приемов в творчестве Демосфена достаточно широк (о некоторых мы уже упоминали выше), но наиболее излюбленными и часто повторяющимися являются те, что помогают усилить эмоциональное или слуховое восприятие — ведь свои речи Демосфен писал не для прочтения, а обыкновенно произносил в больших собраниях, отсюда расчет на звуковое, мелодическое восприятие периода: слог Демосфена впитал в себя технику исократовского благозвучия, но исократовскую плавность сменила взволнованная и напряженная динамика. Следуя учению Исократа, Демосфен старательно избегает «зияния», особенно в ранних речах; став известным мастером, позволяет себе скопление кратких гласных, разряжая их с помощью интонации остановкой в произношении. Благозвучие, характерное для периодов Демосфена, достигается благодаря отказу от скопления кратких слогов (не более двух подряд, хотя встречаются исключения). Преобладание долгих слогов создает ощущение плавности.

«Древние критики, как Дионисий Галикарнасский и Цицерон, высоко оценивают симметричность периодов Демосфена, но анализа деления его периодов на члены не дают и правил построения ораторских периодов на основании примеров из речей Демосфена не выводят. Нам трудно проникнуть в тайны построения речей Демосфена по периодам и членам главным образом потому, что размеры самого члена (*κάλον*) не могут быть установлены с полной определенностью. С уверенностью можно сказать лишь то, что в ораторской речи соблюдались особые правила ритма, а ритм, по мнению такого тонкого критика, как Дионисий, “есть нечто, могущее пленять слух более всех чарующих средств”» (О силе Демосфена. Гл. 39)⁶⁶.

Лексика речей Демосфена становится все более четкой и конкретной. «Если у Лисия слово подчеркивалось его особым местом в схематизированном потоке речи, у Исократа — фоном всех остальных слов, то у Демосфена его стало выделять собственное, смысловое значение и его начальное место в периоде»⁶⁷. Всем прочим способам выделения смысла Демосфен предпочитает *логическое ударение*, поэтому ключевые слова он ставит на первое или на последнее место в периоде. Отсюда его любовь к *анафоре* — повторению одного и того же слова в начале нескольких фраз, следующих одна за другой.

Средством смыслового выделения служит и употребление нескольких, чаще пары, *синонимов*, обозначающих действие: «пустить говорит и советует»; «радоваться и веселиться»; «плакать и лить слезы»; «твердил и изъяснял». Для этой же цели Демосфен вставляет в середину фразы около ключевых слова с нулевым («как я думаю» — расширяет смысловой отрезок) или сакральным смыслом (например, клятвы: «клянусь Зевсом и всеми богами, заслуживал бы ста смертей»; божба: «что б мне сгинуть в пропасть!» или «...кто обвинит меня в приверженности — о Земля! о боги! — в приверженности Филиппу? Клянусь Гераклом и всеми богами...»).

Без сомнения, Демосфен виртуозно владел *антитезой*, примером которой может служить контрастное противопоставление себя противнику в речи «За Ктесифонта о венке»: «Ты служил при школе — я учился в школе, ты посвящал в таинства — я общался к таинству, ты записывал за другими — я заседал и решал, ты играл третьи роли — я смотрел представление, ты прова-

⁶⁶ История греческой литературы. Т. 2. С. 287.

⁶⁷ История всемирной литературы. Т. 1. С. 390.

ливался — я освистывал, ты помогал врагам — я трудился ради отечества» (Demoth., XVIII, 265). Но антитеза и параллелизм как приемы изукрашенные и искусственные в красноречии Демосфена заменены на более естественные и близкие к разговорной речи *анафоры, перечисления, вопросы, восклицания, вставные диалоги*.

Самые распространенные тропы у Демосфена — *метафора* и *гипербола*. К примеру, метафора из лексикона палестры: «натренировали против самих себя столь опасного врага». Более развернутая метафора богини Молвы, обличающей преступления подкупленного Эсхина, становится одним из серьезных пунктов обвинения в речи «О предательском посольстве» (XIX, 243—244). Демосфен жил перипетиями текущей политической борьбы и в отличие от Исократов довольно редко прибегал к мифологическим образам и историческим параллелям. Он скорее сам был склонен к мифотворчеству, чем к толкованию традиционного мифа. К примеру, в речи «За Ктесифонта о венке» он ссылается на миф единожды, подпирая им идею союза между афинянами и фиванцами (XVIII, 186—187). Зато Эсхин сохранил для нас эпизод создания Демосфеном «политического мифа»: «Этот самый Демосфен, узнав от Харидемовых лазутчиков о кончине Филиппа, сочинил себе вещее сновидение, будто бы узнал о случившемся не от Харидема, а прямо от Зевса и Афины, ими же днем поклявшись в том, что ночью они с ним разговаривают и предупрекают ему будущее» (*Эсхин. Против Ктесифонта о венке*, 77).

Что же касается преувеличений, то ими пестрят не только все образцы греческого красноречия, но и наша повседневная эмоционально окрашенная речь («я тебе тысячу раз говорил!...»). Демосфен прибегает к *гиперболе*, например, когда льстит самолюбию слушателей и судей: «...вы явили себя воинами не просто безупречными, но достойными восхищения за ваш строй, выучку и отвагу. Вот почему вас восхваляли, а сами вы благодарили богов жертвами и праздниками» (Demoth., XVII, 216). От невинной гиперболы к лукавому умолчанию следует оратор в своей победной речи «За Ктесифонта о венке», ведь чисто юридическая правота была на стороне Эсхина, ибо по закону нельзя было награждать венком лицо, не отчитавшееся в своей деятельности, а именно в таком положении был Демосфен. Поэтому, опустив (умолчав о них) многие упреки Эсхина, Демосфен переключает внимание слушателей с основного пункта обвинения на свою патриотическую деятельность и предательство главы промаке-

донской партии в Афинах Эсхина. По существу, он подменяет тезис, выставленный противником. Впрочем, *фигура умолчания* встречается у Демосфена и в совершенно ином контексте: оратор сознательно умалчивает о том, что он непременно должен был бы сказать по ходу изложения, и слушатели неизбежно дополняют его сами. Этот психологический прием подталкивает слушателя к сотворчеству, и тем самым точка зрения говорящего значительно выигрывает в убедительности.

Из спора двух ораторов, Эсхина и Демосфена, мы можем сделать вывод о том, что в последние годы существования афинской демократии ораторы не раз прибегали к сознательному переиначиванию фактов, к тенденциозной трактовке и прямой подтасовке, и это, видимо, было принято в условиях ожесточенной политической борьбы. Никто из живущих в том веке политических деятелей, включая Демосфена, не избежал обвинений в безнравственных поступках (см. обвинения Эсхина и Плутарха против Демосфена, написавшего речи для истца и ответчика в процессе Формиона и Аполлодора — Plut., Demoth., 15; историю с Гарпалом и казнью Александра Македонского и проч.). Но конец его жизни окружен ореолом величия.

Проиграв свою последнюю Ламийскую войну с наследниками Александра, афиняне были вынуждены подписать очень тяжелые условия мира и вынесли в Народном собрании смертные приговоры ораторам, побуждавшим их к войне против Македонии. Демосфен, Гиперид и другие защитники демократии, преданные согражданами, бежали. Ищейки Антипатра, во главе которых стоял бывший трагический актер Архий, настигли их в Эгине и, невзирая на то что они просили защиты у алтарей Эака, силой выволокли их из храма и отправили к Антипатру. Среди казненных не было Демосфена. Он нашел убежище в храме Посейдона близ Арголиды. Когда Архий настиг его там, Демосфен высмеял его, припомнив сценические провалы своего преследователя. Затем, несмотря на угрозы, попросил дать ему немного времени, чтобы оставить письменное распоряжение своим домашним. Войдя в святилище, он поднес к губам тростниковую палочку, которой писали древние, и прикусил ее. Почувствовав действие яда, Демосфен нетвердым шагом попытался покинуть храм, но у алтаря упал и умер. Так закончились дни величайшего мастера древнегреческого красноречия, которого потомки, ценя высокие достоинства его прозы, стали звать просто «Оратор», как звали Гомера «Поэт».

Однако слава Демосфена не умерла вместе с ним. Древние бережно сохранили 60 его речей, из которых по крайней мере 40 новейшая критика считает подлинными. Обширное жизнеописание Демосфена оставил Плутарх, сопоставив его биографию с жизнью выдающегося оратора Рима Марка Туллия Цицерона. Дополнительные сведения о Демосфене можно почерпнуть из сборника «*Vitae decemotorum*», который приписывается все тому же Плутарху (Ps.-Plut.), комментариев Либания и Зосимы Аскалонского, словаря Свида и из «Похвального слова Демосфену» Дионисия Галикарнасского. О значении красноречия Демосфена в античной традиции можно судить хотя бы по количеству авторов, говоривших о нем в самом возвышенном стиле, среди которых Полибий, Страбон, Ориген, Фотий, Квинтилиан, Авл Геллий, Макробий, Юстин, Тертулиан и Аврелий Августин. Цицерон считал Демосфена непревзойденным мастером красноречия, образцом для ораторов последующих веков (Cic. Brut. 9, 1; Orat., 61; De orat. gen., 4 и сл.).

Лучшей эпитафией Демосфену-публицисту могли бы стать его собственные слова: «Не слово и не звук голоса ценны в ораторе, но то, чтобы он стремился к тому же, к чему стремится народ, и чтобы он ненавидел или любил тех же, кого ненавидит или любит родина».

τῆς ψυχῆς ἦθος.

я разумею духовные свойства.

Платон. Государство. III, 10, 3.

СОКРАТ
(470—399 до н.э.)
И ПЛАТОН
(427—347 до н.э.)

Величайший мудрец древности Сократ не был ни ритором, ни софистом, хотя являлся одной из центральных фигур времен «греческого просветительства»⁶⁸. Этот период был открыт софистикой и достиг расцвета в трудах учеников и последователей Сократа — Платона и Аристотеля. Как мыслящий человек Сократ восхищался знаниями многих знаменитых софистов, их просветительским пафосом и рационализмом, их готовностью обучать других, пусть за плату, тому, что знали сами. Ведь софисты сообщали слушателям тот минимум познаний, который лег затем в основу программы обучения

⁶⁸ Этот термин, применяемый ко времени становления науки в Греции V—IV вв. до н.э., был очень распространен в классических штудиях конца XIX века. См., напр.: *Виндельбанд В. Платон*. Киев, 1993.

в регулярной высшей школе. Он и сам был некоторое время слушателем софистов, в частности Продика (*Платон*. Кратил, 384В; Протагор, 341А), того самого кеосского учителя, чьи наставления отличались от других софистических теорий высоким моральным пафосом⁶⁹. Вероятно, не только недостаток средств, о котором упомянуто в платоновском «Кратиле», не позволил Сократу стать знаменитым афинским ритором. Сын Софрониска из Алопеки избрал для себя роль «такого человека, который представлен к городу, как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли»⁷⁰. Главным занятием Сократа в течение всей жизни стало стремление убедить сограждан «заботиться о добродетели»⁷¹.

По свидетельству Ксенофонта («Воспоминания о Сократе»), сократовский «канон» добродетелей включал в себя несколько нравственных свойств: *воздержанность* (ἐγκράτεια), *храбрость* (ἀνδρεία), *благоразумие* (σωφροσύνη), *справедливость* (δικαιοσύνη), *благочестие* (εὐσεία). Платон повторяет тот же перечень («мудрость, рассудительность, мужество, справедливость, благочестие» — *Платон*. Протагор, 349В). Впрочем, этика Сократа была так же индивидуалистична, как и этика софистов, и это определило дальнейшую судьбу разрушителя полисного коллективизма.

Если софисты в своем релятивизме провозглашали относительность нравственных норм, отрицали эталон этики полиса, отвергали однозначность морали, то Сократ искал для утверждения нравственных принципов общий критерий, основанный на рационализме. Подобно софистам, отказываясь от традиционного религиозного авторитета, Сократ переносил мерило оценки человеческих поступков внутрь самого человека. Обычно он ссыался на голос таинственного демона (δαίμονιον) внутри себя и искал единую норму морали в знании (σοφία).

Именно таким предстает Сократ в платоновских диалогах «Протагор» и «Горгий», написанных прославленным творцом идеалистической философии в ранний период творчества, прошедший под непосредственным влиянием Сократа. Оба знаменитых софиста, имена которых вынесены в название упомянутых

⁶⁹ Примером тому может служить принадлежащая Продикку знаменитая аллегория о Геракле, сохраненная для нас Ксенофонтом: *Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. II, 1, 21—34 // Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб., 1993. С. 114.

⁷⁰ *Платон*. Апология Сократа. 30е / Пер. М.С. Соловьева. Здесь и далее диалоги Платона цитируются по: *Платон*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1.

⁷¹ Там же.

диалогов Платона, становятся оппонентами Сократа в полемике о смысле софистики и даваемого ею образования с точки зрения государственной и общечеловеческой пользы. «Самый неискренний, но самый острый из софистов» (Gelli noctium Atticarum, V, 10), Протагор обещает с каждым днем «совершенствоваться» своих учеников в «умении наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных»; по утверждению Протагора, благодаря его науке «можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства» (Протагор, 318А, 319А). Менее изворотливый Горгий сулит тем, кто постигнет его науку, «свободу, так равно и власть над другими людьми, каждому в своем городе» (Платон. Горгий, 452D), ибо красноречие дарует «замечательное удобство: из всех искусств изучаешь только одно это и, однако ж, нисколько не уступаешь мастерам любого дела!» (Горгий, 459С)⁷². Но правдолюбец Сократ немедленно расставляет все точки над «і». «Знать существо дела красноречию нет никакой нужды, — упрекает он Горгия, — надо только отыскать какое-то средство убеждения, чтобы казаться невеждам большим знатоком, чем истинные знатоки» (там же). Искусство красноречия — это власть невежды над невеждами, а «это самое и есть единственное дурное дело — лишиться знания» (Протагор, 345В). Поэтому софистика — наука не на пользу, а во вред. «По-моему, — говорит Сократ, — нет для человека зла опаснее, чем ложное мнение» (Горгий, 458В). Без знания человек совершает ошибочные действия во зло и себе, и окружающим.

Сократ. <...> Красноречие, по-моему мнению, — это призрак одной из частей государственного искусства.

Пол. И дальше что? Прекрасным ты его считаешь или безобразным?

Сократ. Безобразным. Всякое зло я зову безобразным. <...> Искусством я его не признаю, это всего лишь снововка, ибо, предлагая свои советы, оно не

⁷² Замечательно, что обыкновенный аттический крестьянин Стрепсиад, герой комедии Аристофана «Облака», рассуждает о софистике так же, как и Горгий. Именно для того, чтобы обмануть кредиторов своего сына, он отправляется учиться уму-разуму в «мыслильню» Сократа, который, во-первых, не имел своей, в общепринятом понимании, школы, а во-вторых, был ярким противником нравственного релятивизма софистов. Ведь именно перед Сократом оправдывается платоновский Горгий, говоря: «Если же кто-нибудь, став оратором, затем злоупотребит своим искусством и своей силой, то не учителя надо преследовать ненавистью и изгонять из города: ведь он передал свое умение другому для справедливого пользования, а тот употребил его с обратным умыслом. Стало быть, и ненависти, и изгнания, и казни по справедливости заслуживает злоумышленник, а не его учитель» (Горгий, 457В—С).

в силах определить природу того, что само же предлагает, а значит, и не может назвать причины своих действий. Но неразумное дело я не могу называть искусством. <...> как украшение тела относится к гимнастике, так софистика относится к искусству законодателя, и как поварское дело — к врачеванию, так красноречие — к правосудию».

(Горгий, 463D — 465A—D)

Добродетель и благо — основные понятия в этике и, шире, в философии Сократа. Весь мучительный процесс познания и обучения, по Сократу, должен быть направлен на поиски этих двух краеугольных основ человеческого бытия. Мудрость есть знание добродетели, ее поиски и понимание ее смысла.

К пониманию истинной добродетели Сократ идет через отрицание зла, особенно зла в его наиболее затертой и общепринятой форме:

П о л. Кто убит несправедливо — вот кто поистине и жалок, и несчастен!

С о к р а т. Но в меньшей мере, Пол, чем его убийца, и менее того, кто умирает, неся справедливую кару.

П о л. Это почему же, Сократ?

С о к р а т. Потому что худшее на свете зло — это творить несправедливость.

П о л. В самом деле худшее? А терпеть несправедливость — не хуже?

С о к р а т. Ни в коем случае!

П о л. Значит, чем чинить несправедливость, ты хотел бы скорее ее терпеть?

С о к р а т. Я не хотел бы ни того ни другого. Но если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее, я предпочел бы переносить.

Людей достойных и честных — и мужчин, и женщин — я зову счастливыми, несправедливых и дурных — несчастными.

(Горгий, 469B—C; 470E)

В споре с софистом Гиппием Сократ приходит к общественно значимой идее отождествления справедливого и законного (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе. IV, 6—8). Так мудрец пытается привить скептической и релятивистской риторике этический принцип, запрещающий использовать всевозможные ухищрения и уловки в целях доказательства мнений, противоречащих объективной истине. Сократ сокрушенно отмечает, что современные ему ораторы «гонятся за благоволением сограждан и ради собственной выгоды пренебрегают общей, обращаясь с народом, как с ребенком — только бы ему угодить!» Однако «потворствовать надо лишь тем из желаний, которые, исполнившись, делают

человека лучше, а тем, что делают хуже, — не надо...» (Горгий, 502E—503C). Истинным красноречием может считаться только то искусство, которое является «прекрасным попечением о душах сограждан, чтобы они стали как можно лучше, бесстрашной защитой самого лучшего, нравится это слушателям или не нравится...» (Горгий, 503A—B). «Речи достойного человека всегда направлены к высшему благу, он никогда не станет говорить набором, но всегда держит в уме какой-то образец (εἶδος)» (Горгий, 503A—B).

Но таким красноречием, по мнению Сократа, не владел никто из прославленных в Афинах политических ораторов. Ни Фемистокл, ни Мильтиад, ни Перикл с помощью своего красноречия не сделали сограждан лучше — благороднее, добрее, справедливее — и за это были наказаны гонениями в конце своей политической карьеры. «Ни один глава государства, — доводит до логического конца свое рассуждение Сократ, — не может незаслуженно погибнуть от руки того города, который он возглавляет. Этих мнимых государственных мужей постигает та же беда, что и софистов. Софисты — учителя мудрости — в остальном действительно мудры, но в одном случае поступают нелепо: они называют себя наставниками добродетели, но часто жалуются на учеников, которые их обижают, отказывая в вознаграждении и других знаках благодарности за науку и доброе обхождение. Это же верх бессмыслицы! Могут ли люди, которые сделались честны и справедливы, избавившись с помощью учителя от несправедливости и обретя справедливость, все же совершать несправедливые поступки...» (Горгий, 519D).

Если практическая ценность знания для софистики заключалась только в том, чтобы увеличить силу личности, стремившейся к власти и могуществу, то благородный патриотический дух Сократа не мог с этим мириться. Для него дельным гражданином был лишь человек, умевший заботиться не о себе, а о государстве. С помощью знания Сократ стремился сделать человека нравственно лучше и воспитать из него хорошего гражданина. Аристотель, который относил Сократа к софистам и изобразил афинского мудреца в виде лжеученого в комедии «Облака», подметил лишь роднящее их умение владеть словом и тем сыграл роковую роль в судьбе мудреца, прославившего Афины (см. защитительную речь Сократа в платоновской «Апологии Сократа»).

С другой стороны, Сократ внес значительный вклад в развитие софистики практической разработкой методов публичной полемики, на которых основывались все его знаменитые беседы.

Собственно термин **полемика** (πολεμικός) в переводе с греческого означал «воин», «военное дело». Умение вести беседу, сталкивать противоположные взгляды, отыскивать истину путем спора во времена Сократа называлось **эристикой** (ἐριστική — *эпич.* спорить, состязаться) и в основном было сферой приложения софистики. Один из собеседников платоновского диалога «Софист» считает, что «софист, видимо, и есть не что иное, как род [людей], наживающих деньги при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы...» (Теэтет, 226А). Диалектика Сократа представляла собой *философское* искусство вести рассуждение, в то время как *эристик* (*софист*) любой ценой отстаивал свою правоту и возражал против иной точки зрения только потому, что она иная. Кстати, **диалектика** (διαλέγεσθαι) дословно означает «беседа» и имеет в виду искусство мыслить в подвижных формах живой беседы, предполагающее, в частности, особый интерес к слову и игре слов⁷³. Оппоненты Сократа Протагор и Горгий постоянно отмечали необычайное мастерство афинянина, задающего вопросы (Протагор, 318D).

Примеры сократовских эристики и диалектики в большом количестве находим в сочинении его верного ученика Ксенофонта «Воспоминания о Сократе». Здесь собраны многочисленные беседы Сократа с молодежью на разные житейские темы, например о выборе друзей или работы, об умеренности в пище или о необходимости знаний для практической жизни, о «диалектическом определении понятий “благочестие” и “справедливость”». Но все они, по словам историка, свидетельствовали о заботах Сократа «развить в них (в учениках) способность к самостоятельности при исполнении ими своих обязанностей»⁷⁴. Другим важнейшим принципом афинского мудреца было стремление воспитать в молодежи истинные представления о благе, справедливости, разумное понимание диалектики добра и зла. Вот, например, пересказ разговора Сократа с юношей Евфидемом, мечтающем о карьере политика:

⁷³ Как пишет С.С. Аверинцев, «диалектика» в понимании древних «немыслима вне эллинского отношения к публичному слову и публичному спору, вне той поистине всенародной жадности до игры ума, без которой софисты были бы замуштрованными теоретиками и сам Сократ был бы противным многоречивым резонером. Она поднималась к духовным высотам мысли и стиля прямо от уличного острословия и уличного причитания, от народной любви к “складной” речи» (Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 234).

⁷⁴ Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. VII, 6, 15 // Ксенофонт. Сократические сочинения. С. 183.

«Скажи, Евфидем, знаешь ли ты, что такое справедливость?» — «Конечно, знаю, не хуже всякого другого». — «А я вот человек к политике непривычный, и мне почему-то трудно в этом разобраться. Скажи: лгать, обманывать, воровать, хватать людей и продавать в рабство — это справедливо?» — «Конечно, несправедливо!» — «Ну а если полководец, отразив нападение неприятелей, захватит пленных и продаст их в рабство, это тоже будет несправедливо?» — «Нет, пожалуй что, справедливо». — «А если он будет грабить и разорять их землю?» — «Тоже справедливо». — «А если будет обманывать их военными хитростями?» — «Тоже справедливо. Да, пожалуй, я сказал тебе неточно: и ложь, и обман, и воровство — это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям несправедливо».

«Прекрасно! Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот что, Евфидем: если полководец увидит, что воины его приуныли, и солжет им, будто к ним подходят союзники, и этим ободрит их, — такая ложь будет несправедливой?» — «Нет, пожалуй что, справедливой». — «А если сыну нужно лекарство, но он не хочет принимать его, а отец обманом подложит его в пищу, и сын выздоровеет, — такой обман будет несправедливым?» — «Нет, тоже справедливым». — «А если кто, видя друга в отчаянии и боясь, как бы он не наложил на себя руки, украдет или отнимет у него меч и кинжал, — что сказать о таком воровстве?» — «И это справедливо. Да, Сократ, получается, что я опять сказал тебе неточно; надо было сказать: и ложь, и обман, и воровство — это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда делается им на благо, и несправедливо, когда делается им во зло».

«Очень хорошо, Евфидем; теперь я вижу, что прежде чем распознавать справедливость, мне надобно научиться распознавать благо и зло. Но уж это ты, конечно, знаешь?» — «Думаю, что знаю, Сократ; хотя почему-то уже не так в этом уверен». — «Так что же это такое?» — «Ну вот, например, здоровье — это благо, а болезнь — это зло; пища или питье, которые ведут к здоровью, — это благо, а которые ведут к болезни — это зло». — «Очень хорошо, про пищу и питье я понял; но тогда, может быть, вернее и о здоровье сказать таким же образом: когда оно ведет ко благу, то оно — благо, а когда ко злу, то оно — зло?» — «Что ты, Сократ, да когда же здоровье может быть ко злу?» — «А вот, например, началась нечестивая война и, конечно, кончилась поражением; здоровье

пошли на войну и погибли, а больные остались дома и уцелели; чем же было здесь здоровье — благом или злом?»

«Да, вижу я, Сократ, что пример мой был неудачный. Но, наверное, уже можно сказать, что ум — это благо!» — «А всегда ли? Вот персидский царь часто требует из греческих городов к своему двору умных и умелых ремесленников, часто держит их при себе и не пускает на родину; на благо ли им их ум?» — «Тогда — красота, сила, богатство, слава!» — «Но ведь на красивых чаще нападают работорговцы, потому что красивые рабы дороже ценятся; сильные нередко берутся за дело, превышающее их силу, и попадают в беду; богатые изнеживаются, становятся жертвами интриг и погибают; слава всегда вызывает зависть, и от этого тоже бывает много зла».

«Ну, коли так, — уныло сказал Евфидем, — то я даже не знаю, о чем мне молиться богам» (Xen., Socr., VI, 2)⁷⁵.

Главными рычагами сократовской эристики были **ирония** (от εἰρωνεία — притворство, εἰρωνεία Σοκράτους — ирония Сократа; притворившись незнающим, он уличал собеседника в незнании) и **майевтика** (μαίευτικός — повивальный, оказывающий родовспоможение). Ирония заключалась в умении философа остроумной системой вопросов и ответов загнать противника в логический тупик. Однако ирония Сократа по преимуществу добродушна и деликатна⁷⁶. Она свободна от зла и спеси: «Ведь не то, что я, путая других, сам во всем разбираюсь, — нет, я и сам путаюсь и других запутываю. Так и сейчас — о том, что такое

⁷⁵ Цит. в пересказе М.Л. Гаспарова по: *Гаспаров М.Л.* Занимательная Греция. М., 2000. С. 212—213.

⁷⁶ Когда афинский суд признал Сократа виновным по всем пунктам обвинения и мудрецу предоставили слово, чтобы избрать наказание (противная сторона требовала смерти, защита могла предложить более легкое наказание, к примеру изгнание или денежный штраф), он сказал, что вполне заслужил обед в Пританее. Это был обычай угощать за государственный счет выдающихся людей — обед, на который приглашались почетные граждане, гости или победители на Олимпийских играх. Подготовленный всей своей жизнью философа к принятию смерти Сократ говорил об обеде в Пританее, что «это подходит <к нему> гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии верхом, или на паре, или на тройке, потому что такой человек старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь» (*Платон.* Апология Сократа, 36D—E.). Позднее один из богатых друзей Сократа предложил приговоренному к смерти философу бежать. Сократ остроумно спросил, знает ли Критон то место на земле, где можно было бы спрятаться от смерти?

добродетель, я ничего не знаю⁷⁷, а ты, может быть, и знал раньше, до встречи со мной, зато теперь стал очень похож на невежду в этом деле. И все-таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и поискать, что она такое» (*Платон. Менон*, 80D). Далее подключалась майевтика и тем же вопросно-ответным методом с помощью логики и диалектики способствовала рождению истины. «В моем повивальном искусстве, — замечает Сократ, — почти все так же как и у них; отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен, и принимаю роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве — то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод» (*Платон. Теэтет*, 150B—C).

Чаще всего вопросы, задаваемые Сократом, формулировались так, что на них можно было получить только однозначный и заранее предсказуемый ответ, хотя сам мудрец настаивал на том, что в точности и сам еще не знает того, о чем говорит: «Я только ишу вместе с вами, и если кто, споря со мною, найдет верный довод, я первый с ним соглашусь» (*Горгий*, 506A). Среди сократовских доводов нередко встречались игра словами, этимологические доказательства и искусные аналогии с бытовыми явлениями. Не случайно наименее образованные из оппонентов Сократа бранили его «завзятым оратором» (482C) и упрекали в пустословии и мелочности рассуждений («без передышки ты толкуешь о поварях и лекарях, башмачниках и сукновалах — как будто про них идет у нас беседа!») (489B, 491A). Однако при всей кажущейся простоте речь Сократа не только по существу, но и по форме была довольно изощрена. Исходя из внешнего подобия обыватель объединил Сократа с софистами и приговорил к смертной казни за развращение молодежи и отрицание богов.

Смерть Сократа стала примером смерти истинного философа, прожившего благочестивую жизнь и не желавшего прибегнуть к уловкам и лжи ради сохранения этой жизни. Сократ выпивает чашу цикуты во имя главной идеи своей жизни — «говорить правду» (*Платон. Апология Сократа*, 18A).

⁷⁷ Подобные тупиковые моменты в сократовских беседах демонстрировали не только невежество того или иного собеседника, но и вообще основной принцип сократовского скептицизма («Я знаю, что ничего не знаю»). По рассказам древних, Пифия назвала Сократа самым мудрым из живущих благодаря его утверждению «мудр только бог, а человеческая мудрость немного стоит» (См.: *Платон. Апология Сократа*, 21A: 23A; *Ксенофонт. Защита Сократа на суде*, I, 12—13).

Сократ создал не только новую этику, новую методику спора, но и новое мышление. Среди его учеников были прославленные Аристипп, родоначальник философского гедонизма, Антисфен, основавший школу киников, а также историк Ксенофонт и философ Платон, оставившие для потомков свои воспоминания об учителе. В истории классической риторики наследие Платона приобретает особое значение в связи с тем, что Сократ ничего не писал, и все нравственные законы, вводимые Сократом в современную ему науку и педагогику, грешащие скептицизмом и релятивизмом, стали достоянием последующих поколений почти целиком благодаря усилиям Платона и Ксенофонта.

Если Сократ был связан с софистикой многими корнями, то его духовный наследник Платон в течение жизни все более и более расходился с ней и в конце концов превратился в ее главного разоблачителя и гонителя.

В диалоге «Федр» платоновский Сократ объектом критики избирает одну из речей знаменитого судебного оратора Лисия, причем предметом разбирательства становится общепринятое в риторической практике соблюдение «должного» — общие места, слог, композиция, способ описания предмета речи. Последовательность изложения Лисия представляется Сократу платоновского диалога произвольной. [«Он стремится к тому, чтобы его рассуждение плыло не с начала, а с конца, на спине назад <...> все в этой речи набросано как попало», — рассуждает критик (264А—В).] Далее автор противопоставляет риторической практике Лисия построенную на **логическом** принципе «идеальную» речь Сократа: «Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг к другу и соответствовать целому» (264С).

Но наибольшее неприятие вызывает у философа риторический принцип правдоподобия (εἰκός), вероятности, который он отвергает в следующих выражениях: «Тисий же и Горгий пусть спокойно спят: им привиделось, будто вместо истины надо больше почитать правдоподобие, силою своего слова они заставляют малое казаться великим, а большое малым, новое представляют древним, а древнее — новым, по любому поводу у них наготове то сжатые, то беспредельно пространные речи» (Федр, 267А—В). Если риторическая практика не предусматривала глубокого изучения предмета, то Платон от риторики в первую очередь потребовал знания объекта. Причем «знание», по Платону, не сводилось

к знакомству с частными деталями дела (здесь философ был согласен принять Горгиев тезис об условности человеческого знания), а состояло в умении **постигнуть суть** предмета: определить его род и вид с точки зрения целого и единого, проанализировать его состав и взаимосвязи: «Тот, кто намерен заняться ораторским искусством, должен прежде всего определить свой путь в нем и уловить, в чем признак каждой его разновидности — и той, где большинство неизбежно блуждает, и той, где этого нет... Затем, я думаю, в каждом отдельном случае он не должен упускать из виду, но, напротив, как можно острее чувствовать, к какому роду относится то, о чем он собирается говорить» (Федр, 263В—С).

«Релятивизму софистической риторики философия [Платона] противопоставила искание **онтологии** (выделено мной. — *Е.К.*), Горгиеву отрицанию возможности познания бытия — стремление найти новое знание. Если афинские ораторы стремились управлять настроением сограждан и вершить ходом дел в государстве, то Платон в своих беседах ставил целью найти те коренные основы, от которых, как он полагал, зависит наилучшая структура общества. Исследованию этих основ, прежде всего основ полисной этики, посвящена большая часть его произведений. И огромное место в них заняла разработка программы воспитания нового типа граждан, а внутри нее — осмысление сущности и функции словесного искусства», — пишет исследовательница античной поэтики Т.А. Миллер⁷⁸.

Однако, чтобы сделать речь убедительной, систематизация и классификация, применяемые философией, казались Платону недостаточными. Он обратился к **теории восприятия** и одним из первых заговорил о психологии слушателя, находя необходимый оратору ориентир в знании различных типов человеческой души. Грубая игра Фрасимаха и его подражателей на нервах слушателей не удовлетворяла ни Платона, ни его учителя Сократа, который говорит: «В жалобно стонущих речах о старости и нужде всех одолели, по-моему, искусство и мощь халкедонца. Он умеет вызывать гнев толпы и своими чарами укротить разгневанных...» (267С—D). И далее: «Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа: их столько-то и столько-то, и они такие-то и такие-то, поэтому слушатели бывают такими-то и такими-то. Когда это должным образом разобрано, тогда уста-

⁷⁸ Миллер Т.А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля. С. 43.

навливается, что есть столько-то видов речей и каждый из них такой-то. Таких-то слушателей по такой-то причине нелегко убедить в таком-то такими-то речами, а такие-то потому-то и потому-то с трудом поддаются убеждению» (271C—E). Так эмпирически рождаются приемы научной аналитики, которыми блестяще воспользуется Аристотель как в применении к гуманитарным, так и в отношении естественных наук.

Платоновская идея связывала воедино логику, которую еще называли диалектикой, и знания о душе, т.е. психологию, и этим отличалась от субъективистского подхода софистов, рассчитывавших лишь на собственную ловкость. «Кто не учтет характеры своих будущих слушателей, — продолжает платоновский Сократ, — кто не сумеет различить существующее по видам и охватить одной идеей все единичное, тот никогда не овладеет мастерством красноречия...» (273E).

Комментируя этот отрывок, Т.А. Миллер размышляет: «Если софист брался управлять реакцией слушателя по своему усмотрению, а Исократ ставил эту реакцию в зависимость от того, как именно изображен предмет речи, то Платон предлагал изучить и систематизировать саму эту реакцию, понять ее не как нечто субъективное и неуловимое, а как что-то причинно-обусловленное, с чем оратор должен считаться. Если софист заявлял, что речь не может быть абсолютно истинной и точной, и умел ловко говорить об одном и том же прямо противоположные вещи, то Платон нашел критерий правильности высказываний в логическом ходе рассуждений о предмете, в таком способе изображения вещи, который не может меняться по прихоти оратора»⁷⁹.

В «Кратиле» Платон довел это рассуждение до логического конца, опровергнув допущение софистов о том, что слово — это условность, плод договоренности между собой, как обозначить предметы реального мира. Исходя из объективного существования окружающей реальности он создал учение о **правильности имен** (ὀρθότης ὀνομάτων). Так великому философу удалось превратить в науку эмпирические знания софистов об орфоэпии, этимологии и просто грамматике.

Роль Платона в истории риторики действительно трудно переоценить. Живые портреты Протагора, Продика, Гиппия нарисованы в диалогах «Протагор», «Гиппий больший», «Гиппий меньший» и других. Известно, что Платон посещал лекции софистов,

⁷⁹ Там же. С. 60.

манеру которых он так великолепно умел передавать. Исторические свидетельства современника имеют сегодня непреходящую ценность. Однако последователь Сократа Платон был первым серьезным критиком софистики, повлиявшим на дальнейшую эволюцию как самой риторики, так и высшего гуманитарного образования, базировавшегося на ней. Известно, что учение Сократа о воспитании добродетели и нравственности в процессе софистического обучения молодежи в изложении Платона (например, в диалоге Платона «Протагор») оказало немаловажное влияние на систему воспитания в школе Исократ, в свою очередь являющегося учеником прославленного софиста Горгия.

Платон сделал своего учителя главным действующим лицом большинства диалогов и сохранил для потомков не только обаятельный образ Сократа, но и многочисленные идеи афинского мудреца, его невиданное прежде умение вести беседу, разбивая доводы противника и помогая родиться новому знанию. Причем методика спора у платоновского Сократа есть методика научной дискуссии, которая никогда не переходит в перебранку, а стремится к поиску взаимопонимания, нахождения общего в целях углубления знания. Истина не дается изначально, а возникает из рационалистического сопоставления противоположных мнений. Истина, по сократикам, рождается в процессе диалогического общения, в котором искусство «родовспоможения» (майевтика) играет главную роль.

Однако в идеальном облике платоновского Сократа мы находим черты, скорее приписываемые ему творцом идеалистического мировоззрения, чем изначально присущие курносому и босоному сыну каменотеса из Алопеки. К примеру, платоновский Сократ, в искусстве беседы всегда исходивший из того, что уже известно собеседнику, не ошарашивая его сразу некоей неизвестной и непонятной истиной, следовал путем наводящих вопросов. В диалогах Платона Сократ применяет другую методику: выяснить границы знания и незнания собеседника, помогая ему вспомнить то, что уже *было* известно его *душе*, ведь познание и есть воспоминание (ἀνάμνησις) вечной души, о том, что она знала еще до рождения данного человека. «Но если, — поясняет Сократ-мудрец платоновского “Федра”, — рождаясь, мы теряем то, чем владели до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние знания, тогда, по-моему, “познать” означает восстанавливать знание, тебе уже принадлежавшее. И, называя это припоминанием, мы бы, пожалуй, употребили правильное слово» (Платон. Федр, 75Е).

Естественно, что в современном мире ни один из специалистов не сможет разграничить собранные в диалогах Платона мысли Сократа от собственно платоновских философских изысканий. Но облик Сократа у Платона эволюционирует от более земного образа площадного мудреца (Апология Сократа, 25С—D, 26С) в сторону боговдохновенного глашатая истины. В диалоге Платона «Пир» подвыпивший Алкивиад сравнивает Сократа с козлоногим сатиром Марсием⁸⁰. Выступления даже хороших ораторов, считает Алкивиад, увлекают ловкостью и покоряют своей внешней красотой, беседы же Сократа даже в плохом пересказе завораживают слушателей, будь то мужчина, женщина или юноша. «Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, — продолжает Алкивиад, — я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа моя не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, что мне казалось — нельзя больше жить, как я живу... Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною не заподозрил, — чувство стыда. Я стыжусь только его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений, а стоит мне покинуть его, соблазняясь почестями, которые оказывает мне большинство... И порою мне даже хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше» (Платон. Пир, 215Е—216С). Эту прочувствованную речь произносит человек, чье имя было притчей во языцех, герой и предатель, одно упоминание которого стало главным доводом обвинителей Сократа в развращении молодежи. Но сколько мистики

⁸⁰ Внешность Сократа резко контрастировала с его внутренними душевными талантами. По сохранившемуся бюсту и описаниям современников можно составить довольно комический портрет Сократа. Он был низкоросл, с большим животом, курнос, толстогуб, над крупными выпученными глазами нависал огромный лоб, осененный значительной лысиной. Поскольку Сократ был беден, он часто не носил обуви и его одежда была одеждой бедняка. За свои уроки Сократ не брал денег, считая платного учителя кем-то вроде продажной женщины, которая, взяв плату, теперь обязана дарить любовь тому. Он не желал раздавать свое время тем, кто платил, а беседовал лишь с теми, у кого видел признаки «душевной беременности».

в нарисованном им образе! Корибанты — иступленные жрецы Кибелы, козлоногий сатир Марсий — совсем близко к орфическим культам и порожденному ими философскому учению пифагорейцев, предшественников Платона на ниве идеалистической философии. Чем позднее рождаются у Платона диалоги, неизменным участником которых продолжает оставаться Сократ, тем менее он Сократ исторический, тем более alter ego самого автора.

В уже упомянутом диалоге «Софист» Платон продолжает сократовскую линию разоблачения моральной беспринципности ремесла софистов, утверждая совсем в духе учителя, что «всякая душа заблуждается (ἀγνοοῦσθαι) во всем не по доброй воле» (228С). Однако в последнем диалоге нет и тени сократовского добродушия, скорее, метод «Софиста» можно определить как сарказм и пародию.

Чужеземец. <...> вот ведь сколько многовидным оказался у нас софист. Мне кажется, прежде всего мы обнаружили, что он — платный охотник за молодыми и богатыми людьми.

Теэтет. Да.

Чужеземец. Во-вторых, что он крупный торговец знаниями, относящийся к душе.

Теэтет. Именно.

Чужеземец. В-третьих, не оказался ли он мелочным торговцем тем же самым товаром?

Теэтет. Да, и в-четвертых, он был у нас торговцем своими собственными знаниями.

Чужеземец. Ты правильно вспомнил. Пятое же попытаюсь припомнить я. Захватив искусство словопрений, он стал борцом в словесных состязаниях. <...>

(Софист, 231D—E)

В основу рассуждения Чужеземца о софистике Платон положил не только метафору презируемого и гонимого им в «Государстве» занятия торговлей, но и принцип дихотомии, утомляющий не столько Теэтета, собеседника в диалоге, сколько современных комментаторов⁸¹. Мучительная платоновская дихотомия, которую с трудом одолевает даже такой талантливый и подающий надежды юноша, как ученик Сократа Теэтет, есть рассчитанная пародия на софистические антитезы и особенно параллелизмы — главный прием ораторов начиная с Горгия. Платон утрирует ту сторону ораторского искусства, которая была чисто субъективным пост-

⁸¹ См. комментарии А.Ф. Лосева к диалогу «Софист» (Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 488 и сл.).

роением не выражающих сути доводов, тем более что невежественному слушателю она казалась высшей степенью возможной премудрости.

Теэтет. Но ведь то, что теперь сказано, походит на нечто подобное.

Чужеземец. Да ведь волк походит на собаку, самое дикое существо — на самое кроткое. Но человеку осмотрительному надо больше всего соблюдать осторожность в отношении подобия, так как это самый скользкий род. Впрочем, пусть будет так: ведь если определения четки даже в отношении мелочей, то никакого спора из-за них не возникает.

Теэтет. Да, вероятно, не возникает.

Чужеземец. Так пусть же частью искусства различать будет искусство очищать, от искусства очищать пусть будет отделена часть, касающаяся души, от этой части — искусство обучать, от искусства обучать — искусство воспитывать, а обличение пустого суетумудрия, представляющее собою часть искусства воспитания, пусть называется теперь в нашем рассуждении **благородною софистикою** (во всех случаях выделено мной. — Е.К.).

(Софист, 231А–В)

«Благородная софистика» — тот вид риторики, которую соби-
рался создать Платон с помощью идей Сократа, а также благода-
ря своим собственным усилиям философа и моралиста. Возмож-
но, такую риторику преподавал в Академии ученик Платона
Аристотель. А пока Платон развенчивает основные завиральные
идеи современной философу софистики, которую он не может
определить иначе, как искусство, «творящее призраки». Софист
есть само творящее призраки лицо, призрачное искусство кото-
рого и называют обычно подражанием (*μίμησις* — 266Е–267А).
Однако софист — это подражатель без знания того, чему подра-
жает, поскольку его подражание основывается не на знании, а на
мнении (*δόξα* — 267В–Е). Он — сознательный лицемер, далекий
от каких-либо государственных и общественных целей, он —
человек, намеренно извращающий мудрость и запутывающий
своего собеседника в искусных противоречиях (268А–С).

В этом же диалоге Платон виртуозно развенчивает один из
основных тезисов софистики⁸², связанных с теорией *δόξα* —
мнения: «Никакой лжи нет, а есть только истина». «Но Платон за-
дает убийственный вопрос: а истина у тебя отличается чем-нибудь
от лжи или ничем не отличается? Если она ничем не отличается
от лжи, то вместо слова *истина* ты можешь поставить слово *ложь*

⁸² Основной тезис риторского скептицизма был сформулирован Горгием в не-
сохранившемся сочинении «О не сущем», в котором доказывалось, что сущего
нет, а если оно и было, то осталось бы непознаваемым.

и ты должен говорить, что все есть ложь. А если, по-твоему, истина чем-нибудь отличается от лжи, то скажи, чем она отличается? Чтобы сохранить осмысленность своей позиции, софисту приходится волей-неволей отличать истину от лжи. Но ведь истина есть утверждение какого-то бытия, а ложь — его отрицание. Так и приходит Платон к своей диалектике бытия и небытия как условию возможности отличать истину и ложь»⁸³.

В диалоге «Софист» Платон причисляет к «искусству обманщиков и шарлатанов» (241В) обладателей «мнимого знания» (233Е) и тех, кто «способен лицемерить всенародно, в длинных речах, произносимых перед толпою», и тех, кто «в частной беседе с помощью коротких высказываний заставляет собеседника противоречить самому себе» (268В — ср. Сократ!) и клеймит их именем софистов. С этих страниц начнется война между философами и риторам, конца которой античный мир не увидит.

Увы! Платоновские диалоги, написанные с такой страстью, мастерством и глубиной мысли, оказали совсем незначительное влияние на современную философу софистику. Вероятно, поэтому в утопическом «Государстве» Платона для искусства красноречия не нашлось места. Во главе платоновского идеального строя должны были стоять философы, которых отличали «правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине» (Государство. VI, 484СD). Целью правления философов являлось благоденствие всего государства, но вовсе не отдельной конкретной личности в этом государстве. Платоновское «благо», постигавшееся с помощью диалектической способности разума (VI, 509D—511E), по сути сводилось к тому, чтобы каждый работник выполнял свое дело и не бунтовал против установленного порядка. Сам философ сформулировал это так: «...закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства» (VII, 519E—520A).

⁸³ См. комментарии А.Ф. Лосева к диалогу «Софист» (Платон. Указ. соч. С. 446).

«Всеобщие», по выражению Гегеля, «люди»⁸⁴ строят государство трудолюбивых муравьев, о котором очень точно высказался Шталь: «Платон... приносит в жертву своему государству человека, его счастье, его свободу и даже его моральное совершенство... это государство существует ради самого себя, ради своего внешнего великолепия...»⁸⁵.

В результате формирования идеи тотального государства в его совокупности, целостности и неделимости возникает необходимость монополии на истину, и Платон достаточно последовательно творит государственную религию и мусические искусства, изгоняя враждебные мифологию, Гомера и трагиков, различные формы публицистики — все, что могло хоть как-то потревожить процесс воспитания искусственных людей, предназначенных обрести счастье лишь в небесной жизни. Платон отказывал тем или иным великим поэтам, историкам и риторам в возможности оказывать влияние на процесс воспитания граждан Государства, не находя в их произведениях морального урока, который могла бы извлечь из чтения молодежь. Свою позицию он излагает так: «И поэты, и те, кто пишет в прозе, большей частью превратно судят о людях; они считают, что несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, а справедливые — несчастны; будто поступать несправедливо целесообразно, лишь бы это оставалось в тайне, и что справедливость — это благо для другого человека, а для ее носителя она — наказание. Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное» (Государство, II, 392А—В).

Платон — страстный моралист и политический мыслитель — был гражданином времени упадка афинской демократии. Как человек аристократического происхождения и воспитания он отрицал социальное устройство, при котором все зависит от решения черни, подпавшей под влияние искусной лести ораторов и софистов. Последние, заботившиеся не об истине, но о влиянии, не о добре, но об удовольствии, вели государство к гибели. Поэтому если для Сократа софисты — плохие учителя и наставники, для Платона они политические противники, на которых он обрушивает всю мощь своего интеллекта и вдохновенного страстью пера. Платону совершенно очевидно, что ораторское

⁸⁴ См.: Гегель Г.В.Ф. Соч. М., 1932. Т. 10. С. 217.

⁸⁵ Stahl F.J. Die Philosophie des Rechts. Bd. I. Geschichte der Rechtsphilosophie. 5 Aufl. Tübingen, 1879. S. 17.

искусство неспособно в течение продолжительного времени управлять государством, и совершенно неправилен тот строй, который отдает власть в руки красноречия. В «Протагоре» и «Горгии» он только открывает военные действия против софистов, в «Федре» и «Теэтете», «Софисте» и «Политике» разворачивает их в полном объеме, в «Государстве» и «Законах» приходит к мысли о запрете на публичное слово, которое изгоняет из идеального государства вместе с поэзией и искусствами.

Платон — политический мыслитель и социальный пророк — сыграл немалую роль в формировании жанра политической утопии («Государство») и антиутопии (Атлантида — «Критий»). Творец политических мифов, он — образец позднейших публицистов и политологов от эпохи Возрождения до XX века.

Как утверждал Цицерон (*De Orat.*, I, 14), Платон первым ввел диалогическую прозу в обиход древнегреческой словесности. По собственному признанию философа, не позорно сочинять речи, но позорно говорить и писать плохо (Федр, 258D). Его диатриба⁸⁶ «Апология Сократа» есть образец страстной и мужественной полемики с современниками и согражданами, приговорившими Сократа к смерти. Его диалоги — пример «сократовского диалога», сочетавшего в себе жанр философской беседы с высокохудожественным оформлением: драматическое развитие действия и увлекательность мысли, живые образы собеседников, метафоры на уровне мифа и на уровне образа и проч. Без «сократовского диалога», каким он явился нам благодаря ученикам афинского мыслителя, невозможно представить себе возникновение жанров мениппеи и диатрибы, которые распространились в поздние века Античности и легли в основу христианского искусства проповеди и памфлета.

Не будем забывать, что Платон был наиболее прославленным учителем греческого мира. В роше бога Академа он создал самую знаменитую школу — Академию, которая просуществовала около девяти веков. Свое призвание он видел в живом воздействии путем устного преподавания и письменную речь хотел сделать лишь

⁸⁵ **Диатриба** — в античной литературе жанровая форма философско-моралистического «увещевания» или «обличения», имитирующего живые интонации устной беседы. Как отмечает С.С. Аверинцев в книге «Поэтика ранневизантийской литературы», «техника диатрибы предполагала имитацию диалога, когда говорящий “передразнивал” своего воображаемого оппонента, а затем отвечал на его вопросы и возражения» (с. 303). О теоретических аспектах проблемы см.: Бахтин М.М. Из предыстории романного слова // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 408—446.

художественным отзвуком устной. Об этом Платон особенно ясно говорит в «Федре».

Неприятие нравственного релятивизма он передал и знаменитому ученику Аристотелю. Именно Аристотель создал нормативную «Риторику», в основании которой впервые был заложен философский принцип интеллектуального поиска истины, поэтому «Риторика» Аристотеля сохраняет не только историческую, но и научную ценность до наших дней.

По большей части приятно также учиться и изумляться, потому что в изумлении уже заключается желание [познания], так что предмет восхищения вскоре делается предметом желания, а познавать значит следовать закону природы.

Аристотель. Риторика, II, 12, 1371a, 32—34

РИТОРИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ (384—322 до н.э.)

Современник Демосфена Аристотель Стагирит подвел итог развитию классического греческого красноречия в трактате «Об искусстве риторики», или «Риторика», написанном около 330 г. до н.э. В отличие от предшествующих софистических руководств, к примеру *техне* Корака и Тисия, построенных по принципу хрестоматий, где лучшие образцы риторического искусства предназначались для заучивания неофитами, Аристотель создал стройное теоретическое учение о принципах достижения прекрасного в области словесного творчества. «Предшественники Аристотеля, от Пиндара до Платона, выявляли изобразительные средства и приемы, которыми пользуется писатель, устанавливали общие принципы, которыми он должен руководствоваться, и создавали учение о правильности или норме словесного искусства. Однако там, где надо было показать, как именно должно выглядеть художественное произведение, они решали вопрос эмпирически, т.е. сочиняли что-либо и говорили читателю: “Надо писать вот так”. С подобной инструктивной целью составлен, например, “Бусирис” Исократа. Аристотель поднялся на голову выше своих предшественников; он не только учел и обобщил сделанные ими наблюдения, но и предложил формулу сущности поэтического жанра и свод требований, которым должны удовлетворять разные аспекты поэтического произведения»⁸⁷. Оба трактата Аристотеля, «Поэтика» и «Риторика», составляли целостное учение об идеальной норме

⁸⁷ Миллер Т.А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля. С. 48.

словесного выражения (только в «Поэтике» Аристотель больше внимания уделял поэтическим, «художественным» жанрам — эпосу и трагедии, а в «Риторике» обратился непосредственно к теории аттической прозы — опыту ораторского искусства, накопленного в течение полутора столетий практикой греческой риторики).

В противовес своему учителю Платону, который возмущался ловкостью ораторов, умевших убеждать в чем угодно без подлинного знания сути, Аристотель настаивал на естественной убедительности истины, а в ораторском искусстве видел способ сделать эту истину наиболее очевидной большинству людей: «...люди от природы в достаточной мере способны к нахождению истины и по большей части находят ее... Риторика полезна, потому что истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей, а если решения постановляются не должным образом, то истина и справедливость необходимо побеждаются своими противоположностями, что достойно порицания» (Rhetor., I, 1, 1355a, 15—23). В послеплатоновское время «ложность» досократовской риторики — общее место, и Аристотель лишь мельком упомянет о «коварстве софистики» (I, 1, 1354b, 28). Софистика для Аристотеля — пройденный, хотя и еще очень значимый этап в истории «всего, что касается мыслительной способности» (II, 26, 1403a). Она была основой, на которой пышным цветом расцвело красноречие родоначальников греческой прозы; их опыт анализирует ученый, чтобы описать способы создания прекрасного, дарующего наивысшее духовное наслаждение.

Корни этого наслаждения лежат, по Аристотелю, не в чувственном удовольствии, получаемом от словесной игры оратора (как это было у Горгия), а в удовлетворении познавательных и интеллектуальных потребностей человека: «Говоримое должно быть рассчитано на слушателя и сказано правильно, то есть верно и притом неожиданно» (III, 1412b). Причем у наследника сократовских идей уже не возникает сомнения в существовании объективной истины, которая лежит в рационалистическом осмыслении объективно же существующего мира. Рационализм Аристотеля опирается на его формальную логику и порождает как особую классификацию материала, примененную автором в «Риторике», так и логически стройное объяснение способов воздействия известных риторических приемов. Вчитываясь в «Риторику», мы с увлечением наблюдаем, как работает живая мысль исследователя, как приходит «самый универсальный ум Античности» к общим и частным рекомендациям изучающему словесное искусство.

В «Риторике» автор сближает красноречие с диалектикой, начиная свое сочинение утверждением: «Риторика — искусство, соответствующее (ἀντίστροφος) диалектике, так как обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого все люди некоторым образом причастны к обоим искусствам, так как всем в известной мере приходится как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и обвинять. В этих случаях одни поступают случайно, другие действуют согласно со своими способностями, развитыми привычкою. Так как возможны оба эти пути, то, очевидно, *можно возвести их в систему*, поскольку мы можем рассматривать, вследствие чего достигают цели как те люди, которые руководствуются привычкой, так и те, которые действуют случайно, а что подобное исследование есть дело искусства, с этим, вероятно, согласится каждый» (I, 1, 1354a, 1—13. Курсив мой. — Е.К.)⁸⁸.

Опираясь на собственную разработку учения о силлогизме, Аристотель оценил риторику глазами логика и признал в ней самым главным учение о доказательстве (πίστεις), т.е. о способах убеждения (I, 1). Собственную задачу он увидел в том, чтобы сообщить оратору сведения, необходимые для составления убедительных умозаключений. Прежде всего Аристотель уточняет определение Горгия, подчеркивая, что дело риторики — «не убеждать, но в каждом отдельном случае находить способы убеждения» (I, 1, 1355b, 10). Одним из главных составляющих убедительности ораторской речи являются **энтимемы** (ἐνθύμημα) — риторические силлогизмы⁸⁹, «вероятные» и не имеющие характера принудительности. Античный исследователь подробно развивает свою мысль, связывая учение об энтимемах с диалектикой, с одной стороны, и критерием истинности — с другой: «...способ убеждения есть некоторого рода доказательство (ибо мы тогда всего более в чем-нибудь убеждаемся, когда нам представляется, что что-либо доказано), риторическое же доказательство есть

⁸⁸ Здесь и далее I и II книги «Риторики» Аристотеля цитируются в пер. Н. Платоновой по: Античные риторики. М., 1978; III кн. — в пер. С.С. Аверинцева по: Аристотель и античная литература. М., 1978.

⁸⁹ «Если же из наличия какого-нибудь факта заключают, что всегда или по большей части следствием этого факта бывает наличие другого, отличного от него факта, то такое заключение называется там силлогизмом, здесь же энтимемой» (I, 1, 1356b, 14—17).

энтимема, и это, вообще говоря, есть самый важный из способов убеждения, и так как очевидно, что энтимема есть некоторого рода силлогизм и что рассмотрение всякого рода силлогизмов относится к области диалектики — или в полном ее объеме, или в какой-нибудь ее части, — то ясно, что тот, кто обладает наибольшей способностью понимать из чего и как составляется силлогизм, тот может быть и наиболее способным к энтимемам, если он к знанию силлогизмов присоединит знание того, чего касаются энтимемы, и того, чем они отличаются от чисто логических силлогизмов, потому что с помощью одной и той же способности мы познаем истину и подобие истины» (I, 1, 1355a, 5—15).

Вопрос об истинности идей, внедряемых ораторами в умы слушателей, обсуждается Аристотелем с разных сторон и имеет в своей основе представление о познаваемости мира. Приближение к истине есть цель выступлений ораторов в Народном собрании или в суде присяжных. «Более ценности имеет то, что во многих отношениях оказывается более полезным, например, помогает нам жить, быть счастливыми, пользоваться удовольствиями и делать добро...» — считает достойный восприимчивик идей Сократа. Поэтому «то, что относится к области истины, лучше того, что делается для славы...» (I, 7, 1365b).

Другим способом убеждения, по Аристотелю, является использование примеров, о котором он говорит так: «Когда на основании многих подобных случаев выводится заключение относительно наличия какого-нибудь факта, то такое заключение <...> называется наведением, примером» (I, 1, 1356b, 12—14).

«Речи, наполненные примерами, не менее убедительны, но более впечатления производят речи, богатые энтимемами», — говорит Аристотель, чем еще раз подтверждает интеллектуальный характер проповедуемого им учения. Во второй главе первой книги автор признает, что иногда «[доказательство достигается] с помощью нравственного характера [говорящего] в том случае, когда речь произносится так, что внушает доверие к человеку, ее произносящему, потому что мы более и скорее верим людям хорошим...». Будто полемизируя с оппонентом, Аристотель расширяет границы собственного утверждения показательным дополнением: доверие «должно быть не следствием ранее сложившегося убеждения, что говорящий обладает известными нравственными качествами, но следствием самой речи...» (I, 2, 1356a, 5—10). С позиций аналитика конкретного материала Аристотель опровергает распространенные догмы софистики и исходит от унаследованной

от Платона антитезы «истина—мнение». Сказать, что риторика имеет в виду формирование мнения — это все равно, что заявить о ее полном безразличии к научной истине, отыскиваемой путем логического доказательства. В общей оценке места риторики в жизни и политике Аристотель — прямой наследник сократовско-платоновского неприятия софистического релятивизма и связанной с этим философским постулатом бессовестной эксплуатации силы слова. «...Подобно тому, как там <на сцене> актеры значат больше, чем поэты, так же <обстоит дело> и на политических состязаниях по причине порочного устройства государств (1403b, 4) <...> вследствие развращенности слушателя (1404a, 5—6)», — с горечью отмечает он. Если бы все люди были философами в аристотелевском вкусе и полагались бы только на разум, не поддаваясь обманчивому воздействию эмоций, не доверяли бы своим настроениям, не искали бы чувственного удовольствия во внешнем блеске ораторской речи, то риторика была бы вовсе не нужна. Но поскольку это не так, Аристотель рассматривает риторику как неизбежное зло и пытается подчинить его принципам разумного (III, I, 5).

Рекомендации, предложенные Аристотелем, трактовали: а) предмет, о котором оратору приходится говорить; б) позу, которую оратор должен принять; в) эмоции, пробуждаемые в слушателе; г) стиль произносимой речи. Этому посвящены три книги «Риторики». Первая рассматривает предмет в системе других наук, в ней обозреваются три вида речей: **совещательные**, или политические, **эпидейктические**, или торжественные, и **судебные** (самые распространенные, но одалживающие свои приемы у первых двух). «Дело речей совещательных — склонять или отклонять, потому что как люди, которым приходится совещаться в частной жизни, так и ораторы, произносящие речи публично, делают одно из двух [или склоняют, или отклоняют]. Что же касается судебных речей, то дело их — обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно одно что-нибудь из двух [или обвиняют, или оправдываются]. Дело эпидейктической речи — хвалить или порицать» (I, 3, 1358b, 8—12). У каждого рода речей есть своя цель: «польза и вред (один дает совет, побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего)» в речах политических, «прекрасное и постыдное» в торжественном красноречии и «справедливое и несправедливое» в судебном (I, 3, 1358b, 21—23).

Зоркий глаз исследователя подмечает те особенности риторической практики современников, которые никогда прежде не были предметом техне: «Что касается времени, которое имеет в виду

каждый из указанных родов речи, то человек, совещаясь, имеет в виду будущее: отклоняя от чего-нибудь или склоняя к чему-нибудь, он дает советы относительно будущего. Человек тяжущийся имеет дело с прошедшим временем, потому что всегда по поводу событий, уже совершившихся, один обвиняет, а другой защищается. Для эпидейктического оратора наиболее важным представляется настоящее время, потому что всякий произносит похвалу или хулу по поводу чего-нибудь существующего; впрочем, ораторы часто сверх того пользуются и другими временами, вспоминая прошедшее или строя предположения относительно будущего» (I, 3, 1358b, 12—20).

Риторика, говорит Аристотель, «имеет дело с вопросами, о которых обычно советуются» (I, 1, 1356b, 36—37). Совещательные ораторы древности, подобно политическим обозревателям современности, касались вполне определенного круга проблем, которые Аристотель сводит к пяти пунктам: финансы, война и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов и законодательство (I, 4). Помимо достоверного знания о формах государственного устройства и их целях⁹⁰, древний мыслитель советует политическим ораторам читать описания земли, потому что из них можно познакомиться с законами [других] народов», и «творения историков», в которых содержится масса примеров для подтверждения собственных идей или развенчания позиций противника (I, 4, 1360a, 35—36). «Цель, которую преследует совещательный оратор, есть польза, потому что совещаются не только о конечной цели, но и о средствах, ведущих к цели, а такими средствами бывает то, что полезно при данном положении дел, полезное же есть благо...» (I, 6, 1362a, 18—20). Таким образом, в риторическом учении Аристотеля **нравственность**, которая, по Сократу, и есть высшее благо, является важнейшей категорией.

Определяя риторику как вспомогательную дисциплину, тесно связанную с политикой, Аристотель установил общие законы красноречия независимо от содержания речи. Правда, в отличие от Исократа, он понимал под общими принципами не свою политическую линию, а общепринятый взгляд на вещи. И все же аристотелевский анализ напрямую связан с практикой исократовской

⁹⁰ «Самое же главное и наиболее подходящее средство для того, чтобы быть в состоянии убеждать и давать хорошие советы, заключается в понимании всех форм правления, обычаев и законов каждой из них, а также в определении того, что для каждой из них полезно, потому что все руководствуются полезным, полезно же то, что поддерживает государственное устройство» (I, 8, 1365b, 20—26).

школы, которая призывала использовать словесное мастерство для укрепления нравственных ценностей общества. Не случайно в «Риторике» философ столь много места уделял определению понятия счастья, блага и различных добродетелей (Rhetor., I, 5—7, 9), а также утверждению, что «все ораторы, как произносящие хвалу или хулу, так и уговаривающие или отговаривающие, а также и обвиняющие или оправдывающие, не только стремятся доказать что-нибудь, но и стараются показать величие и ничтожность добра или зла, прекрасного или постыдного, справедливого или несправедливого» (I, 3, 1359a, 17—22).

Аристотелевская теория эпидейктического красноречия является теоретическим обобщением практики Исократа, из сочинений которого ученый подбирает многочисленные иллюстрации для подтверждения собственных обобщений. «Похвала есть способ изъяснить величие добродетели какого-нибудь человека; следовательно, нужно показать, что деяния этого человека носят характер добродетели. Энкомий же относится к самим делам (другие же обстоятельства внешнего характера, например, благородство происхождения и воспитание, служат поводом, так как естественно, что от хороших предков происходят хорошие потомки и что человек, воспитанный именно так, будет именно таким). Потому-то мы и прославляем в энкомиях людей, совершивших что-нибудь, деяния же служат признаком известного нравственного характера; ведь мы могли бы хвалить и человека, который не совершил таких деяний, если бы были уверены, что он способен их совершить... Похвала и совет сходны по своему виду, потому что то, что при подавании совета может служить поучением, то самое делается похвалой... так что, когда ты хочешь хвалить, посмотри, что бы ты мог посоветовать... Если ты не находишь, что сказать о человеке самом по себе, сравни его с другими, как это делал Исократ... Следует сравнивать с людьми знаменитыми, потому что если он окажется лучше людей, достойных уважения, его достоинства от этого выиграют. Преувеличение по справедливости употребляется при похвалах, потому что похвала имеет дело с понятиями превосходства, а превосходство принадлежит к числу вещей прекрасных...» (I, 9, 1367b, 27—1368a, 23).

Не меньше внимания уделяет Аристотель рассмотрению принципов построения судебных речей, но более его занимают сократовские понятия справедливого и несправедливого, законного и незаконного, понятие правды и неписанные законы (I, 13). И вновь основной предпосылкой размышлений ученого становится признание объективно существующей и познаваемой ре-

альности, которая и есть основной критерий истины и блага: «Общим законом я называю закон естественный. Есть нечто справедливое и несправедливое по природе, общее для всех, признаваемое таковым всеми народами, если даже между ними нет никакой связи и никакого соглашения относительно этого» (I, 13, 1373b, 6—9). Как прием убеждения в судебных речах Аристотель особо выделяет роль свидетелей, причем разделяет последних на древних и новых. Под «новыми» античный исследователь понимает обыкновенных судебных свидетелей, которые выступают в суде и поныне, а вот под «древними» разумеет «приговоры поэтов и других славных мужей, приговоры которых пользуются всеобщей известностью» (I, 15, 1375b, 27—28). Поэтическое слово, таким образом, становится аргументом в судебном разбирательстве наряду с пословицами, которые тоже «служат свидетельствами» (I, 15, 1376a, 4). Как выясняется из дальнейшего, весь материал подобного рода употребляется при создании амплификации — особого, чисто софистического способа убеждения, когда не существует фактов, достойных энтимемы, и накопление осуществляется за счет расширения объема сказанного с помощью цитирования различных предшественников. Блистательная аристотелевская аналитика все еще не может оторваться от корней развенчанной Платоном и во многом отринутой самим Аристотелем софистики: автор «Риторики» все так же ссылается на софистскую теорию правдоподобия (I, 12), а многие свои определения дополняет антитезами («это понятие станет ясным из положений, противоположных высказанным», — I, 11, 1372a, 39). Софистическая методика выстраивания мысли надолго останется господствовать в античной прозе, научной, художественной или публицистической.

И все же Аристотель предлагает ораторам по сравнению с предшественниками много нового и в области техники риторики: «Вообще из приемов, одинаково принадлежащих всем [трем], *преувеличение* всего более подходит к речам эпидейктическим, потому что здесь оратор имеет дело с деяниями, признанными за неоспоримый факт; ему осталось только облечь их величием и красотой. Что же касается *примеров*, то они наиболее подходят к речам совещательным, потому что мы произносим суждения о будущем, делая предположения на основании прошедшего. *Энтимемы*, напротив, [наиболее пригодны] для речей судебных, потому что прошедшее, вследствие своей неясности, особенно требует указания причины и доказательства» (I, 9, 1368a, 26—33). Судебное красноречие, а вслед за ним и политическое требуют

от оратора умения вести полемику, уверенно опровергать доводы противника, а для этого не существует лучшего средства, чем энтимема. «Есть два вида энтимем: одни показательные, [показывающие], что что-нибудь существует или не существует, другие — обличительные. Они различаются между собой так же, как в диалектике доказательство (ἐλεγχος) и силлогизм. Показательная энтимема есть силлогизм, построенный на основании посылок, признаваемых [противником], а энтимема изобличительная есть силлогизм с посылками, не признаваемыми [противником]» (II, 22, 1396b, 23—28). И далее уточняет, что «изобличительная энтимема есть свод вкратце противоположных мнений, которые, находясь рядом, становятся яснее для слушателя» (II, 23, 1400b, 27—29). Пример такой энтимемы из защиты Сократа приведен Аристотелем в третьей книге «Риторики» (1418b, 2).

В случае отсутствия возможности выстроить настоящий силлогизм оратор может прибегнуть к *топам*⁹¹ — «особым посылкам относительно каждого вопроса» (1386b, 31), практически к общим местам, используемым софистикой вместо логического доказательства. Примеры подобной словесной эквилибристики собраны в 23 и 24-й частях второй книги и поражают воображение внешней убедительностью словесного построения, лишенного логики.

Что же касается примеров как способа не менее убедительного, чем энтимемы — *наведения*, то они бывают двух родов: «Один вид примера заключается в том, что приводятся факты прежде случившиеся, другой — в том, что [оратор] сам сочиняет таковые; в последнем случае может быть, во-первых, притча, во-вторых, басня, каковы, например, басни Эзопа и басни ливийские...» (II, 20, 1393a, 28—33), а также пословицы и изречения знаменитых поэтов. Объясняя способы использования изречений в ораторской практике и полемике (II, 21), Аристотель затрагивает сферу психологии восприятия и указывает на те аспекты красноречия, которые лучше всего воспринимаются слушателями: «Изречение, как мы сказали, есть утверждение с общим значением, а слушатели радуются, когда оратор придает общее значение тому, что они раньше признали своим мнением по отношению к частным случаям...» (II, 21, 1395b, 5—7).

Литература прошлого служила Аристотелю источником самых различных обобщений, в частности при рассмотрении композиции речей, т.е. при анализе их составляющих (III, 13—19). Например, он говорит о предисловии как о необходимой части любой речи:

⁹¹ Τόποι — *греч.* топос, общее место.

«Итак, предисловие (πρόῳμιον) есть начало речи, то же, что в поэтическом произведении есть пролог, а в игре на флейте — прелюдия. Все эти части — начало; они как бы прокладывают путь для последующего... Примером этого может служить предисловие к “Елене” Исократа, потому что нет ничего общего между Еленой и эристическими рассуждениями. Вместе с тем если предисловие отступает [от общего содержания речи], то получается та выгода, что не вся речь имеет одинаковый вид. Предисловия речей эпидейктических слагаются из похвалы и хулы, например у Горгия в Олимпийской речи: “О мужи эллины, заслуживающие уважения со стороны многих”, ибо он восхваляет тех, кто установил общественные собрания. Исократ же порицает их за то, что они, почитая дарами физические добродетели, не установили никакой награды для людей добродетельных... Итак, вот из чего [слагаются] предисловия к речам эпидейктическим: из похвалы, из хулы, из убеждения, из разубеждения, из обращений к слушателям. Эта “прелюдия” должна быть или связана с содержанием речи, или быть ему чуждой. Относительно предисловий к речам судебным следует установить, что они имеют такое же значение, как прологи к драматическим произведениям и предисловия к произведениям эпическим» (III, 14, 1414a; 19, 1415a, 10).

«Все [искусство вступления], — заключает он ниже, — если угодно, сводится к тому, чтобы предрасположить к усвоению мыслей и выставить себя заслуживающим доверия: ведь такого лучше слушают. [Люди] бывают внимательны к предметам великим или затрагивающим их, или удивительным, или приятным; поэтому нужно внушить, что речь идет о чем-то в этом роде» (III, 14, 141b, 7).

Ученик Платона Аристотель, следуя сократовской мысли о цельности и органичности речи (*Платон. Федр*, 264c), большое внимание уделяет принципам соразмерности частей, обусловленным логикой композиции. Основным вопросом, по которому Аристотель расходился с Платоном, был вопрос об отношении словесного искусства к знанию. Платон полагал, что источник искусства иррационален, и отдалял искусство от практического познания мира⁹². Аристотель вопреки ему выступил с утвержде-

⁹² «Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря техне, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так же и хорошие мелические поэты: подобно тому, как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят свои прекрасные песнопения; ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми...» (*Платон. Ион*, 533d—534a; а также: *Федр*, 245a).

нием, что словесное искусство по самой своей природе связано с познанием⁹³.

Итак, средства убеждения, по Аристотелю, разделяются на три вида: а) логические (λογικοί πιστεῖς), т.е. посредством довода; б) нравственные (ἠθικοί), когда говорящий убеждает слушателя в том, что он заслуживает доверия; в) эмоциональные (παθητικοί), когда патетикой своей речи говорящий воздействует на слушателя. Последние Аристотель рассматривает во второй книге «Риторики», где даются методы нахождения этих средств убеждения (εὑρεσις)⁹⁴. Ученик Платона толкует о страстях, нравах и общих способах доказательства. Так учил платоновский Сократ: «Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа... <...> ...Он должен учесть время, когда ему удобнее говорить, а когда и воздержаться: все изученные им виды речей — сжатую речь или жалостливую, или же зажигательную — ему следует применять вовремя и кстати» (Платон. Федр, 271с—е).

Аристотель сосредоточивает внимание на самых общих аффектах человеческой природы, носителем которых становится собрание граждан, принимающих ответственные решения. Он объясняет происхождение гнева и милосердия, ненависти и страха, стыда и сострадания, негодования и зависти, а затем указывает, каким образом оратор может пробудить подобные чувства в своих слушателях. Например, «мы испытываем сострадание к людям, когда с ними случается все то, чего мы боимся для самих себя» (Rhetor., II, 8, 1386a, 28—29), или: «[...чтобы испытать страх], человек должен иметь некоторую надежду на спасение того, за что он тревожится; доказательством тому служит то, что страх заставляет людей размышлять, между тем как о безнадежном никто не размышляет. Поэтому в такое именно состояние [оратор] должен приводить своих слушателей, когда для него выгодно, чтобы они испытывали страх...» (II, 5, 1383a, 6—8). И далее следует классификация нравов, свойств и возрастов слушателей, на которых собирается действовать оратор, пробуждая в их душах те или иные аффекты.

Художественное совершенство речи и ее содержательная наполненность уже у Аристотеля представляют собой неразрывное единство: «Тот стиль и те энтимемы бывают изящны (ἀστεῖα),

⁹³ См.: Миллер Т.А. К истории литературной критики классической Греции V—IV вв. до н.э. // Древнегреческая литературная критика. С. 115.

⁹⁴ История греческой литературы. Т. 2. С. 209.

которые быстро сообщают нам знание» (III, 10, 1410b, 4). Примером таких энтимем могут служить прежде всего *метафоры*, которые в кратчайшее время и при минимальных затратах усилий со стороны слушателя (или читателя) сообщают нам максимум новых мыслей и представлений. «...Учиться легко — по природе приятно всякому, — поясняет Аристотель, — а слова нечто означают, так что среди слов приятнее всего те, которые дают нам чему-то научиться. Но редкие слова невразумительны, а общеупотребительные мы [и так] знаем, а потому метафора в наибольшей степени достигает желаемого» (III, 10, 1410b, 2). Из всех поэтических приемов, перенятых риторикой, Аристотель более всего благоволит к метафоре, требующей гибкости ума оратора и слушателя, «ибо метафоры заключают в себе загадку»⁹⁵. Из четырех выделенных им видов метафор особой похвалы удостоиваются метафоры, основанные на соответствии (*κατ' ἀναλογίαν*). Примером такой метафоры Аристотель избирает известную строку Гомера:

Я лишь солома теперь, по соломе, однако, и прежний
Колос легко распознаешь ты...

(Од., XIV, 214—215. Пер. В.А. Жуковского)

и комментирует: «Назвавший старость соломой учит нас, помогая узнать их *родовой признак* (*διὰ τοῦ γένους*), потому что обе они — вещи отцветшие» (III, 10, 1—2, 1411a. Курсив мой. — Е.К.).

Источник наслаждения Аристотель видел в приобретении знания через посредство риторики. Лучшее «обучение» Аристотель понимал не как дидактику или нравоучение, а как стимулирование работы ума. Поэтому силлогическая структура может служить у Аристотеля источником «приятности». Он высоко ценил связанные с метафорическим мышлением *сравнение*⁹⁶ и *остроту*⁹⁷ за то, что они требовали напряжения мысли. Остроумная фраза, по мнению Аристотеля, дает мгновенное и неожиданное озарение — максимум нового знания при минимуме затраченного времени.

В меньшей степени исследователь хвалит *иронию* и *гиперболу*, которые применимы в ограниченном количестве конкретных

⁹⁵ «Из хорошо составленных загадок можно брать отменные метафоры...» (III, ii, 13, 1405b).

⁹⁶ «И сравнение (*εἰκὼν*) — [своего рода] метафора... Сравнение полезно и в прозе, но изредка; ибо оно поэтично» (III, iv, 2 1406b).

⁹⁷ «Остроумие (*τὰ ἀστεῖα*) по большей части также достигается через метафору и благодаря обману» (1412a, 6).

случаев. Он советует, как добиться особой торжественности стиля, оценивает стилевые достоинства устной и письменной речи, отделяет приемы (например, бессоюзия, многократные повторы, интонацию), рассчитанные на актерское произнесение, от приемов письменной речи (τῶν γραφικῶν), которую считает употребимой только в эпидейктическом красноречии (1413b).

Особое внимание исследователь уделяет *ритму* ораторской прозы, который, по его словам, «не должен быть ни метрическим, ни лишенным ритма. Первое неубедительно, ибо представляется искусственным и притом отвлекает. <...> С другой стороны, то, что лишено ритма, лишено предела, а предел нужно внести хотя и не при посредстве метра, ибо все, лишенное предела, неприятно и невразумительно» (III, 8, 1408b, 2). И далее он излагает свое знаменитое учение о периоде, определение которого нам уже приходилось цитировать в главе о Горгии.

Период для Аристотеля — одно из средств, делающих речь ясной. Автор «Риторики» членил синтаксический период на колонны⁹⁸ и попутно ссылался на неудачные периоды у Софокла и Меланиппида (III, 9, 1409b). Само понятие «период» Аристотель сначала вводил через указания на тот тип слога, единицей которого период являлся, и лишь потом давал характеристику его свойств: «...слог может быть либо нанизывающим и непрерывным благодаря союзам, каковы зачины дифирамбов, или сплетенным и подобным [строфам и] антистрофам старых поэтов. Нанизывающий слог — старинный <...>. Я называю его “нанизывающим”, потому что он сам в себе не имеет никакого конца, пока не окончится излагаемый предмет. Он неприятен из-за отсутствия предела, ведь всем хочется видеть конец. <...> Таков слог нанизывающий, а слог сплетенный состоит из периодов.

⁹⁸ По свидетельству древних, периодичность речи была эмпирически найдена Горгием, антитезы которого, посвященные обсуждению какого-либо явления, составляли вполне закругленный, логически заверченный отрывок. Противоположные по смыслу части антитез произносились на одном дыхании, и интонация становилась способом выявления логического членения. Аристотелевское учение теоретически описывает периодичность речи: «Период либо из колонов, либо прост (ἀθέλητος). Тот, который состоит из колонов, являет собой речение заверщенное, расчлененное и произносимое на одном дыхании, не быв рассечено как приведенный период, но целиком. Колон — один из двух его членов. Простым же я называю [период, состоящий] из одного колона. Ни колонам, ни периодам не следует быть ни куцыми, ни протяженными. Ведь кратость часто заставляет слушателя спотыкаться: в самом деле, когда тот еще устремляется вперед, в той мере, предел которой в нем самом, но бывает насильственно остановлен, он неизбежно спотыкается о препятствие. Длинноты же вынуждают его отставать...» (III, 9, 1409b, 5—6).

Периодом я называю отрывок, имеющий в себе самом свое начало и конец и хорошо обозримую протяженность. <...> Нужно также, чтобы мысль завершалась вместе с периодом, а не разрубалась» (III, 7, 1409a—b, 2—3).

Именно в третьей книге сосредоточены многие размышления Аристотеля о приемах, усиливающих экспрессивность речи. Проводя здесь, как и в «Поэтике», линию интеллектуальной эстетики, Аристотель признавал достоинством речи ее ясность (σαφές)⁹⁹ и уместность (πρέπον), а реальный путь для достижения этих качеств видел в сближении ораторской прозы с разговорной речью. Эти советы оратору в его работе над стилем Аристотель изложил в виде исторического экскурса: «Поскольку поэты, трактуя обыденные предметы, как казалось, приобретали славу своим стилем, то сначала создался поэтический стиль, как, например, у Горгия. И теперь еще многие необразованные люди полагают, что именно такие люди выражаются всего изящнее. На самом же деле это не так, и стиль в ораторской речи и в поэзии совершенно различен, как это доказывают факты: ведь даже авторы трагедий уже не пользуются теми же оборотами, но подобно тому, как они перешли от тетраметра к ямбу на том основании, что последний более всех остальных метров подобен разговорному языку, точно так же они отбросили все выражения, которые не подходят к разговорному языку, но которыми они первоначально украшали свои произведения и которыми еще и теперь пользуются поэты, пишущие гекзаметрами. Поэтому смешно подражать людям, которые уже и сами не пользуются этими оборотами» (III, 1, 1404a).

Вслед за Исократом Аристотель настаивал на разграничении способов словесного выражения в публицистике и в художественной прозе; ораторам он советовал употреблять слова, всем известные (κύριον), сохраняя их подлинный смысл (οἰκεῖον), что до метафор и сравнений, он видел в них поэтические обороты, очень избирательно применяемые в ораторской практике (III, 2, 4). Так рождалась аристотелевская формула хорошего стиля, который отличала правильность в употреблении грамматических форм и утилитарно-логическое требование ясности. Для автора «Риторики» оказались неприемлемыми многие стилистические опыты софистов V в. до н.э.: собрав примеры из их сочинений, он характеризовал общий смысл их стиля как «холодность»,

⁹⁹ «...Достоинство слога — быть ясным; доказательство тому — если речь не доводит до ясности, она не делает своего дела» (III, ii, 1, 1404b).

т.е. неестественное, надуманное, тяжеловесное велеречие, противопоставив его той «ясности», которая делает прозу убедительной.

«Холодность (τὰ ψυχρά) стиля, — указывал Аристотель, — происходит от четырех причин. Во-первых, от употребления сложных слов: например, Ликофрон говорит о “многоликом небе высоковершинной земли” и об “узкорожденном берегу”. Или как Горгий выражался: “искусный в выпрашивании милости льстец”... Или как Алкидамант говорил... о “лице, делающемся огнецветным”... Все эти выражения поэтичны, потому что составлены из двух слов. В этом заключается одна причина холодности, другая состоит в употреблении глосс. Так Ликофрон говорит о Ксерксе: “муж-чудовище”... Алкидамант — об “игрушках поэзии”... Третья причина в длинных, несвоевременных и частых *эпитетах*: в поэзии, например, уместно (πρέπει) назвать молоко белым, в прозе же иногда они совсем неуместны, а иногда, если их много, они выдают и обнаруживают искусственность, когда нужно к ней прибегнуть. Ведь они возвышают привычную речь и заставляют ее выделяться... Вот почему сочинения Алкидаманта кажутся холодными: он пользуется эпитетами не как приправой, а как едой, настолько они у него часты, преувеличены, бросаются в глаза, например, не пот, а “влажный пот”... не под ветвями, а “под ветвями леса”... Те, кто неуместно вводят в речь поэтические обороты, делают стиль смешным, холодным и неясным из-за многословия... Четвертая причина холодности стиля заключается в метафорах. Ведь и метафоры бывают неуместны: одни из-за того, что они смешны, ведь и писатели комедий пользуются метафорами, другие — из-за своей торжественности и трагизма: они бывают и неясны, если заимствованы от далеких предметов. Так, например, Горгий говорит что “дела зелены и в соку”... Алкидамант называет философию “крепостью закона”, а “Одиссею” — “прекрасным зеркалом жизни человеческой”... Все подобные выражения неубедительны» (III, 3—4).

Аристотель разъяснял оратору, какое именно сочетание слов делает речь ясной или «холодной», сжатой или пространной и в чем должна состоять «уместность», сосредоточив анализ вокруг выразительной силы слова. Ориентируясь как на норму на интеллектуальное наслаждение и тонко чувствуя богатство выразительных оттенков в слове, Аристотель привлекал примеры из поэзии и прозы, чтобы показать, чему оратор должен следовать, а чего избегать. Эстетический эффект речи, ее приятность Аристотель

называл словами ἀστεῖος (букв. «столичный» в противоположность «деревенскому») и εὐδοκίμοῦν («славный» — III, 10). При подборе цитат выявилась главная тенденция рассуждений Аристотеля: критика мировоззренческих основ софистики V в. до н.э., уважение к опыту ораторов IV в. до н.э. и отношение к поэзии как к источнику примеров хорошего и плохого стилей. Любопытно, что среди множества примеров из ораторской прозы греков воспитатель Александра Македонского ни разу не цитировал знаменитого противника македонцев Демосфена¹⁰⁰.

Требуя, чтобы мысль не была двусмысленной, если «добровольно не выбрано противоположное» (1407а, 4), Аристотель в виде отрицательного примера цитировал Гераклита: «Вообще же написанное должно быть легко для прочтения и для произнесения, что одно и то же. Этого нет ни при обилии вводных предложений, ни там, где нелегко расставить знаки препинания, как у Гераклита. Ведь у Гераклита расставить знаки препинания — великий труд, потому что не ясно, что к чему относится, к последующему или к предыдущему, как, например, в начале его сочинения; ведь он говорит: “к логосу сущему вечно непонятливы люди”, и не ясно, к чему отнести при расстановке знаков препинания слово “вечно”» (III, 2, 6, 1407b).

Теория словесного искусства Аристотеля на века определила многие правила в создании публицистических текстов. Как отмечает Т.А. Миллер, «в отличие от предшествующих риториков, Аристотель в своих руководствах не ограничивался простым перечислением выразительных приемов, а предлагал общие принципы построения художественного произведения. Продолжая начатое риториками сближение поэзии и риторики, Аристотель анализировал поэтическое искусство при помощи параметров, которые уже до него применялись в ораторской речи (“правдоподобие”, “надлежащее”). Однако его работа не сводилась к простому расширению диапазона действия риторики. В эмпирическое исследование экспрессивных средств он внес кардинальное новшество, введя в риторику новый критерий ценности, новое понимание приятности.

Для Аристотеля “приятно” в искусстве не волшебное очарование, не утилитарная польза, не абсолютное благо, а удоволь-

¹⁰⁰ См. комментарии С.С. Аверинцева по поводу упоминания имени Демосфена во второй книге (II, 24, 8, 1397b, 1402b) (Аристотель и античная литература. С. 179).

ствие, получаемое от знания. Вследствие этого в его глазах стали особенно ценны те эмоции и впечатления, которые способствуют познанию: удивление, удобопонимание, ясность. А в прямой связи с этим получили новое толкование и сами изобразительные приемы: их главную задачу Аристотель увидел в том, чтобы доставить слушателю **интеллектуальное наслаждение**, специфическое для каждого жанра, и признал, что нужный эффект зависит от вполне конкретных приемов композиции, синтаксиса, словоупотребления»¹⁰¹.

ПАРАЛОГИЗМ КАК РИТОРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В ТРУДАХ АРИСТОТЕЛЯ

Помимо того, что Аристотель — автор «Риторики» и «Поэтики», он вошел в историю культуры еще и как ученый, сформулировавший ряд законов логики, человек, без учения которого рациональный (т.е. научный) способ познания действительности был бы невозможен. Именно логика, которая в трудах Аристотеля именуется «аналитикой», становится тем инструментом, благодаря которому ученый опровергает софистические способы убеждения, наглядно демонстрируя в них ложь.

Постулат Аристотеля о доступности человеческому разуму истины и о доказательстве как единственно приемлемой форме обоснования истины стал методологическим базисом классической философии и ее инструмента — **логики**. Дедуктивные силлогические умозаключения рассматривались здесь в качестве адекватных логических способов доказательства, обеспечивающих тотализирующую активность разума. Вся логическая аргументация была редуцирована к данной проблематике. Аристотель показал, что правильные рассуждения подчиняются небольшому числу неизменных законов, независимых от частной природы объектов, о которых идет речь. Ему принадлежит заслуга точной формулировки первых трех основных законов традиционной логики.

Критерием истины, по Аристотелю, стало *соответствие мысли реальным предметам и процессам*. Если в суждении понятия соединяются так, как соединены в действительности предметы, отображенные в понятиях, то суждение истинно; если же в суждении делается попытка соединить разъединенное в реальной действительности или разъединить соединенное в реальной действительности, то такое суждение ложно.

¹⁰¹ Миллер Т.А. К истории литературной критики в классической Греции V—IV вв. до н.э. С. 150.

Исходя из подобных убеждений Аристотель много занимался анализом логических ошибок. Если способы построений правильных умозаключений и законы формальной логики сформулированы Аристотелем в работах «Метафизика», «Категории», «Аналитики. Первая и вторая», «Об истолковании», впоследствии получивших название «Органон», то примеры логических ошибок сконцентрированы в основном в работах «Топпика» (и в приложенной к ней книге «О софистических опровержениях»), «Риторика» и, частично, «Поэтика».

Ко времени расцвета аристотелевских идей софистическая практика в сфере риторики насчитывала более ста лет.

Основной философский принцип софистики сводился к признанию релятивизма — *объективный мир не познаваем!* В центральном философском постулате софистика апеллировала к предшествующим учениям Гераклита и Парменида. Из учения Гераклита о всеобщей текучести делался вывод, что не существует ни ложного, ни истинного мнения; из-за изменчивости предмета даже противоположные мнения о нем будут истинными — так исключалась сама возможность нахождения противоречия в умозаключении. Опираясь на учение Парменида, софисты говорили, что всякое понятие, предлагаемое каждым отдельным человеком, истинно само по себе и не может быть выводимо из другого понятия, так как понятия не могут быть ничем связаны, они абсолютно отделены друг от друга. Исходя из релятивизма в теории познания и морали софисты приходят к отрицанию объективной истины прежде всего в человеческих мнениях и рассуждениях.

Знаменитое положение софиста Протагора «человек есть мера всех вещей» выводилось из идеи Гераклита о всеобщей текучести и изменчивости всего сущего. Поскольку в каждый момент изменяется как воспринимающий субъект, так и воспринимаемый им объект, то каждое восприятие каждого человека относительно и субъективно. Для каждого истинно то, что ему кажется таковым в данное время; никакого объективного критерия истины нет. Когда дует ветерок, одному холодно, а другому тепло. Является ли на самом деле этот ветерок холодным или теплым? Кому холодно, для того он холоден, а кому тепло — для того он тепел.

«Протагор — сенсуалист, для него познание всецело сводится к чувственным восприятиям. Его формула “человек есть мера всех вещей” имеет смысл: мера вещей — ощущения индивида. С этой точки зрения Протагор объявил астрономию лженаукой, так как ее учения о размерах небесных светил, об их движении и т.д.

расходятся с непосредственными показаниями нашего восприятия. Равным образом он считал геометрию лженаукой на том основании, что чувственно воспринимаемые линии отличны от геометрических (абсолютно прямых или строго круглых линий)»¹⁰².

Релятивизм софистов получил особенно яркое выражение в анонимном сочинении «Двоякие речи», в котором развивалось учение об относительности человеческих понятий о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о справедливости и о несправедливости, об истине и лжи. Автор сочинения сам доказывает два противоположных взгляда: что истина и ложь одно и то же и что они отличны друг от друга. Автор говорит, что даже судьи одну и ту же речь могут расценивать и как ложь, и как истину. Одна и та же вещь бывает одновременно и легкой и тяжелой, в зависимости от того, с какой другой вещью она сравнивается, тот же самый человек и живет и не живет, те же самые вещи и существуют и не существуют, так как все существует в отношении к чему-нибудь. Фрасимах распространял учение об изменчивости и подвижности даже социально-этических норм; он свел справедливость к полезному для сильного, утверждая, что каждая власть устанавливает законы, полезные для нее самой: демократия — демократические, тирания — тиранические...¹⁰³

Когда разрабатывалась теория красноречия, софисты не могли не затронуть вопросов логики, рассматривая их под углом зрения техники спора. Протагор написал особое сочинение — «искусство спорить». Исходя из положения, что о всякой вещи есть два противоположных мнения, он первый стал применять диалог, в котором спорщики отстаивали диаметрально противоположные мнения. Разъезжая по Греции, он устраивал диспуты, на которые собиралось множество слушателей. Как сообщает Диоген Лаэций (Bios., 153), Протагор первый стал применять способ ведения рассуждений, который заключался в задавании вопросов собеседнику и показе ошибочности его ответов, тот прием, который позднее стал использовать Сократ.

Младшие софисты довели релятивизм старших до полного произвола индивидуального мнения, и в конце концов софистика выродилась в искусство спорить обо всем, в искусство защищать и опровергать любое положение — в **эристику** (ἐρίσσις), в жонглирование понятиями и своеобразную словесную эквилибристику.

¹⁰² *Маковельский А.О.* История логики. М., 1967. С. 50—51.

¹⁰³ См.: *Асмус В.Ф.* История философии. М., 1976. С. 101.

До истины эристикам нет никакого дела. Они заботятся лишь о том, чтобы привести собеседника в замешательство, запутать его, завести в тупик. А какими способами это достигнуто, действительно ли опровергнут противник или только кажется опровергнутым перед слушателями, для них безразлично. Поэтому доказательства софистов, представлявшиеся очень убедительными толпе (массовому нерасчлененному сознанию) в конце V в. до н.э. уже запятнали себя именем беззастенчивой лжи и бесстыдной Кривды, которая стала предметом разоблачения в прославленной комедии Аристофана «Облака»:

Рассказывают, там, у этих умников,
Две речи есть. Кривая речь и правая.
С кривою этой речью всяк, всегда, везде
Одержит верх, хотя бы был кругом неправ.

(113–116)¹⁰⁴

Аристофан обвинил софистов и Сократа, который не был софистом и немало боролся с их религиозными и нравственными убеждениями, в развращении юношества. Поскольку софисты пытались критически исследовать религиозные убеждения греков, «сочинение Протагора о богах было публично сожжено и стало поводом к изгнанию философа из Афин, несмотря на крайне осторожную формулировку религиозного скептицизма»¹⁰⁵.

Тем не менее ни смех Аристофана, ни государственные постановления не в силах были справиться с псевдодоказательствами софистов. Настало время «аналитики» разобраться в механизмах построения ложных умозаключений, с помощью которых никогда не возможно было достигнуть истинного знания, зато нетрудно было достигать конкретных политических целей. Ложные умозаключения, «мнимые доказательства», примеры которых Аристотель находит в общеизвестных образцах софистических рассуждений, он именует **паралогизмами** (παράλογισμός — ложное умозаключение, обман).

«Мнимая мудрость» софистов, по Аристотелю, основывалась на сознательном применении в споре и в доказательствах заведомо неверных, ложных построений, различного рода словесных и логических ухищрений, аргументов, которые внешне формально правильны, а по сути являются искажением действительности.

¹⁰⁴ Аристофан. Облака / Пер. С. Апта // Аристофан. Комедии: В 2 т. М., 1954. Т. 1. С. 184.

¹⁰⁵ Асмус В.Ф. История философии. С 100.

Множество этих логических уловок использовало многозначность и игру слов, подмену понятий, однако в общем потоке речи неподготовленному уму было непросто уловить «мнимый» характер подобных доказательств. Большинство из опровергаемых Аристотелем софизмов было создано «мегариками», однако следует заметить, что мегарская школа использовала многие софизмы своих предшественников и сегодня очень трудно определить, какие из прославленных софизмов были заимствованиями, а какие — их собственным изобретением.

Мегарскую школу основал ученик Сократа Евклид (не путать с выдающимся математиком!), считавший основным своим методом эристику и диалектику. Центральный постулат новой школы сводился к утверждению об изолированности понятий как от мира явлений, так и друг от друга. Именно для доказательства этой ошибочной идеи представители школы выработали специальную технику с характерной, в высшей степени вымеренной и скупой на слова точностью выражений. Положительная часть учения мегарской школы была очень скудной, зато ее последователи развернули широкую полемику против учений других философских школ и в этом весьма преуспели. Их эристические доказательства облекались в форму катехизиса, причем запрещались всякие другие ответы кроме «да» и «нет». Обыкновенно они не опровергали посылок своих противников, а в заключение прибегали к косвенному доказательству абсурдности говоримого — *deductio ad absurdum*. К примеру, приписываемый Евбулиду, софизм «Рогатый»:

«То, чего ты не потерял, у тебя есть;
ты не потерял рога;
следовательно, ты рогат».

С точки зрения формальной логики в этом софизме нарушено правило простого категорического силлогизма — присутствует учетверение терминов; посылка сформулирована неправильно — вместо *у тебя есть рога* имеет место **метонимия** *то, чего ты не потерял*. Помимо Евбулида среди «мегариков» были известны Диодор Крон и Стильпон. К примеру, из Диодора известен софизм, утверждающий невозможность уничтожения стены, поскольку стена стоит, покуда камни находятся вместе. Но тем более нельзя сказать, что она уничтожается, если камни уже разобраны, ибо ее уже больше нет. Подобным же образом Диодор доказывал, что нельзя умереть, ибо умереть человек не может ни в то время, когда он еще живет, ни в то время, когда он уже не живет. Оба эти со-

физма являются таковыми, поскольку противоречат реальному жизненному опыту. Задача настоящего ученого — показать, в чем нарушение конструкции, благодаря которой рождается ложный вывод.

Если подробнее рассмотреть эти конструкции, то нетрудно заметить их искусственный характер. Прежде всего стена сама по себе не «уничтожается». Если в построение Диодора ввести субъект, который станет разрушать стену, то от софизма, как и от стены, не останется камня на камне. С другой стороны, конструкции Диодора — чисто словесные ухищрения, поскольку они не позволяют хоть немного изменить структуру предложения, передать смысл своими словами — тогда софизм будет утрачен.

По поводу такой аргументации Диодора древние немало шутили; известен даже анекдот. Рассказывают, что Диодор вывихнул себе плечо и обратился к врачу Герофилу, на что Герофил ответил софизмом в духе пациента: *«Или плечо сдвинулось с места, на котором оно было, или с места, на котором оно не было. И то и другое невозможно. Следовательно, плечо не сдвинулось»*. Диодор был сам виноват в таком ответе врача, поскольку дал четыре известных доказательства против возможности движения¹⁰⁶. Желая во всем отличаться от знаменитого автора апорий Зенона Элейского¹⁰⁷, он ввел не совсем понятное положение «тело подвинулось» и доказал невозможность употребления понятия «оно движется».

¹⁰⁶ Доказательства Диодора Крона против возможности движения:

1) если бы что-нибудь двигалось, оно должно было бы двигаться или в пространстве, в котором оно есть, или в пространстве, в котором оно не есть; но в первом нет места для движения, так как оно заполнено данным телом, во втором же (где его нет) оно не может ни действовать, ни испытывать что-либо;

2) то, что движется, находится в пространстве; но что есть в пространстве, то покоится; следовательно, движущееся покоится;

3) третье доказательство исходит из предпосылки существования неделимых мельчайших частиц материи и пространства. Пока такая частица материи находится в соответствующей частице пространства *A*, она не движется, ибо она вполне наполняет ее; но точно также она не движется, если находится в ближайшей частице пространства *B*, ибо, если она достигла ее, то ее движение уже прекратилось; следовательно, она вообще не движется;

4) четвертое доказательство присоединяет к предпосылке существования неделимых мельчайших частиц материи различение частичного и полного движения. Всякое движущееся тело должно сначала двигаться частью своих частиц, прежде чем двигаться всеми частицами. Но немислимо, чтобы неделимое мельчайшее тело двигалось частью своих частиц.

¹⁰⁷ *Апориями* (парадоксами Зенона из Элеи) в Античности называли непреодолимые логические затруднения, возникавшие в понятиях движения, времени и пространства. Это знаменитые «Ахиллес и черепаха», «Дихотомия», «Стрела» и «Стадий».

Однако парадоксы мегарской школы были не только формой словесных ухищрений, но использовали отсутствие строгих правил построения умозаключений, неумение владеть категориями диалектики и многие более сложные ментальные конструкции. Например, парадокс «Лысый»:

«Если вырвать один волос, человек не станет лысым, равным образом, если вырвать еще один волос, еще один и т.д.
С какого по счету вырванного волоса человек станет лысым?»

Подобным же образом построен один из типичных парадоксов Евбулида «Куча», который обычно передают так:

«Одно зерно кучи не составляет;
прибавив еще одно зерно, кучи не получишь;
как же получить кучу, прибавляя всякий раз по одному зерну,
из которых ни одно не составляет кучи».

С точки зрения диалектической логики ошибка в данном рассуждении заключается в игнорировании одной из объективных закономерностей, при которой изменения количества на определенной ступени вызывают качественные изменения.

Другой парадокс «Лжец», очевидно, восходит к полемике Демокрита с Протагором. Вот как звучит этот парадокс у «мегариков»:

«Если кто-нибудь говорит, что он лжет,
то лжет ли он или говорит правду?»

А вот оригинал из сочинения Демокрита «О логике», где древнегреческий материалист достаточно успешно полемизирует с релятивизмом Протагора: если, как учит Протагор, истинно все то, что кому-либо представляется, — говорит Демокрит, — то истинно и отрицание протагоровского положения, а именно — если кто-нибудь полагает, что не все истинно, то и это мнение тоже будет истинным на том основании, что истинным объявляется всякое мнение. Таким образом, положение, что все истинно, оказывается ложным. Доказательство Демокрита причудливо, но в основании его — первый закон логики, «самое достоверное из всех начал» — закон противоречия (Arist., *Metaph.*, 74).

Помимо «мегариков» немало парадоксов и остроумных софистических построений создавали и элидо-эретрийская школа, и киники. Довольно забавные с точки зрения толпы способы парадоксального мышления были не столь безобидны; противопоставляя себя только формирующимся приемам рационального мышления, они приводили к разрушению всякого научного знания.

Поэтому частично Платон и позднее Аристотель немало усилий затрачивают на разработку способов и приемов научного мышления.

В своих сочинениях Аристотель последовательно рассматривает и опровергает целую серию знаменитых софизмов, указывая на природу ложных умозаключений в них. Для этого необходимо было выяснить все правильные способы умозаключения и научить выявлять ошибочные приемы, с помощью которых нельзя получить достоверных знаний. Доказательства имеют своим низшим пределом данные чувственного опыта и своим высшим пределом — наиболее общие основоположения и определения, которые являются недоказуемыми и вместе с тем достоверными и необходимыми принципами знания. Эти принципы познаются разумом непосредственно. В отличие от мышления, оперирующего умозаключениями, которое может впадать в ошибки, разум как высшая умственная способность никогда не заблуждается.

Как верно отмечает А.О. Маковельский, «доказательства и применяемые к ним умозаключения, по Аристотелю, можно отнести к трем основным областям:

- 1) к области строгой науки, аподейктики и аналитики,
- 2) к области диалектики, риторики и топики и
- 3) к области пейрастики¹⁰⁸, эристике и софистики.

Пейрастику Аристотель иногда рассматривает и как разновидность диалектики.

Подлинное вполне обоснованное доказательство имеет место лишь в первой области. Лишь здесь из необходимо истинных посылок с необходимостью выводятся новые необходимо истинные суждения. Это — область абсолютных, вечных, неизменных истин о сущности вещей. Только тут мы имеем дело с доказательством в строгом смысле слова. К аподейктическим примыкают дидактические доказательства, которыми пользуется учитель при обучении наукам учеников. Что касается области диалектики и примыкающей к ней риторики, то здесь посылки являются не необходимо истинными, а лишь вероятно истинными. В диалектике исходят из того, что бывает обычно “по большей части” и что поэтому обычно признается за истину (т.е. здесь исходят из общепринятого мнения). В риторике же, где целью является только убеждение слушателей, исходят из тех мнений, взглядов, предубеждений, которые являются господствующими в той или иной среде слушателей.

¹⁰⁸ Т.е. испытания (от греч. πειρασμός).

Диалектика, подобно аподейктике, по Аристотелю, применяет силлогизм и соблюдает его правила, но, в отличие от аподейктики, ее посылки лишь вероятно истинные; следовательно, в диалектических рассуждениях, в отличие от аподейктических, имеется лишь формальная правильность, но отсутствует необходимая истинность и, таким образом, здесь нет подлинных доказательств в строгом научном смысле слова. И наконец, что касается эристики и софистики, то в них имеется лишь видимость доказательства, так сказать, игра в доказательства»¹⁰⁹.

Назвав свое основное сочинение, посвященное софизмам, «О софистических опровержениях», Аристотель рассматривает софистические доказательства как «опровержения» истины. Прежде всего ученый указывает на психологические аспекты софистических речей, которые сводятся не столько к переубеждению противника или аудитории, сколько к дискредитации противника любым способом. Таких способов Аристотель приводит пять:

«Они намерены создать видимость того, что опровергают;
второе — доказать, что собеседник говорит неправду;
третье — привести его к тому, что он не согласуется с общепринятым;
четвертое — заставить его делать погрешности в речи;
наконец, заставить его говорить часто одно и то же».

(*Arist., Sophist., III*).

Во исполнение этих целей применяются ложные силлогизмы или «кажущиеся энтимемы», паралогизмы, без которых не в силах обходиться ни одно софистическое доказательство.

Желая рассмотреть все известные ему виды софистических уловок, Аристотель указывает, что ложные умозаключения бывают двоякого рода: одни из них формально неправильны (т.е. нарушают логические правила построения умозаключений), другие же формально правильны, но исходят из ложных посылок. Первые из них — те, что проистекают из способа выражения мысли и речи, т.е. ошибки скорее языкового характера, вторые — это ошибки мышления.

Первая группа

Логические ошибки, или «кажущиеся энтимемы», основанные на словесном выражении, Аристотель подразделяет на шесть видов. Буквально так: «Способов создать на основании оборотов

¹⁰⁹ *Маковельский А.О.* История логики. С. 156.

речи видимость опровержения имеется шесть: *одноименность, двусмысленность, соединение, разъединение, ударение или произношение и форма выражения*» (Arist., Sophist., IV). Но поскольку во времена Аристотеля языковедческая терминология и общепринятые сегодня в языкознании понятия не были столь строго и четко разработаны, выделенные философом группы имеют условный характер, мы иначе, чем в оригинале, сгруппируем софистические приемы, основанные на словесном выражении¹¹⁰. Помимо этого, необходимо учесть те различия, которые существуют между древнегреческим и русским языком и полную невозможность буквального перевода словесных ухищрений и каламбуров.

а. Важнейшим приемом софистики была и остается **двусмысленность** отдельных слов, словосочетаний и частей слов (флексий), создающих противоречия в смыслах говоримого:

1. **Омонимы** (ὁμωνυμία) **и паронимы**¹¹¹. Уловка заключается в том, что одно и то же слово может иметь два или более двух разных значений. Этот вид кажущихся энтимем «основан на сходстве названий, например, если сказать, что *мышь* совершенное животное, так как от имени ее названо самое уважаемое из всех таинств, ибо *мистерии* — самое уважаемое из всех таинств¹¹². Или если кто-нибудь, восхваляя собаку, сопоставит с ней небесное созвездие Пса или Пана на том основании, что Пиндар сказал:

«Блажен, кого олимпийские боги называют всеизменяющимся псом великой богини».

Или из того, что «крайне позорно не иметь ни одной собаки», заключить, что, очевидно, собака — существо почтенное. Или сказать, что Гермес — самый общий из всех богов, потому что он один называется «общим¹¹³ Гермесом» (Arist., Rhet., II, 24, 12—23)¹¹⁴.

Еще один пример, на этот раз из сочинения «О софистических опровержениях»:

¹¹⁰ В полной верности оригиналу эти приемы перечислены в последней главе работы А.С. Ахманова «Логическое учение Аристотеля» (М., 1960).

¹¹¹ *Паронимы* у Аристотеля — слова, близкие по своей внешней форме, например, «мужественный» от «мужества», «ленивый» от «лени» («Категории»). В современном русском языке это просто однокоренные слова, и сегодня нам трудно представить, как с их помощью рождались паронимы.

¹¹² Ср. греч. *μῦς* — мышь, *μυστήριον* — таинства, мистерии.

¹¹³ Гермес как бог областей небесных, земных и подземных, т.е. всех известных — *ραп*.

¹¹⁴ Цит. в пер Н. Платоновой (Античные риторика / Сост., коммент. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 120).

«“Зло есть благо, ибо τὰ δέοντα (то, что должно быть) есть благо, а зло δέοντα (должно быть)”. Дело в том, что δέοντα имеет два значения: “неизбежное” — что часто бывает и со злом (ведь некоторое зло неизбежно), и о благе мы также говорим как о “долженствующем”»

(Arist., Sophist., IV, 165b, 34—39)

Сам Аристотель указывал, что одно и то же слово (например, понятия «благо» и «зло» могут иметь различные значения, смотря по тому, к какой категории¹¹⁵ они в том или в другом случае относятся (см. знаменитый пример, как рассматривал понятие «блага» и «справедливости» Сократ в знаменитом диалоге Платона «Евтидем»). А вот пример софистического использования понятия блага:

«Вор не желает приобрести ничего дурного.
Приобретение хорошего есть дело хорошее.
Следовательно, вор желает хорошего».

Теория категорий, по Аристотелю, предохраняет от ошибок омонимии, состоящих в отождествлении разных понятий.

2. **Амфиболия** (ἀμφιβολία — двойственность, двусмысленность) заключается в использовании двусмысленности не отдельных слов, а сочетаний слов, словесных конструкций, которые могут употребляться в двух или более двух различных смыслах, что, так же как и омонимия, приводит к отождествлению различного. Например: «“знание букв”, а именно каждое в отдельности — “знание” и “буквы” — означает как раз одно, а оба вместе больше чем одно: или сами буквы имеют знание, или кто-то другой знает буквы» (Arist., Sophist., IV, 166a, 19—22). А вот пример амфиболии у софиста:

«Кто учит кого-нибудь, тот хочет, чтобы ученик его стал мудрым и перестал быть невеждою. Он, значит, хочет, чтобы ученик его стал тем, что он не есть, и перестал быть тем, что он есть теперь. Следовательно, он хочет перевести его из бытия в небытие, то есть уничтожить».

¹¹⁵ По учению Аристотеля, логический процесс, двигаясь от менее общих понятий к более общим, завершается так называемыми **категориями**. В сочинениях «Категории» и «Топика» дается таблица десяти категорий: *сущность (субстанция), качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание*. Далее Аристотель поясняет примером смысл каждой категории: так, человек или лошадь есть *субстанция*; величиной в два локтя — *количество*; двойной, половинный, большой — *отношение*; в Ликее, на площади — *место*; вчера — *время*; сидит, лежит — *положение*; обут, вооружен — *обладание*; режет, жжет — *действие*; его режут, его жгут — *страдание*. Аристотель не дедуцирует категории, подобно Канту и Гегелю, а находит их путем анализа грамматических категорий, в которых логические категории заключаются в скрытом виде.

3. Сюда же можно отнести выделенную Аристотелем в отдельный пункт *двусмысленность флексий*, например:

«Правильно ли говорят, что она есть то, за что ты ее выдаешь? [Да]. Но ты выдаешь ее за битву; значит она есть “битву”. Или, быть может, не обязательно [делать такой вывод], если “она” значит не “битву”, а “битва”, “эту” же означает “битву”. И точно так же, если то, что ты выдаешь за этого, есть этот, а ты выдаешь его за Клеона, то разве это значит, что он есть Клеона? Нет, он не есть Клеона. Ибо было сказано; за что я его выдаю, этот он и есть, а не этого. Ведь так ставить вопрос [- есть ли он этого?] — было бы неправильно. [Или:] “Знаешь ли это?” [Да]. А это есть каменная глыба; значит ты знаешь каменная глыба”. Однако “это” [в высказывании] “знаешь ли это” не то же самое “это”, что [в высказывании] “это есть каменная глыба”. В первом оно означает “эту”, а во втором “эта”. [Или:] “Знаешь ли ты то, знание чего ты имеешь? [Да.] Но ты имеешь знание каменной глыбы”. Однако же когда ты говоришь “этой”, разумеешь “каменной глыбы”, а когда “эту” — “каменную глыбу”, а согласишься (лишь) с тем, что знание чего ты имеешь, ты знаешь, но не “этой”, а “эту”, а потому не “каменной глыбы”, а “каменную глыбу”».

б. Естественно, что подобный способ доказательств приводит к тому, что оппонент допускает *погрешности в речи, в произношении* (προσῳδία)¹¹⁶. По словам Аристотеля, софисты мастерски провоцируют погрешности в речи с помощью слова «это». Например: «Ты говоришь про *это* дерево, и оно есть *это* дерево. Но “камень” и “этот” имеют форму мужского рода. А если бы спросили: есть ли “этот” “эта”? [Нет]. И потом снова: как же, разве “этот” не Кориск? А затем сказали бы: значит “этот” есть “эта” — то в этом случае погрешность в речи не была бы выведена через умозаключение, даже если Кориск означал бы то же, что “эта”, но отвечающий не согласился бы; об этом следовало бы еще задать вопрос. И если это не так, и [отвечающий] не согласился с этим, то погрешность в речи не была бы выведена через умозаключение — ни на самом деле, ни против спрошенного» (Arist., Sophist., XXXII, 182a, 18—24).

Подобный прием нередко используется сегодня в теледебатах или политических шоу, когда ведущий, ухватившись за речевой

¹¹⁶ Следует учесть, что греческий язык, в отличие от русского, обладал такой характеристикой, как долгота и краткость звуков, от чего зависел смысл говоримого, и, помимо того, во времена Аристотеля имелось немало диалектов, что тоже не способствовало однозначности понимания говоримого. Сложность заключалась еще и в том, что древний грек имел дело преимущественно с устным, а не с письменным словом, и в этом — коренное отличие описываемых Аристотелем приемов от современных уловок, которые не могут быть рассчитаны *лишь* на однократное прослушивание/прочтение.

штамп в речи политика, сбивает его с толку. Например, политик говорит, что «будет бороться за повышение благосостояния народа», на что ведущий задает вопрос по поводу слова «бороться». Почему бороться? Откуда эта лексика агрессии? Политик мог бы сказать «добиваться» или «стремиться». Но неожиданным вопросом он сбив с толку и не в состоянии продолжить дискуссию с прежним напором. Прием ведущего явно софистический, рассчитанный на неожиданный эффект от вопроса, уводящего в сторону от рассматриваемой в дискуссии проблемы.

с. Ошибочное употребление категорий времени, места, образа действия и т.д., соединяющих (σύνθεσις) в умозаключении понятия, разъединенные в действительности, например:

«Сидящий встал. Кто встал, тот стоит.

Следовательно, сидящий стоит».

На самом деле, следовало сказать «сидевший стоит». Подобных языковых конструкций было известно немало: «сидящий способен ходить», «непишущий — писать». Их можно понимать двояко — и как оксюморонное сочетание (тот, кто не умеет писать — пишет) и как «настоящее длительное» («когда он не пишет, он обладает способностью писать») (Arist., Sophist., IV, 166a, 25—30).

«Еще один [топ образуется] с помощью опущения обстоятельств времени и образа действий, таково, например доказательство, что Александр по справедливости похитил Елену, потому что отец предоставил ей выбор супруга, но, может быть, не навсегда. Он предоставил выбор, а только на первый раз, ибо отец имеет власть только до этого предела» (Arist., Rhet., II, 24, 1401b, 34—37).

d. Разделение (διαίρεσις) понятия на его составляющие и приписывание свойств его частей целостному определению. Например:

«Число пять можно получить путем прибавления четного числа “два” к нечетному числу “три”. Следовательно пять есть четное и нечетное число одновременно».

В этом примере при отделении сказуемых «четное» и «нечетное» от подлежащих «два» и «три» сказуемые «четное» и «нечетное» заместили собою подлежащее «два» и «три», и высказывание приобрело предикцию числу пять несовместимых друг с другом сказуемых «четное» и «нечетное».

«Другой [топ заключается в том], чтобы в речи сопоставлять разъединенное или же разъединять связанное между собой; так

как часто вещи кажутся тождественными, не будучи таковыми, то следует делать то, что полезнее. Таково рассуждение Евтидема, например, что он знает, что в Пирее есть триера, ибо он знает о существовании [каждого из этих двух предметов]. Или [если сказать], что знающий буквы знает и слово, так как слово есть то же самое. Или утверждение, что если двойное количество чего-нибудь вредно, то и вдвое меньшее количество не может быть здорово, ибо нет смысла, чтобы две хорошие вещи могли составить одну дурную. В такой форме [энтимема — *ἐνθύμημα*] есть изобличение, но она будет показанием в следующей форме: потому что одна хорошая вещь не может составить двух дурных. Весь этот топ сводится к паралогизму» (Arist., *Rhet.*, II, 24, 25—33). Например:

«Лекарство, принимаемое больным, есть добро.

Чем больше делать добра, тем лучше.

Значит, лекарства нужно принимать как можно больше».

«Итак, что такого рода доводы выводят погрешности в речи через умозаключение не на деле, а только по видимости, и почему по видимости, и как надо выступать против них, — это из сказанного очевидно», — заключает Аристотель (Arist., *Sophist.*, XXXII, 182a—b).

Вторая группа

Второй уровень демонстрирует в софистике нарушение правил логических операций. Его исследование Аристотель буквально начинает так: «*Паралогизмов не от оборотов речи имеется семь [видов]: первый — от привходящего, второй — такие, в которых говорится о [присущем] вообще или же не вообще, а в каком-то отношении, в каком-то месте, в какое-то время и по отношению к чему-то; третий — от незнания [сути] опровержения; четвертый — от следования; пятый — от принятия положенного вначале; шестой — такие, в которых то, что не есть причина, выдается за причину; седьмой — в которых многие вопросы сводят к одному вопросу*» (Arist., *Sophist.*, IV, 166b, 21—28). Среди логических ошибок, не зависящих от способа выражения, Аристотель выделяет следующие:

1. Ошибка на основании случайного (*παρὰ τὸ συμβεβηκός*) состоит в том, что полагают, будто вещи присуще то же самое, что и ее акциденции, т.е. когда переносят на подлежащее то, что присуще сказуемому, если сказуемое при этом характеризует

подлежащее не как сущность, не как всеобъемлющее свойство его, а как некий случайный признак или если два случайных сказуемых одного подлежащего соединяют в составное именное (или глагольное) сказуемое и таким образом смешивают типы предикатов. Аристотель приводит в качестве примера следующее умозаключение:

«Кориск — человек.

Человек есть нечто иное, чем Кориск.

Следовательно, Кориск есть нечто иное, чем Кориск».

Целью этого софизма «мегариков» становится стремление показать несостоятельность логической формы суждения вообще. Опровергая этот софизм, Аристотель указывает, что в умозаключении во второй посылке о человеке высказывается не его сущность, а нечто случайное, что не может быть перенесено на подлежащее первой посылки (Arist., Sophist., V). Другой пример этой ошибки:

«Кориск — другое лицо, нежели Сократ.

Сократ — человек.

Следовательно, Кориск — не человек».

Или: «Если нечто мое и оно произведение, то это не значит, что оно мое произведение, а значит лишь, что оно мое имущество, моя вещь или что-то в этом роде», — говорит Аристотель (Arist., Sophist., XXIV, 179b, 4—5), опровергая известный прием, присутствующий в нижеприведенном примере:

«Животное есть то, что имеет душу.

Мое то, чем я могу распоряжаться по своему произволу.

Следовательно, моим животным я могу распоряжаться по своему произволу.

Мои боги достались мне по наследству от отца и составляют мою собственность.

Боги имеют душу, следовательно, они суть животные.

Со своими богами я могу поступать как мне угодно».

II. Логическая ошибка *от сказанного «в целом» к сказанному с ограничением* по модальности или по месту, или по времени, или по отношению и, наоборот, состоит в том, что утверждение, правильное в ограниченном смысле (как относительно истинное в какой-либо части предмета или в определенном месте, времени, отношении) принимается как истинное вообще или, наоборот, то, что признано истинным вообще, ограничивается, как будто бы оно имеет силу только в каком-либо отношении, в определенном месте или времени. Например:

«Индус черен, а зубы у него белые, следовательно, он и черен и не черен, бел и не бел, если говорить безотносительно, “просто”. О нем же следует сказать, что он черен или бел в известном отношении (с ограничением)».

Или: «Что в состоянии нести только одно, в состоянии нести многое».

(Arist., *Sophist.*, IV, 166a, 32—33)

«Все такого рода доводы таковы: “Может ли не-сущее быть? [Нет]. Но ведь не-сущее есть что-то”. Точно также и сущего не будет, ведь оно не будет чем-то из существующего. [Или]: “Можно в одно и то же время клясться верно и ложно?”, “Может ли один и тот же в одно и то же время верить и не верить одному и тому же?” Но разве быть чем-то и быть [вообще] одно и то же? Ведь если не-сущее что-то есть, то это не значит, что оно есть вообще. И если кто-то верно клянется вот этим или вот таким-то образом, то не обязательно, чтобы он вообще клялся верно. Ведь кто, например, клялся, что он даст ложную клятву, верно клялся только в отношении ложной клятвы, но не клялся верно [вообще]. И тот, кто не верит, не верит не вообще, а во что-то».

(Arist., *Sophist.*, XXV, 180a)

Пример подобного порока рассуждения Аристотель находит в знаменитом парадоксе Евбулида «Лжец», или «ложно клянущийся» (см. выше). Трудность заключается в том, что закон исключения третьего оказывается здесь неприменим. Тем не менее Аристотель предлагает следующее решение парадокса: «Каждый может быть сам по себе лгуном и, однако, в известных отношениях или в единичных случаях может говорить истину. Таким образом, парадокс оказывается основанным на двусмысленности слова “лжет” и тем самым оказывается софизмом: тот, кто говорит, что он лжет, имеет в виду себя как лгуна, но не ложность всякого высказанного им суждения; следовательно, его отдельное суждение о том, что он лжет, не становится ложным от того, что говорящий признает себя лгуном»¹¹⁷.

Позднее подобные ошибки переродились в *софизм собира-тельного среднего термина* (лат. non distributivi, sed collectivi medii) — силлогическое умозаключение, в котором нарушено правило простого категорического силлогизма о том, что средний термин должен быть взят во всем объеме, по крайней мере в одной из посылок. В данном софизме средний термин бывает подлежащим частноутвердительного суждения, являющегося одной из посылок умозаключения, и сказуемым общеутвердительного суждения, являющегося посылкой того же умозаключения. Например:

¹¹⁷ Ахманов А. С. Логическое учение Аристотеля. М., 1960. С. 308.

«Правильное грамматически лучше неправильного.

Мир есть лучшее из всего.

Следовательно, мир есть нечто правильное грамматически».

III. Логическая ошибка (ignoratio elenchi) состоит в *подмене предмета спора другим, посторонним*, имеющим лишь отдаленное сходство с тем предметом, о котором идет речь. За счет этого доказательство или опровержение делают смыслом спора не те явления, которые следовало бы доказать или опровергнуть. У Аристотеля она представлена в более узком смысле и именуется «ошибкой вследствие незнания опровержения»: (παρὰ τὴν τοῦ ἐλέγχου ἄγνοιαν) Например:

«Если стена не дышит, потому что она не есть животное, то она дышала бы, если бы была животным.

Но многие животные, например насекомые, не дышат.

Следовательно, стена есть животное, хотя она и не дышит».

«Или: “Топчут ли ногами то, что проходят? [Да.] Но кто-то проходит целый день; [значит, он топчет ногами день]”. Однако вопрошающий сказал не о том, что проходят, а о том, когда проходят».

(Arist., *Sophist.*, XXII, 178b, 33—35)

Так, на основе двусмысленности термина может быть нарушено правило силлогизма, требующее, чтобы в силлогизме было только три термина: средний термин в одной посылке берется в одном смысле, а другой же — в другом.

«Эта пес имеет детей, значит он — отец.

Но это твой пес.

Значит он — твой отец».

Притяжательное местоимение *твой* здесь использовано в различных смыслах — «принадлежащий тебе» и «данный тебе богами от рождения». Поскольку эта ошибка часто возникает вследствие двусмысленности словесных выражений, Аристотель указывает на возможность отнесения ее к первой группе ошибок.

IV. Ложное доказательство, получившее впоследствии название «*предвосхищение основания*» (petitio principii), или «*постулирование из начала*» (τὸ ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖσθαι), состоит в том, что то, что требуется доказать, принимается как уже доказанное. Другими словами, здесь доказываемая мысль выводится сама из себя: за основание доказательства принимается то, что нужно доказать, или то, что само основывается на том, что нужно доказывать. Уже в «Топике» Аристотель предостерегал, что «предвосхищение основания» может встречаться в самых разнообразных формах:

- 1) когда за достоверное принимается то, что следовало бы доказывать;
- 2) когда частная мысль вместо того, чтобы доказываться, прямо выставляется как верное общее положение;
- 3) когда, наоборот, общая мысль предполагается доказанной в смысле частного положения;
- 4) когда прием деления скрывает необходимость доказательства положения;
- 5) когда из двух, необходимо вытекающих друг из друга положений, одно предполагается как доказанное.

Тут же в «Топике» Аристотель рассматривает и более частный вариант близких логических ошибок — *petitio contrariorum*, которая получается, когда:

- 1) утвердительные и отрицательные положения постулируются вместе;
- 2) постулируются взаимопротивные положения;
- 3) вместе предполагаются общие и противоречащие ему частные положения;
- 4) из посылки извлекается положение, противоположное тому, которое необходимо из него следует;
- 5) предполагаются положения, из которых необходимо следуют противоположные заключения.

Понятно, что подобные умозаключения по объему занимают значительное место, и в трудах Аристотеля мы находим не все вероятные примеры, а только их ограниченное количество и в ограниченном виде:

«То, чего не желает рассудительный — зло ли это? [Да]. Но он не желает терять благо; значит, благо есть зло». Однако сказать, что благо есть зло и что терять благо есть зло, — это не одно и то же. Точно так же [следует раскрывать] довод относительно вора. А именно, если вор есть зло, то это не значит, что брать [его] — зло. Ведь [тот, кто желает взять вора], желает не зла, а блага. Ибо брать [вора] есть благо. Так же и болезнь — зло, но не избавляться от болезни».

Или: «Разве не более предпочтительно справедливое, чем несправедливое, и [поступать] справедливо, чем [поступать] несправедливо? [Да]. Однако быть несправедливо осужденным на смерть предпочтительнее, [чем быть осужденным на смерть] справедливо». [Или]: «Справедливо ли каждому иметь что-то свое? [Да]. Но ведь то, что [судья] судит согласно своему мнению, хотя бы оно было ложно, имеет законную силу. Значит, одно и то же справедливо и несправедливо...».

(*Arist., Sophist., XXV, 180a—b*)

V. Аристотель отмечает ошибку, когда *неправильно понимается связь основания и следствия* (παρὰ τὸ ἐπόμενον) — когда полагают, что на основании того, что если есть одно, то необходимо есть и другое, можно сделать заключение, что если есть другое, то необходимо есть и первое. Аристотель указывает, что такого необходимого следования нет. Например:

«...из того, что у больного лихорадкой высокая температура, вовсе не следует, что человек с высокой температурой болен лихорадкой».

Или например: «Если кто-нибудь говорит, что Дионисий вор на том основании, что он дурной человек, это не есть [правильный] силлогизм, ибо не всякий дурной человек — вор, но всякий вор — дурной человек». «Или [если сказать], что знающий буквы знает и слово, так как слово есть то же самое».

(Arist., Rhet., II, 24)

VI. Еще один вид ошибочных доказательств, где *принимается за причину то, что причиной вовсе не является* (παρὰ τὸ μὴ αἰτιον ὡς αἰτιον). Эта ошибка встречается в доказательствах через невозможное. Например, «Равным образом мы полагаем, что раз земля становится влажной от дождя, то если земля влажная, значит шел дождь. Однако, это не необходимо. И в искусстве красноречия доказательства от признака основываются на следовании. Ведь желая доказать, что кто-то есть прелюбодей, делают этот вывод из того, что он щеголь и его видели шатающимся ночью. Но это бывает со многими, однако обвинять их [в прелюбодеянии] нельзя» (Arist., Sophist., V, 167b, 6—12).

VII. Ошибка *смещения нескольких вопросов* (τὸ τὰ πλείω ἐρωτήματα ἐν ποιεῖν) состоит в том, что ответ в форме «да» и «нет» дается на один вопрос, который в действительности содержит несколько разных вопросов, и потому требуются разные ответы на вопросы. Здесь нарушается правило конкретности истины (закон тождества). Например, «Земля — это море или небо?» А в некоторых случаях это не так легко видно, и считая, что это один вопрос, или не дают ответа на вопрос, или подвергаются мнимому опровержению. Например: «Человек ли этот или тот? Да. Значит, если бьют этого и того, то бьют одного человека, а не двух человек?» Или еще: «Если из этих вещей одни хороши, а другие не хороши, то все ли они хороши или нехороши?» Какой ответ бы ни дали, можно, видимо, делать мнимое опровержение или ложное [утверждение]» (Arist., Sophist., V, 168a). Аристотель приводит пример софистического вопроса: «Благо здоровье или богатство?» И отвечает: «И тем и другим человек может пользоваться дурно; следовательно, и здоровье, и богатство суть и благо

и не благо (эристика Сократа). Является ли благом находиться у власти в государстве? Но бывают времена, когда лучше не быть властителем. Следовательно, одно и то же явление может быть для человека и благом, и не благом, в зависимости от условий осуществления его мечты» (Arist., Sophist., 25).

А вот знаменитый парадокс Евбулида из Милета — «Покрый», известный так же как «Электра»:

«Знаешь ли ты эту закутанную в покрывало женщину?»

Нет.

Это твоя жена. Следовательно, ты не знаешь своей жены».

В этом парадоксе с точки зрения традиционной логики, если рассмотреть его как софизм, используется полисемичность ответа «нет». На вопрос следовало точно отвечать так: «Поскольку лицо этого человека скрыто от меня, то мне неизвестно, знаю ли я его или нет» Тогда софистическое умозаключение невозможно. На подобной уловке строится и следующее развенчание противника:

«Перестал ли ты бить своего отца?»

При ответе «да» следует замечание: «Значит, ты его раньше бил»,

а при ответе «нет» делается вывод: «Значит, ты его продолжаешь бить».

Рассказывают, что когда «мегарик» Алексин обратился с вопросом: «Перестал ли ты бить своего отца?» к Менедему, наиболее известному представителю элидо-эретрийской школы, тот ответил: «Я его не бил, а поэтому не перестал». Тогда Алексин возразил, что по правилам школы можно отвечать только «да» или «нет». Менедем разумно заметил, что следует отказаться от этого правила.

В целом на основании изучения последней группы софистических рассуждений Аристотель приходит к выводу, что в основании ложных умозаключений лежат две наиболее общие причины: либо нарушение истинности посылок, либо неверное употребление связи посылок и заключений.

Как особые приемы Аристотель указывает на видимость опровержения; приведение к тому, что не согласуется с общепринятым; ниспровержение личности оппонента; смысловые паралогизмы; ссылки на образец, на авторитет, примеры, *Argumentum ad hominem* и проч. Несмотря на расхождение во времени и языковые различия греческого и русского, их облик вполне узнаваем. Изучение подобных конструкций имеет смысл только тогда, когда реципиент информации улавливает софизм сразу и немедленно квалифицирует его как ложь, поскольку софистическое рассуждение по форме основано на внешнем сходстве явлений,

на преднамеренно неправильном подборе исходных положений, на том, что события вырываются из общей связи, на двусмысленности слов и на подмене понятий и т.д. В 11-м параграфе Аристотель утверждает, что «софистика... есть искусство наживы с помощью мнимой мудрости», которая «рассчитана на толпу».

«Итак, все виды [паралогизмов] относятся к незнанию [сути] опровержения: те, что от оборотов речи — потому, что противоречие мнимое, а ведь именно противоречие есть отличительная черта опровержения, а остальные основаны на [нарушении] определения силлогизма».

(Arist., 6)

Таким образом, паралогизм, по Аристотелю, это ложное умозаключение. Впрочем, сказанное не относится к области искусства, где царит вымысел. «Гомер прекрасно научил и других, как следует говорить ложь: это неправильное умозаключение... Невозможное, но вероятное следует предпочитать тому, что возможно, но невероятно... Так, несообразности в “Одиссее”, в рассказе о высадке (на Итаке), очевидно, были бы недопустимы, если бы это сочинил плохой поэт; но тут наш поэт другими достоинствами сглаживает нелепое, делая его приятным» (Arist., Poetic., XXIV).



РИТОРИКА В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

КРАСНОРЕЧИЕ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ

После падения демократии в Афинах и образования эллинистических государств красноречие теряет самую благодатную свою почву — политическую. Так, при правлении эллинистических монархов, наследников Александра Македонского, Народное собрание — экклесия — становится достоянием славной истории греков. Ораторские баталии в Совете пятисот и на Пниксе заменены указами царя и его чиновников; канцелярская бумага усваивает некоторые черты и обороты риторики, но из политической жизни уходит главный принцип прежней гражданской организации — состязательность.

В период правления македонских наместников Афины политически оскудели, другие греческие полисы не обладали достаточным уровнем культуры, чтобы развить художественное красноречие. Только Родос составлял исключение: здесь на подготовленной Эсхином почве зарождается здоровый стиль, так называемый родосский, в котором счастливо сочетаются деловитость содержания и красота формы. Однако нам мало известно об отдельных его представителях на протяжении трех веков вплоть до пребывания на Родосе Цицерона, учившегося у знаменитого ритора Молона в первой трети I в. до н.э.

Обыкновенно судебное красноречие меркнет там, где его представители не совмещают свою адвокатскую деятельность с политической. Так, в эллинистической Греции из трех разновидностей риторической прозы некоторое значение сохраняет только одна — парадное, или эпидейктическое, красноречие, подвизающееся в основном у подножия тронов. Процветает и школьная риторика,

со времен Исократа ставшая основой всей системы античного образования. Именно в школах распространяются так называемые *декламации*, распадающиеся на **суазории** (вымышленные политические речи, например: «Оратор убеждает афинян уничтожить свои трофеи над персами ввиду угрозы Ксеркса вернуться, если они этого не сделают») и на **контroversии** (мнимосудебные речи по вымышленным делам, например: «Храбрец убивает брата, установившего тиранию, и затем попадает в плен к пиратам; гневный отец обещает за него двойной выкуп, если ему отрубят руки; возмущенный предводитель пиратов отпускает его даром; спустя некоторое время впавший в нищету отец требует от сына помощи, но последний в ней отказывается»).

Как видно из приведенного выше, красноречие этого периода, особенно контroversии, сильно отдает беллетристикой. Действительно, риторические задачки, которые не замедлили появиться, походили на собрание уголовных романов и в своих позднейших латинских переделках имели значительное влияние на средневековую новеллу.

Как указывает М.Л. Гаспаров, в этих условиях наибольшую важность представляют два момента: «Во-первых, изменился эстетический идеал красноречия. Политическая речь стремится прежде всего убедить слушателя, торжественная речь — понравиться слушателю. Там важнее всего была сила, здесь важнее всего красота. И греческое красноречие ищет пафоса, изысканности, пышности, блеска, в речах появляются редкие слова, вычурные метафоры, подчеркнутый ритм, ораторы стараются щегольнуть всем арсеналом школьных декламаций. Наибольшую известность среди ораторов нового стиля имел *Гегесий*, имя которого впоследствии стало синонимом дурного вкуса. Позднее, когда приевшаяся пышность нового стиля стала ощущаться как упадок красноречия после древнего величия, возникло мнение, что причиной этого упадка было перемещение аттического красноречия на Восток, в среду изнеженных жителей греческой Азии, усвоивших тамошние “варварские” вкусы; отсюда за всем новым стилем закрепилось наименование “азианство”. Однако такое объяснение было неверным: новый стиль был подготовлен всем развитием классического стиля — от простоты и скромности Лисия к богатству и сложности Демосфена; переход от классического стиля к новому был плавным и постепенным (лишь условно стали потом связывать этот переход с именем философа-оратора *Деметрия Фалерского*, ученика Феофраста); сами ораторы нового стиля считали себя истинными наследниками аттических ораторов».

ров и даже дробились на несколько направлений в зависимости от избираемого классического образца. Так, одни старались подражать сухой отчетливости Лисия (*“рубленный слог”*: сам Гегесий считал себя продолжателем Лисия), другие воспроизводили плавную пространность Исократа (*“надутый слог”*), третьи — напряженную выразительность Демосфена. Впрочем, это последнее направление, центром которого был Родос, обычно не причисляли к азианству и выделяли в особую родосскую школу, промежуточную между азианским и аттическим красноречием: об этом постарался Цицерон, который сам учился на Родосе и не хотел, чтобы его наставников позорили именем азианцев.

Во-вторых, повысилось значение теоретических предписаний для красноречия. Если в политическом красноречии содержание и построение речи целиком исходят из неповторимой конкретной обстановки, то содержание торжественных речей всегда более однообразно и, следовательно, легче поддается предварительному расчету. Поэтому риторическая теория, заранее рассчитывающая все возможные типы и комбинации ораторских приемов, оказывается в высшей степени необходимой оратору. Начинается усиленная разработка теоретической системы риторики, существующие положения и предписания умножаются новыми и новыми, классифицируются на разные лады, достигают небывалой дробности и тонкости, стараясь охватить все возможные случаи ораторской практики. Высшим достижением риторической теории эпохи эллинизма была система *“нахождения”*, разработанная *Гермагором* около середины II в. до н.э.: Гермагор сумел свести все многообразие судебных казусов и соответствующих им мотивов в речах к единой схеме видов и разновидностей (*“статусов”*), необычайно разветвленной и сложной, но логически точной и ясной. Современники и потомки порицали его педантическую мелочность, заставлявшую предусматривать даже случаи, заведомо нереальные, но признавали удобство и пользу его систематики. В этих и подобных классификациях и разделениях теоретикам приходилось, разумеется, опираться на опыт логики как классической аристотелевской, так и позднейшей, усиленно разрабатываемой стоиками. Следы стоических влияний часто заметны в сохранившихся до нас остатках эллинистической риторики, однако преувеличивать их значение не следует, ни о каком глубоком влиянии философии на риторику этого времени говорить не приходится. Скорее, напротив, эллинистическая риторика все дальше отстраняется от философских интересов. Возводя свое происхождение к Исократу, воспринимая от него культ слова и

заботу о красоте речи, эллинистические школы все более и более отходили от исократовского гуманистического идеала, все более и более сосредоточивались на искусстве слова в ущерб искусству мысли. В этих риторических школах постепенно вырабатывался тот тип ратора-краснобая, ремесленника слова, способного говорить обо всем, не зная ничего, который стал впоследствии таким распространенным и навлекал насмешки лучших писателей эпохи Римской империи»¹.

Поскольку риторы раннего эллинизма в качестве образца для подражания избрали классическую греческую риторику, в III в. до н.э. в Пергамской библиотеке, занимавшейся собиранием и распространением подлинных текстов мастеров красноречия, складывается знаменитый **канон десяти аттических ораторов**, куда вошли *Антифонт, Андокид, Лисий, Исократ, Исей, Ликург, Демосфен, Гиперид, Динарх, Эсхин*. Позднее к этому канону апеллировали и теоретики, и учителя риторики, и великие ораторы эпохи «второй софистики» — возрождения эллинофильства и краткого последнего расцвета античного красноречия.

КРАСНОРЕЧИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РИМА

По сложившейся традиции годом основания Рима, сначала города, затем государства, считается 753 г. до н.э.

Но бесчисленные войны с окружающими Рим племенами за право владычества в регионе надолго, по сравнению с Грецией, задержали развитие его духовной культуры.

Изначально Римское государство было государством земледельцев и воинов, народа, смотревшего на мир глазами рассудочного практицизма и холодной трезвости. Знаменитый греческий культ *красоты во всем*, восторженное служение ей воспринимались в Риме как некая восточная распушенность, низменное сладострастие и недостаток практицизма. По сравнению с эллинским миром, даже в смысле географии сориентированным на более культурный Восток, Рим был чисто западной цивилизацией прагматизма и напора. Это была культура иного типа, цивилизация индивидуальностей, но не коллектива.

В уже упоминавшейся работе Ф.Ф. Зелинский говорит об этом так: «В противоположность эллину с его *агонистической* душой, поведшей его вполне естественно и последовательно на путь *положительной* морали, мы римлянину должны приписать душу

¹ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 13—14.

юридическую и в соответствии с ней стремление к отрицательной морали праведности, а не добродетели»². Что конкретно понимает знаменитый филолог-классик под «положительным» и «отрицательным» типом морали, он подробно объясняет в другом месте: общественные требования к члену общины «бывают неизбежно и положительного, и отрицательного характера, — смотря, однако, по преобладанию тех или других, мы различаем нравственность (преимущественно) положительную и (преимущественно) отрицательную. Этим двум направлениям нравственного поведения соответствуют два идеала, сообщающие более определенную окраску высшему идеалу добра. Идеал *положительной нравственности* — ἀρετή — изменяется по мере развития нравственной культуры от понятия доблести к понятию добродетели (в букв. смысле: «делания добра»). Ее средство — деятельность, ее отдельное проявление — подвиг (κаторθωμια); это идеал античный, общий всем эпохам. Идеал *отрицательной* нравственности — *праведность*; средство — воздержание, ее отдельное проявление — избежание проступка или греха (χαμαρτήμια); это идеал фари-сейский (в объективном смысле этого слова).

Принцип соревнования («агонистический»), столь характерный для Античности, содействовал положительному направлению ее нравственности, побуждая каждого человека к совершению подвигов в смысле доблести и добродетели»³.

Деловой и в то же время «отрицательный» характер римского менталитета определяет взаимоотношения римлянина с красно-речием. Воинственный народ не мог обходиться без полководцев и вождей, обращавшихся к войску и к народу в минуты тяжких испытаний. Но в римской ментальности никогда не присутствует культ чистого слова, звуковой гармонии, наслаждения искусностью говорящего. «...Как на войне римлянин служит своему отечеству с оружием в руках, так в мирное время он служит ему речами в сенате и Народном собрании. “Vir bonus dicendi peritus — достойный муж, искусный в речах”, — так определяет идеал древне-римского оратора Катон Старший. Однако, чтобы правильно понять его, следует помнить, что “достойный муж” в латинском языке тех времен — синоним аристократа. Идеал красноречия был тесно связан с политическим идеалом, и когда был брошен вызов отжившему свой век политическому идеалу древней рим-

² Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. С. 274.

³ Там же. С. 36.

ской аристократии, заколебался и ораторский идеал», — рассказывает М.Л. Гаспаров⁴.

Собственно, о красноречии республиканского Рима мы знаем преимущественно благодаря рассказам Цицерона и немногим цитатам в сочинениях других авторов. Нам известны имена знаменитых политических деятелей (в республиканском Риме — синоним оратора), но речи их до нас не дошли, поскольку вплоть до Юлия Цезаря не было традиции ведения сенатских протоколов. Утилитарность римского красноречия сыграла печальную роль в его истории.

Политическое устройство Древнего Рима требовало развития практического красноречия главным образом в его политической форме. Государственные решения и законы начиная с 510 г. до н.э. (изгнание династии Тарквиниев) принимались чаще всего коллегиально, на заседаниях сената. Ораторские способности играли заметную роль в продвижении идей во время сенатских прений.

«Римский народ не принимал участия в обсуждении государственных дел — в больших и малых комициях он только кратко выражал свое окончательное мнение. Но всенародное обсуждение законопроектов и текущих дел все-таки имело место, оно происходило на сходках-конциях (*conciones*), созываемых любым комициальным магистратом»⁵. Без этих бурных собраний невозможно представить себе политическую картину Рима. На сходках влиятельные политики громили предложения своих противников, спорили друг с другом перед лицом народа, убеждали его в пользу какого-либо законопроекта. Слушатели выражали свое участие шумом и криками. В кризисные годы народные трибуны вызывали консулов и сенаторов на комиции — к ответу и к отчету перед плебсом: так было, например, во время хлебного бунта 138 г. до н.э. и после убийства Тиберия Гракха. В начале Союзнической войны (90 г. до н.э.) видные политические ораторы дневали и ночевали на рострах (*Cic., Br., 305*).

Цицерон рассказывает характерную историю о том, как в 138 г. до н.э. консуляры и лучшие ораторы своего времени — изящный *Гай Лелий* и патетический, «божественно красноречивый» *Сервий Сульпиций Гальба* — усердно защищали мелких служащих откупной компании, обвиненных в убийстве. Гальба — в прошлом

⁴ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 15.

⁵ Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» римской республики (II в. до н.э.). М., 1986. С. 28.

хищный и жестокий наместник Лузитании — взялся за дело маленьких людей за сутки до решающего заседания суда и после бессонной ночи подготовки произнес защитительную речь с таким подъемом, что каждый ее раздел заканчивался под рукоплескания (Cic., Br., 85—88). Слава о таком усердии широко распространилась среди простого народа, дарующего «почести».

Пожалуй, самым значительным оратором республиканского Рима был защитник плебеев *Гай Гракх*, прославленный Цицероном несмотря на несовпадение политических взглядов. Интересную сравнительную характеристику ораторской практики аристократов, возглавивших борьбу плебеев за свои права, братьев Тиберия и Гая Гракхов, дает Плутарх в биографии «Тиберий и Гай Гракхи»: «Выражение лица, взгляд и жесты у Тиберия были мягче, сдержаннее, у Гая — резче и горячее, так что, и выступая с речами, Тиберий скромно стоял на месте, а Гай первым среди римлян стал во время речи расхаживать и срывать с плеча тогу... Гай говорил грозно, страстно и зажигательно, а речь Тиберия радовала слух и легко вызывала сострадание. Слог у Тиберия был чистый и старательно отделанный, а у Гая захватывающий и пышный»⁶. Примером патетического стиля Гая Гракха может служить речь, произнесенная сразу после убийства его брата сторонниками сенатской олигархии и предшествовавшая собственной гибели оратора: «Куда, несчастный, направлюсь я? К кому обращусь? На Капитолий? Но он залит кровью брата. Или домой? Для того, чтобы увидеть мать, несчастную, рыдающую и униженную?» По словам Цицерона, эта речь была произнесена «с таким выражением глаз, таким голосом, с такими жестами, что даже враги не могли удержаться от слез» (Cic., De or., III, 56).

Патетический стиль Гая Гракха и его младших современников Луция Лициния Красса и Марка Антония был закономерным проявлением общей тенденции в развитии римского красноречия. Начавшись декларативной простотой в знаменитом афоризме Катона Старшего «*Rer tene, verba sequuntur*» — «Придерживайся сути дела — слова найдутся», искусство оратора в республиканском Риме должно было стремиться к пышности и изощренности. Если греческое искусство говорить родилось из восторга неискушенного человека перед красотой и мастерством иноземного (см. выше — сицилийского) слова, поскольку красота угодна

⁶ *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. / Пер. С.П. Маркиша. М., 1994. Т. 2. С. 311.

богам, то римляне, строгие и деловые, по-военному не рассуждающие, использовали речь по прямому назначению. Поэтому путь греческой риторики лежал от нагромождения красот и сложности к простоте, изяществу и гармонии — определяющим принципам греческой культуры. Простые до наивности души римлян были насмерть поражены греческой красотой, поэтому их путь противоположен — от упрощения к нагромождению, **азиянству**.

Следует учитывать и то, что римляне обратились к греческой риторике приблизительно в середине II в. до н.э., когда расцвет греческого красноречия остался в далеком прошлом, а блистательные примеры публицистики Лисия, Исократа, Демосфена обратились в собрания примеров для упражнений школьников.

Разумеется, речь идет не о конкретных случаях римского красноречия, а об общей тенденции развития ораторского искусства в Риме. Что касается сохранившихся осколков республиканской политической риторики, то среди них нетрудно найти свои «цветы красноречия» и даже отметить некоторые общие закономерности.

В основании политических речей римлян лежала *инвектива*, прием, характерный для архаических обществ, когда идея еще не отделена от своего носителя: развенчание личности политического противника есть развенчание его идей. Примеры инвектив мы встречаем в ораторской практике строгого консерватора, защитника олигархии Марка Проция Катона («Против Корнелия к народу»: «Есть ли человек более неряшливый, суеверный, пропавший, далекий от общественных дел?») или «Против Пансы»: «В школе ты воровал у мальчишек кошельки и палочки для письма»⁷). Присутствуют они также в речах народного трибуна Гая Гракха («Твое детство было бесчестьем твоей юности, юность — посрамлением старости, старость — позором государства» или: «Вот тот, авторитету которого вы следуете, который из-за страсти к женщинам сам разукрасился, как женщина»⁸).

Другой отличительной чертой римского красноречия был грубоватый **юмор**, всегда привлекавший на сторону оратора симпатии толпы. Так, Плутарх рассказывает, что однажды, когда римский народ несвоевременно домогался раздачи хлеба, Катон, желая

⁷ Цит. по: *Malkovati H. Oratorum Romanorum Fragmenta*. Turin, 1955. P. 181 (пер. Н.Н. Трухиной).

⁸ Цит. по: История римской литературы / Под общ. ред. Н.Ф. Дератани. М., 1954. С. 93.

отвратить сограждан от бунта, начал свою речь так: «Тяжелая задача, квириты [граждане], говорить с желудком, у которого нет ушей» (Plut., Cat. Maj., VIII).

Наконец, раннее римское красноречие отличалось **афористичностью** выражений, которые навсегда запомнили потомки. Тот же Катон во фрагменте «За раздел добычи между воинами» бросает: «Частные воры влачат жизнь в колодках и узах, общественные — в золоте и пурпуре»⁹. Гай Гракх предлагает не менее общественно значимую формулу: «Тому же самому человеку свойственно бесчестить честных, который одобряет бесчестных»¹⁰.

Во фрагментах речей Катона можно встретить и выразительные **скопления глаголов** для усиления значимости произносимого, например: «Я уже давно узнал и понял, и думаю...» (IV), «...я своевременнейше *рассеял и успокоил* великие беспорядки...» (IV); *риторические вопросы*: «Твое грязное дело ты хочешь покрыть еще худшим? Делаешь из людей свиные туши? Устраиваешь такую бойню? Устраиваешь десять похорон? Губишь десять свободных душ?...»; *метафоры*: «...море цветет парусами»; *антитезы*: «Почесть они купили, а дурные дела добрыми не искупили»¹¹. Но важнейшим приемом раннего римского красноречия остается *повествование*, спокойное и обстоятельное воздействие на слушателей *с помощью подбора и группировки фактов*. К примеру, Катон создает художественный образ собственной добродетели: «Нет у меня ни постройки, ни вазы, ни одежды какой-нибудь дорогостоящей, ни дорогого раба, ни рабыни. Если у меня что-нибудь есть, я этим пользуюсь, если нет — обхожусь так; по-моему, каждый должен пользоваться и довольствоваться своим. Меня упрекают в том, что я во многом нуждаюсь, а я их — что они не умеют нуждаться»¹².

И все же стремление к азианству в раннем римском красноречии возобладавало. Этот стиль стал основным в творчестве *Марка Антония, Луция Лициния Красса, Сульпиция и Котты* и, наконец, *Гортензия* — прямого предшественника Цицерона (последний в насмешку называл Гортензия «актером» за почти актерскую манеру произнесения пышных речей). Необходимо добавить несколько слов о риториках, чье влияние в римском обществе особенно усилилось на рубеже II—I вв. до н.э., в начале эпохи гражданских войн.

⁹ Цит. по: *Malkovati H. Op. cit. P. 182.*

¹⁰ Цит. по: История римской литературы / Под общ. ред. Н.Ф. Дератани. С. 94.

¹¹ Цит. по: *Malkovati H. Op. cit. P. 172—173.*

¹² *Ibid. P. 179.*

Как указывает М.Л. Гаспаров: «Поднимающаяся римская демократия — всадники и плебеи — в своей борьбе против сенатской олигархии нуждались в действенном ораторском искусстве. Фамильных традиций сенатского красноречия всадники и плебеи не имели — с тем большей жадностью набросились они на эллинистическую риторику, которая бралась научить ораторскому искусству всякого желающего. В Риме появились школы греческих риториков — сперва вольноотпущенников, потом свободных приезжих учителей. Обеспокоенный сенат стал принимать меры. В 173 и 161 гг. до н.э. были изданы указы об изгнании из Рима греческих философов и риториков. Это не помогло: поколение спустя в Риме вновь свободно преподают греческие риторы, и появляются даже латинские риторы, преподающие на латинском языке и довольно удачно перерабатывающие греческую риторику применительно к требованиям римской действительности. Их уроки более доступны и этим более опасны, поэтому сенат оставляет в покое греческих риториков и обращается против латинских: в 92 г. до н.э. лучший сенатский оратор Луций Лициний Красс (будущий герой диалога Цицерона «Об ораторе») в должности цензора издает указ о закрытии латинских риторических школ как заведений, не отвечающих римским нравам. Этим удалось временно покончить с преподаванием латинской риторики, но с тем большим усердием обратились римляне к изучению риторики греческой. С каждым днем все больше молодых людей отправлялось из Рима в Грецию, чтобы у лучших преподавателей учиться греческой культуре слова и мысли»¹³.

Наконец, между 86 и 82 г. до н.э. в Риме получил распространение первый дошедший до нас анонимный учебник риторики на латинском языке «Риторика к Герению». Сочинение это, посвященное представителю плебейского рода Герениев, который был другом вождя популяров Мария, отличалось яркой демократической тенденциозностью. В основе учебника — принцип античных руководств для изучения ораторского искусства (в первой и второй книгах говорится о «нахождении» материала, в третьей — о его расположении, о памяти и произношении речи и в четвертой — о словесном оформлении). «Риторика к Герению» была наполнена ссылками на речи Гракхов, Апулея Сатурнина, Ливия Друза — ораторов, примыкавших к демократическому движению. Этот учебник давал возможность юношам, не знавшим греческого

¹³ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 15—16.

языка и не способным платить греческим учителям, получить достойное политическое образование. Рим семимильными шагами шел к плебейской смуте и крушению древней сенатской республики.

О, сладкое имя свободы!

Cic., Verr., III, 26

ЦИЦЕРОН (106—43 до н.э.)

Вся громкая слава римской риторики может быть обозначена одним звучным именем — *Марк Туллий Цицерон*. Выдающийся оратор и политический деятель, писатель, философ, автор трактатов на темы морали и воспитания, он стал олицетворением целой эпохи в римской истории и самой значительной фигурой в латинском красноречии вообще. Еще в Античности возникла традиция сопоставлений Цицерона с Демосфеном, которой воспользовался Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях». Древние любители афоризмов заметки о Цицероне начинали так: «Тебя, Марк Туллий, Демосфен предвосхитил в том отношении, что ты не первый оратор, а ты его уличил в том, что он не единственный»¹⁴.

По рождению Цицерон не принадлежал к римскому нобилитету, а происходил из «всаднического» сословия города Арпина, поэтому молодому честолюбцу предстоял нелегкий путь завоевания римского форума.

Родители Цицерона мечтали о политическом поприще для своих двух сыновей Марка и Квинта и потому воспользовались столичными связями, чтобы ввести детей в дома известных сенаторов, среди которых были и прославленные своим искусством красноречия *Антоний и Красс* (см. предшествующую главу). В дальнейшем в риторических трактатах Цицерон подробно воссоздал путь молодого провинциала к вершинам политической карьеры и славы в Риме. Он учился у греческих риторов, брал уроки права у обоих Сцевола — прославленного старца, входившего еще в кружок Сципиона, и его бойкого племянника, известного адвоката времен Мария и Суллы. Как впоследствии утверждал сам Цицерон, молодые честолюбцы его времени проходили практическую «выучку на форуме», слушая ораторов и присутствуя на судебных процессах. Путь к вершинам политической власти в Риме издавна пролегал через громкие судебные дела, и Цицерон с завидным рвением занялся адвокатской практикой.

¹⁴ История римской литературы / Под общ. ред. Н.Ф. Дератани. С. 146.

С давних пор известно, что речи судебных ораторов непременно должны касаться таких глобальных категорий общественного устройства, как законность и беззаконие, справедливость и несправедливость, нравственность и имморализм, свобода и необходимость... Все эти категории, на первый взгляд кажущиеся отвлеченными, на самом деле теснейшим образом переплетаются с политическим устройством государства. Громкие политические процессы, к которым так стремился Цицерон, затрагивали не только интересы, но и карьеру и даже вопрос о жизни и смерти тех людей, что находились у власти и обладали громадным могуществом. Адвокату, взявшемуся защищать деревенщину Секста Росция, предстояло столкнуться лицом к лицу с Луцием Корнелием Хрисогоном, влиятельным вольноотпущенником кровавого диктатора Суллы, который первым ввел проскрипционные списки. В деле Росция Цицерон принужден был говорить о состоянии дел в государстве, где «разучились не только прощать проступки, но и расследовать преступления» (Cic., I, I, 3)¹⁵. Это непростое дело скромного провинциала, нашедшего могущественную покровительницу в римской матроне Цецилии, родственнице Суллы, в действительности было тяжбой между представителями старинных римских родов, утративших при Сулле свое влияние, и безродными ставленниками диктатора. Цицерон защищал нобилитет и прекрасно понимал, на что идет. Он сам побывал в Америке, на месте расследовал обстоятельства преступления и просил у суда 108 дней для подготовки процесса. Это было не первое дело молодого адвоката, но первый громкий процесс, после успешного завершения которого Цицерон поспешил покинуть Рим якобы для совершенствования своего образования у философов и риторов Греции.

Такая подготовка была благопристойным поводом для отъезда, поскольку уже в процессе Росция Цицерон показал себя талантливым учеником греков и Молона, у которого получил образование в Риме, и намеревался продолжить обучение на Родосе. Речь Цицерона «В защиту Сеста Росция из Америки» построена по всем правилам ораторского мастерства — с жалобами на молодость и неопытность защитника (IV, 9), увещеванием судей (V, 12), прямыми речами от имени обвиняемого (XI, 32), опровержением доводов обвинения. Кстати, в развенчании утверждений обвинителя Гая Эруция, доказывавшего, что Росций — отцеубийца, Цицерон прибегает к греческому искусству этопеи, опиравше-

¹⁵ Цицерон Марк Туллий. Речи: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 5.

муся на характеристику обвиняемого, который *не мог бы* совершить столь ужасного поступка. Вот как говорит об этом Цицерон: «Обвиняя кого-либо в столь тяжком, столь ужасном, столь исключительном злодеянии, совершаемом так редко, что в случаях, когда о нем слышали, его считали подобным зловещему предзнаменованию, какие же улики, Гай Эруций, по-твоему, должен представить обвинитель? Не правда ли, он должен доказать исключительную преступную дерзость обвиняемого, дикость его нравов и свирепость характера, его порочный и позорный образ жизни, его полную безнравственность и испорченность, влекущие его к гибели? Между тем ты — хотя бы ради того, чтобы бросить упрек Сексту Росцию, — не упомянул ни о чем подобном.

Секст Росций убил своего отца. — “Что он за человек? Испорченный юнец, подученный негодяями?” — “Да ему за сорок лет”. — “Тогда его на это злодеяние, конечно, натолкнули расточительность, огромные долги и неукротимые страсти”. По обвинению в расточительности его оправдал Эруций, сказав, что он едва ли был хотя бы на одной пирушке. Долгов у него никогда не было. Что касается страстей, то какие страсти могут быть у человека, который, как заявил сам обвинитель, всегда жил в деревне, занимаясь сельским хозяйством? Ведь такая жизнь весьма далека от страстей и учит сознанию долга» (XIV, 39). Современному любителю детективных романов такой довод вряд ли покажется убедительным, но во времена Цицерона это была неоспоримая логика.

Важность дела Росция заключалась в том, что, по словам Цицерона, *«после долгого перерыва»* впервые происходил *«суд по делу об убийстве, а между тем за это время были совершены гнуснейшие и чудовищные убийства»* (IV, 11). Защитник намекает на события гражданской войны и сулланские репрессии, обращенные против всех несогласных с диктаторским режимом. Между тем отца обвиняемого, очень богатого по тем временам человека, его дальние родственники с помощью Хрисогона попытались задним числом (т.е. уже после убийства) внести в проскрипционные списки, а имущество, продав за бесценок, распределить между собой. Исполнению замыслов «бесчестных наглецов», как именует их Цицерон, мешал законный наследник, которого и попытались обвинить в отцеубийстве. В данном деле защитник не столько говорит о невиновности обвиняемого — она для всех очевидна, сколько разоблачает алчность преступников, наживающихся на гибели сограждан, и тех, кто пользуется своими связями для сокрытия преступлений. Двадцатисемилетний Цицерон уже твердо убежден, что нет в мире высшей ценности, чем справедливое

государственное устройство, одним из элементов которого является демократический суд. Он обращается к судьям не с лестью, но с требованием «возможно строже покарать за злодеяния, возможно смелее дать отпор наглейшим людям и помнить, что если вы в этом судебном деле не покажете, каковы ваши взгляды, то жадность, преступность и дерзость способны дойти до того, что не только тайно, но даже здесь на форуме, перед твоим трибуналом, Марк Фанний, у ваших ног, судьи, прямо между скамьями будут происходить убийства» (V, 12).

Цицерон вернулся в Рим уже после смерти всесильного диктатора в 79 г. до н.э. и обнаружил, что римляне его не забыли. Едва достигнув минимального возраста, предписанного законом для занятия государственных должностей, он был избран квестором (76 г. до н.э.), а в следующем 75 г. до н.э. получил в управление остров Сицилию. Строгое исполнение обязанностей и личное бескорыстие Цицерона запомнились сицилийцам, и когда они попытались возбудить дело о вымогательстве против наместника Сицилии Гая Верреса, выбор пал на молодого адвоката. Дело осложнялось тем, что Цицерон в этот год претендовал на должность эдила, а его противника Верреса поддерживали оба высших магистрата (консул Квинт Гортензий, самый знаменитый в это время оратор, согласившийся выступить на процессе защитником, и друг Верреса консул Квинт Метелл), а также председатель суда претор Марк Метелл. «...Все предусмотрено, чтобы Верресу ничто не могло повредить», — писал Цицерон (II, IX—X). Но он берется за дело против коррупции на всех уровнях власти и побеждает, в том числе и с помощью остроумия: «Гай Веррес не раз говорил в Сицилии в присутствии многих людей, что за ним стоит влиятельный человек, полагаясь на которого он может грабить провинцию, а деньги он собирает не для одного себя; что он следующим образом распределил доходы от своей трехлетней претуры в Сицилии: он будет очень доволен, если доходы первого года ему удастся обратить в свою пользу; доходы второго года он передаст своим покровителям и защитникам; доходы третьего года, самого выгодного и сулящего наибольшие барыши, он полностью сохранит для судей. <...> теперь, при наличии таких судов, каждый забирает столько, чтобы хватило ему самому и его покровителям, его заступникам, претору и судьям; этому, разумеется, и конца нет; по словам чужеземных народов, они еще могут удовлетворить алчность самого алчного человека, но оплатить победу тяжело виновного они не в состоянии» (XIV, 40—41).

После этой речи Веррес облачился в черное и удалился в добровольное изгнание. В пользу сицилийцев с обвиняемого было взыскано 40 000 000 сестерциев. Все пять речей «Против Верреса» Цицерон впоследствии опубликовал, и они могут служить прекрасным историческим документом об управлении провинциями римскими наместниками. Правда, оратор нередко преувеличивает, как в случае обвинения Верреса в похищении предметов искусства: «Я утверждаю, что во всей Сицилии, столь богатой, столь древней провинции, в которой так много городов, так много таких богатых домов, не было ни одной серебряной, ни одной коринфской или делосской вазы, ни одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного предмета из золота или из слоновой кости, ни одного изображения из бронзы, из мрамора или слоновой кости, не было ни одной писанной красками или тканой картины, которых бы он не разыскал, не рассмотрел и, если они ему понравились, не забрал себе» (III, 1, 1). Это известный художественный прием, привычная для античного красноречия *амплификация* (т.е. *увеличение, раздувание*). В области использования амплификации Цицерону нет равных. Недаром спустя сто лет известный ритор Квинтилиан, сопоставляя стили Демосфена и Цицерона, говорил, что у первого «ничего нельзя сократить», а ко второму «ничего нельзя прибавить». Когда Цицерон пускается в перечисление, вряд ли найдется эрудит, способный с ним соперничать. Смысл данного приема лежал, конечно, не в демонстрации словарного запаса оратора, а в нагнетании с помощью перечисления эмоционального накала, которым обвинитель собирался увлечь публику. Цицерон справлялся с этим блистательно; как он утверждает в «Ораторе», в больших процессах, где выступало много ораторов, ему всегда поручалась заключительная, наиболее эмоциональная речь (Ог., 37, 130).

В речах против Верреса Цицерон блистательно доказывает, что он первый оратор в Риме. Гортензий не способен соперничать с этим «новым» на форуме человеком. Политическая карьера Цицерона стремится ввысь: в 66 г. до н.э. в должности претора он произносит свою первую чисто политическую речь в поддержку Гнея Помпея, приверженность которому Цицерон сохранял всю жизнь, несмотря на превратности римской политической жизни. В результате Помпей получил чрезвычайную власть в войне с понтийским царем Митридатом, и интересы римского всадничества и сенаторов на Востоке были защищены.

Следующим этапом должно было стать консульство. В 63 г. до н.э. Цицерон достигает должности высшего римского магистрата. В одном из сохранившихся до наших дней отрывков V книги трактата Цицерона «О государстве» оратор утверждает, что «правитель государства должен быть мужем великим и ученейшим, соединять в себе и мудрость, и справедливость, и умеренность, и красноречие, плавный бег которого позволил бы ему изъяснять свои сокровенные мысли, чтобы возглавить народ» (V, 1, 2). Цицерон обладает качествами философа, политика, теоретика, практика и должен стать тем, кого сам впоследствии назовет «*tutor et curator rei publicae* (блюститель и попечитель государства), *rector* (правитель), *princeps rei publicae* (первый человек в государстве)». Он намерен воплотить в жизнь политическую идею «согласия сословий», способствующую умиротворению государства.

Политические воззрения Цицерона сводились к идеалу общественного равновесия; ему хотелось удовлетворить требования всех социальных сил, вовлеченных в конфликт гражданской войны; его преклонение перед законностью и традицией не позволяло ему вести политическую борьбу с соперниками на равных. «“Согласие сословий” (*concordia ordinum*), или, вернее, “согласие всех честных граждан” (*consensus omnium bonorum*), было его программой: в годы самой жестокой междоусобицы он выступил с лозунгом всеобщего примирения. Конечно, это было утопией, — пишет М.Л. Гаспаров. — ...Впечатлительность и склонность к увлечению сочетались в нем с пытливой рассудочностью, рефлексией, самоконтролем; философия и риторика учили его взвешивать и учитывать все доводы за и против; и каждое решение требовало от него стольких оговорок перед самим собой, что всякий раз он безнадежно упускал и время и обстоятельства, делал шаг не нужный, а вынужденный, и оставался ни с чем, недовольный сам собой и пренебрегаемый политическими партнерами»¹⁶. Цицерон был лучшим писателем своего времени, но ему не дано было стать политическим вождем.

Для того чтобы сплотить все сословия на защиту государства, Цицерон-консул воспользовался призраком анархии. Под конец 63 г. до н.э. ему удалось раскрыть политический заговор Катилины, целью которого было свержение законной власти. В случае с заговором Катилины у специалистов-историков существует гораздо больше вопросов, чем документально подтвержденных

¹⁶ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 27.

ответов. Помимо Цицерона об этом предмете красноречиво писал Гай Саллюстий Крисп, но позиции обоих авторов откровенно тенденциозны, факты изукрашены риторическими красотами, о сомнительности которых уже немало говорилось на страницах этого пособия.

Достоверно мы можем утверждать только то, что 8 ноября 63 г. до н.э. в храме Юпитера Статора Цицерон выступил перед римским сенатом с первой речью «Против Луция Сергия Катилины», в которой не содержалось почти никаких доказательств обвинения, но которая являла собой шедевр ораторского искусства. Цицерон начинает свое обвинение серией *патетических риторических вопросов*: «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды?» И далее риторический вопрос дополняется выразительной *анафорой*, недостаточно выраженной в русском переводе, но в оригинале начинающейся словом *nihil* (нисколько, совсем не): «*Неужели* тебя *не* встревожили *ни* ночные караулы на Палатине, *ни* стража, обходящая город, *ни* страх, охвативший народ, *ни* присутствие всех честных людей, *ни* выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, *ни* лица и взоры¹⁷ всех присутствующих? *Неужели* ты *не* понимаешь, что твои намерения открыты? *Не* видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, *не* знает, что делал ты последней, что предыдущей ночью, где ты был, кого созывал, какое решение принял?» Нагнетаемое *перечислением* эмоциональное напряжение разрешается выразительным и скорбным *афоризмом*: «О времена! О нравы!», за которым следует не менее выразительная *антитеза*: «Сенат это *понимает*, консул *видит*, а этот человек еще *жив*». Глагольные формы, стоящие в конце каждого *колона* (лат. *tembrum*), удачно подчеркивают *ритмическое членение* антитезы и продолжают ритмику перечисления, соединенную с *градацией* в сочетании с *коррекцией* (поправкой): «Да разве только жив? Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных дел, намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит, а мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его

¹⁷ Так В.О. Горенштейн перевел «ora vultusque» — слова смежного значения, употребленные рядом для усиления эффекта, что в риторике называлось фигурой *гендиадис*. Другой вариант перевода — «выражение лиц» — тоже не передает колорит оригинала.

оружия». Последнее предложение, помимо указанных приемов, содержит еще *иронию* («а мы, храбрые мужи...») и *специальную лексику жрецов*, ведущих жертвенное животное на заклание («намечает и указывает своим взглядом») (9, I, 1—2).

Столь эмоциональный всплеск, однако, не опирается ни на один из реальных доводов, поскольку ниже Цицерон переходит к *историческим аналогиям* о расправах олигархов над демократическими вождями, пытавшимися «произвести *лишь незначительные* изменения в государственном строе, а Катилину, *страстно стремящегося резней и поджогами весь мир превратить в пустыню*, мы, консулы, будем терпеть?» Историческая аналогия — излюбленный метод Цицерона, поскольку его идеальное государство, как и у предшествующих греческих аналитиков (ср. Исократ), находится в прошлом. Мудрые предки должны послужить образцом неразумным потомкам. История — учитель жизни. Само же обвинение против Катилины, опирающееся на чистую эмоцию (действительно, для чего заговорщикам «весь мир превращать в пустыню?»), теряется в этой обойме исторических и правовых доводов (I, 3—II, 4).

Из речи, произнесенной консулом, ясно одно — Катилина замыслил «резню и поджоги» (III, 6). Главным доказательством замыслов служит преступный характер обвиняемого: «Есть ли позорное клеймо, которым твоя семейная жизнь не была бы отмечена? Каким только бесстыдством не ослабил ты себя в частной жизни?» Этопоя обращается в *инвективу* — самый распространенный жанр исконно римского фольклора. Другим литературным приемом является *персонификация*, или *олицетворение*, введенное Цицероном в VII книге: «Но теперь отчизна, наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не помышляешь ни о чем другом, кроме отцеубийства. И ты не склонился перед ее решением, не подчинишься ее приговору, не испугаешься ее могущества? Она так обращается к тебе, Катилина, и своим молчанием словно говорит: “Не было в течение ряда лет ни одного преступления, которого не совершил ты; не было гнусности, совершенной без твоего участия; ты один безнаказанно и беспрепятственно убивал многих граждан, притеснял и разорял наших союзников; ты оказался в силах не только пренебрегать законами и правосудием, но также уничтожать их и попираять. Прежние твои преступления, хотя они и были *невыносимы*, я все же терпела, как могла; но теперь то, что я вся охвачена страхом из-за тебя одного, что при малейшем лязге оружия я испытываю

страх перед Катилиной, что каждый замысел, направленный против меня, кажется мне порожденным твоей преступностью, — все это нестерпимо. Поэтому удались и избавь меня от этого страха; если он справедлив, чтобы мне не погибнуть; если он ложен — чтобы мне, наконец, перестать бояться”. Если бы отчизна говорила с тобой так, неужели ты не должен был бы повиноваться ей, даже если бы она не могла применить силу?» (VII, 18—VIII, 19). В уста *персонифицированной* отчизны, столь красноречиво вызывающей к Катилине, Цицерон вкладывает собственный страх и собственное требование к обвиняемому покинуть пределы городских стен. Только то, что лично трогает оратора и писателя, может затронуть живые струны слушателя и читателя. Оратора здесь не смущают парадоксальные соединения взаимоисключающих понятий («своим молчанием словно говорит» — *quodam modo tacita locuitur* — *оксюморон*). В дальнейшем Цицерон доводит и *антитезу* до *оксюморонного сочетания*, создавая иллюзию всенародной поддержки собственной вражды к Катилине и необходимости его изгнания из Города: «Но когда дело идет о тебе, Катилина, то сенаторы, *оставаясь безучастными, одобряют (sit tacet, clamant)*; *слушая, выносят решение; храня молчание, громко говорят*, и так поступают не только эти вот люди, чей авторитет ты, по-видимому, высоко ценишь (?!!), но чью жизнь не ставишь ни во что...»

По ходу речи Цицерон сам приходит к естественному вопросу, почему он, консул, уличающий Катилину в чудовищном заговоре против Римского государства, требует лишь его изгнания? «Неужели ты не повелишь заключить его в тюрьму, повлечь на смерть, предать мучительной казни?» (XI, 27) — вопрошает он самого себя с помощью *градации*, или *климакса*, фигуры, основанной на нарастании эмоционально-смысловой значимости. В этой фразе намеренно опущены союзы, что придает ей особую упругость и в риторической практике именуется фигурой *асиндетон*. Но фактических обвинений против Катилины нет. Они заменены предсказаниями (XIII, 33), сравнениями (XIII, 31), божбой («клянусь Геркулесом» — VII, 17), метафорами и прочими стилистическими красотами.

Поразительный эффект первой речи заключался в том, что, как рассказывает сам оратор, «Катилина, человек небывалой наглости, онемел перед нашим обвинением в сенате» (Cic., Or., 37, 129) и покинул пределы Рима в ночь на 9 ноября. Утром Цицерон выступил на форуме и сообщил народу о своих действиях во второй речи «Против Катилины». Победоносно звучит в этой

речи цicerоновский *асиндетон* (бессоюзие): «Он ушел, удалился, бежал, вырвался» (10, I, 1). Разумеется, речь идет о Луции Катилине, обличительный заряд характеристике которого придает особый строй риторической фразы с подчеркнутыми глагольными формами, как *инверсия*: «Катилину, *безумствующего* в своей преступности, злодейством *дышащего*, гибель отчизны нечестиво *замышляющего*, мечом и пламенем вам и этому городу *угрожающего*, мы, наконец, из Рима изгнали или, если угодно, *выпустили*, или, пожалуй, при его добровольном отъезде *проводили* напутственным словом». Последнее — чистая правда. После отъезда противника Цицерон ощущает себя гораздо более уверенно и начинает создавать апологию собственного деяния. Это особенно ощутимо в великолепной этической антитезе XI книги Второй катилинарии: «Ведь на нашей стороне сражается чувство чести, на той — наглость; здесь — стыдливость, там — разврат; здесь — верность, там — обман; здесь — доблесть, там — преступление; здесь — непоколебимость, там — неистовство; здесь — честное имя, там — позор; здесь — сдержанность, там — распушенность; словом, справедливость, умеренность, храбрость, благоразумие, все доблести борются с несправедливостью, развращенностью, леностью, безрассудством, всяческими пороками; наконец, изобилие сражается с нищетой, порядочность — с подлостью, разум — с безумием, наконец, добрые надежды — с полной безнадешностью. Неужели при таком столкновении, вернее, в такой битве сами бессмертные боги не даруют этим прославленным доблестям победы над столькими и столь тяжкими пороками?» (XI, 27).

Наконец, в ночь со 2 на 3 декабря были получены прямые улики против заговорщиков. Сторонникам Цицерона удалось перехватить письма, которые к Катилине везли из Рима послы галльского племени аллоброгов. Цицерон арестовал оставшихся в Городе заговорщиков Лентула Суру, Цетегу, Габиния и Статилия и доложил о происшедшем народу в Третьей катилинарии. Собравшийся 3 декабря сенат лишил Суру звания претора, объявил Цицерона «отцом отечества» и назначил благодарственное молебствие богам за спасение государства. 4 декабря сенат объявил заговорщиков врагами государства, а 5 декабря в храме Согласия сенаторы решали вопрос о казни арестованных. Цицерон выступил с Четвертой катилинарией в поддержку предложения Децима Силана о казни без суда решением консула, наделенного чрезвычайными полномочиями (*senatus consultum ultimum*). Он, консул, «отец отечества», «спаситель государства», претерпевший на

этой стезе многочисленные лишения и свершивший все ценой опасностей, еще не догадывался, что пик его политической карьеры пройден и теперь его путь лежит под уклон.

Как рассказывает Плутарх, «в ту пору влияние и сила Цицерона достигли предела, однако же именно тогда многие прониклись к нему неприязнью и даже ненавистью — не за какой-нибудь дурной поступок, но лишь потому, что он без конца восхвалял самого себя. Ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось собраться и разойтись, не выслушав еще раз старой песни про Катилину и Лентула. Затем он наводнил похвальбами свои книги и сочинения, а его речи, всегда такие благозвучные и чарующие, сделались мукою для слушателей — несносная привычка въелась в него точно злая язва» (Plut., Cic., 24).

«Согласие сословий» оказалось мифом. Демократическая партия начала травить Цицерона еще до окончания срока консульства (Plut., Cic., 23). Вернувшийся с Востока Помпей не поддержал Цицерона, поскольку вступил в более выгодный союз с Крассом и Цезарем (60 г. до н.э. — Первый триумvirат). Понятно, что в этой ситуации Цицерону приходилось искать различные компромиссы. Поддерживая в деле Катилины своего помощника Мурену, претендовавшего на консульство в 62 г. до н.э. и обвиненного в подкупе избирателей (*de ambitu*), «Цицерону пришлось не столько доказывать слушателям невиновность Мурены, сколько ошеломлять их блеском своих аргументов; речь вызвала неодобрение строгого Катона, но Мурена был оправдан»¹⁸.

Как адвокат и политический оратор Цицерон все чаще защищает людей, чьи поступки и нравственные качества кажутся ему, мягко выражаясь, сомнительными. Философский *релятивизм* и *скептицизм*, лежащие в основе риторики как определенного вида деятельности, позволяют оратору превращать безнравственное в нравственное только с помощью блистательной словесной эквилибристики. Так происходит с Мунацием, Крассом, Публием Сестием... Эти выступления Цицерона все более расширяют пропасть между ним и старой аристократией, за неизбежность власти которой оратор выступал в самые напряженные периоды своей биографии. И сам Цицерон немало способствует ожесточению окружающих едким и беспощадным *остроумием*. По словам Плутарха, «он хвалил Марка Красса, и эта речь имела

¹⁸ Грабарь-Пассек М.Е. Марк Туллий Цицерон // Цицерон Марк Туллий. Речи: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 37.

большой успех, а несколько дней спустя, снова выступая перед народом, порицал Красса, и когда тот заметил ему: “Не с этого ли самого места ты восхвалял меня чуть ли не вчера?” — Цицерон возразил: “Я просто-напросто упражнялся в искусстве говорить о низких предметах”» (Plut., Cic., 25). Тот же Плутарх утверждает, что именно остроумие Цицерона сделало его врагом Клодия Пульхра (Plut., Cic., 29—30), по предложению которого в 58 г. до н.э. был принят закон, осуждавший консуляра за казнь без суда сторонников Катилины. Цицерон, опасаясь худшего исхода, добровольно покинул Рим, после чего его дом в Городе и усадьбы были разрушены, а имущество конфисковано в казну.

Свое изгнание, продолжавшееся более полутора лет, Цицерон переживал чрезвычайно тяжело, забрасывал письмами влиятельных людей, жаловался и сулил услуги своего красноречия политическим противникам, нередко тем, кто нарочито способствовал осуждению победителя Катилины. Среди таких «влиятельных» были Помпей и Цезарь, милостиво поддержавшие закон 57 г. до н.э. Публия Корнелия Лентула Спинтера о возвращении Цицерона в Рим и возмещении ему убытков. Позднее Цицерон опишет свое возвращение как триумфальное единение «отца отечества», спасшего государство, и благодарного римского народа, но бывшее политическое могущество уже утрачено, и оратор в политических речах будет угождать и низко лстить триумвирам — самым могущественным людям в Риме. В речи «О консульских провинциях» он попытается соединить несоединимое — отомстить Габинию и Писону, в чье консульство трибун Клодий принял закон об изгнании Цицерона, и выполнить обязательства перед Цезарем, не менее способствовавшим некогда Клодию. Сенат рассматривает закон о продлении полномочий проконсулов Габиния, Писона и Цезаря в провинциях Сирия, Македония и Галлия. Цицерон намерен отобрать Сирию и Македонию у Габиния и Писона, но оставить Галлию за Цезарем. Поэтому в речи «О консульских провинциях» за **погосом** следует **энкомий**, но инвектива и похвала обрамлены признаниями, оправданиями, восхвалениями собственных подвигов Цицерона. Марк Туллий и прежде не забывал говорить о себе даже в самых отвлеченных случаях, но, видимо, такова тенденция римской культуры конца республики, продиктованная философией и этикой стоицизма, когда сама личность художника становится предметом лирической поэзии Катулла и художественной прозы Цицерона.

Оратору недостаточно «заклеймить Габиния и Писона, этих двух извергов, можно сказать, могильщиков государства...» (21, I, 2) с помощью этой красноречивой метафоры. Он описывает их консульство — год своего изгнания — как разразившуюся бурю, когда «настал мрак для честных людей, ужасы внезапные и непредвиденные, тьма над государством, уничтожение и сожжение всех гражданских прав, внушенные Цезарю опасения насчет его собственной судьбы, боязнь резни у всех честных людей, преступления консулов, алчность, нищета, дерзость!» (21, XVIII, 43). Эта *развернутая метафора*, вероятно, предназначена для описания состояния души Цицерона, поскольку ни один из римских историков не описывает консульство Габиния и Писона как время насилия и беззакония. *Амплификация* вновь создается с помощью перечисления, нагнетающего эмоциональную атмосферу; с той же целью введены и ряды синонимов («внезапные и непредвиденные», «уничтожение и сожжение») и прочие приемы, характерные для устной речи, т.е. рассчитанные на слуховое восприятие.

Цицерон в этой речи дважды использует прием *претериции* (букв. «прохождение мимо»), когда утверждает, что, внося свое предложение о Габинии и Писоне, «не станет слушаться голоса обиды и гневу не поддастся» (21, I, 2), а затем две следующие книги посвящает *инвективе* против них, обвиняя в самых тяжких преступлениях. И закругляет все новой *претерицией*: «Обо всем этом (т.е. о том, что уже сказано. — Е.К.) я умалчиваю не потому, что преступления эти недостаточно тяжки, а потому, что выступаю теперь, не располагая свидетельствами» (21, III, 6).

В той же речи Цицерон создает энкомий здравствующему Цезарю¹⁹, используя мифологему о любимце Фортуны: «Даже если бы Гай Цезарь, украшенный величайшими дарами Фортуны, не хотел лишний раз искушать эту богиню, если бы он торопился с возвращением в отечество, к богам-пенатам, к тому высокому положению, какое, как он видит, его ожидает в государстве, к дорогим его сердцу детям, к прославленному зятю, если бы он

¹⁹ Напомню, что энкомии Исократы всегда посвящались покойным царям, в облике которых греческий оратор хотел создать идеал — пример для потомков. Что до Цезаря, то один из сенаторов прерывает речь Цицерона некоторыми напоминаниями оратору. «Этот честнейший муж утверждает, что мне бы не следовало относиться к Габинию более враждебно, чем к Цезарю; по его словам, вся та буря, перед которой я отступил, была вызвана по наущению и при пособничестве Цезаря. Ну, а если бы я прежде всего ответил ему, что придаю общим интересам больше значения, чем своей личной обиде?» — с трудом отбивается Цицерон.

жаждал въезда в Капитолий в качестве победителя, имеющего необычайные заслуги, если бы он, наконец, боялся какого-нибудь случая, который уже не может прибавить ему столько, сколько может у него отнять, то нам все же следовало бы хотеть, чтобы все начинания были завершены тем самым человеком, которым они почти доведены до конца. Но так как Гай Цезарь уже давно совершил достаточно подвигов, чтобы стяжать славу, но еще не все сделал для пользы государства и так как он все же предпочитает наслаждаться плодами своих трудов не ранее, чем выполнит свои обязательства перед государством, то мы не должны ни отзываться императора, горящего желанием отлично вести государственные дела, ни расстраивать весь почти уже осуществленный план ведения галльской войны и препятствовать его завершению» (21, XIV, 35). Благодаря этой речи Цезарь получил продление своих полномочий на пять лет, восхваляемый здесь же за «доблесть и величие духа Гней Помпей» (21, XI, 27) достиг вершины своей популярности в Риме, и только Цицерон был обшикан сенаторами, не раз прерываемый во время своей речи (21, XII, 29; XVII, 40). Он еще не допускал мысли, что возвращенная без его участия трехголовая гидра пожрет и самое себя, и римскую республику, и самого Оратора...

Главная политическая речь Цицерона в эти годы — речь в уголовном суде «В защиту Милона», где оратор пытается оправдать убийцу своего главного политического противника Клодия. Он намерен доказать, что в стычке с Клодием, результатом которой стала смерть последнего, Милон только защищался. Эта виртуозная речь — лучшее из того, что делает Цицерон в 50-е гг. до н.э. Приведу пример построенной на *ассонансах* и *аллитерациях ритмизированной антитезы* речи: «Стало быть, судьи, есть такой закон: не нами писанный, а с нами рожденный; его мы не слышали, не читали, не учили, а от самой природы получили, почерпнули, усвоили; он в нас не от учения, а от рождения, им мы не воспитаны, а пропитаны; и закон этот гласит: если жизнь наша в опасности от козней, от насилий, от мечей разбойников или недругов, то всякий способ себя оборонить законен и честен. **Когда говорит оружие, законы молчат**» (IV, 10)²⁰. Но процесс безнадежно проигран. Милон осужден и вынужден проводить изгнание в Массилии. Историки запомнили сказанную Милоном уже в изгнании фразу,

²⁰ Цицерон Марк Тулий. В защиту Тита Анния Милона / Пер. М.Л. Гаспарова // Юшенкова М.А., Мирошенкова В.И. Античная литература. Рим: Хрестоматия. М., 1981. С. 203.

которую он произнес, прочитав речь Цицерона в его защиту в том виде, в котором она была опубликована автором: «Если бы он произнес именно такую речь, мне не пришлось бы отведавать рыбы, которая ловится здесь в Массилии» (Cass. Dio, 40, 54). Вероятно, литературная и редакторская обработка речей при публикации была настолько значительной, что письменный вариант существенно отличался от устного.

Отстраненный от политической жизни Цицерон все больше времени посвящает ученым занятиям. В эти годы он создает знаменитую политическую трилогию «Об ораторе», «О государстве», «О законах», куда М.Л. Гаспаров справедливо включает трактат по риторике²¹, ведь для лучшего оратора эпохи политический деятель, лишенный красноречия, таковым не является. В своем знаменитом сочинении «*Об ораторе*», восходящем к традициям философского диалога Платона и Аристотеля, Цицерон создает образ оратора-политика и правозащитника, который знаком со всеми науками, ибо они дают ему методику мышления и материал для его речей (I, 45—73). Свои излюбленные философские идеи, посвященные роли ораторского искусства в римской политической жизни, Цицерон вкладывает в уста Луция Лициния Красса, консула 95 г. до н.э., в доме которого Марк Туллий получил первые уроки философии, политики, риторики...

Философы утверждали, что риторика не есть наука, риторы твердили обратное; герой диалога Цицерона Красс предлагает компромиссное решение: риторика не есть истинная, т.е. умопостигаемая, наука, но она представляет собой практически полезную систематизацию ораторского опыта (I, 107—110). Практик римского форума Цицерон далек от мировоззренческих споров философов и риторов греческой классики, поэтому он примиряет, с одной стороны, софистов с Сократом и Платоном (на том основании, что Сократ был лучшим оратором из всех риторов, а «Федр» Платона есть блестящий образец той же философской риторики), а с другой — Аристотеля с Исократом, поскольку все они для него символы великого греческого искусства и образцы для подражания римлян.

Вопрос о нравственной сути виртуозного владения словом решается Цицероном очень конкретно, согласно идеалу политического оратора времен Сципиона и Катона. «Цицерон возвращается и к риторическому идеалу той же поры — его оратор не кто

²¹ См.: Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 34.

иной, как *vir bonus dicendi peritus*, для него красноречие имеет цену только в сочетании с политической благонадежностью, а само по себе оно есть опасное оружие, одинаково готовое служить добру и злу. Когда между благонадежностью и красноречьем происходит разрыв, это всегда оказывается пагубно для государства: таково демагогическое красноречие вождей демократов — Тиберия Гракха в старшем поколении или Сульпиция Руфа в младшем; оба были замечательными ораторами, но оба погубили в конце концов и себя, и республику»²².

Подобно греческим философам, Цицерон не находит нравственных критериев внутри самой риторики. Он ограничивается утверждением, что речь оратора должна служить только высоким и благородным целям, а обольщать судей красноречьем столь же позорно, как и подкупать их деньгами²³.

Прообразы своих идеальных политиков Цицерон находит не столько в римской, сколько в греческой древности. Это философы-политики, герои, соответствующие древнему идеалу ἀνὴρ πολιτικός — «общественного человека»: Перикл, ученик Анаксагора, Алкивиад и Критий, ученики Сократа, Дион и Демосфен, ученики Платона, Тимофей, ученик Исократ (III, 138—139). Возвращение к единому источнику государственной мудрости греческих и римских властителей Цицерон считает залогом общего блага.

Задача воспитания политического вождя лежит не в том, чтобы научить его красивой речи. Он должен знать многое и многое, чему не учат в риторических школах: «...с одной стороны, греческую философскую теорию, т.е. учение о единении граждан вокруг принципа равновесия и справедливости, с другой стороны, римскую политическую практику, т.е. традицию просвещенной аристократии Сципиона и его кружка, последователем которой считал себя Цицерон. Только это соединение красноречия со знанием и опытом создаст политического вождя: одна риторика здесь бессильна. Поэтому Цицерон и взял названием своего сочинения не традиционное заглавие “Риторика” или “О красноречии”, а неожиданное — “Об ораторе”»²⁴. Ритор же не способен стать тем политическим вождем, который нужен Риму: он будет не властвовать над событиями, а покоряться им и принесет своими речами не пользу, а вред государству.

²² Гаспаров М.Л. Указ. соч. С. 35.

²³ См.: Цицерон. О государстве, V, 9, 11; Цицерон. Об ораторе, III, 55.

²⁴ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 37.

Во введении к диалогу Красса и Антония Цицерон задается вопросом, почему красноречием занимаются столь многие, а успеха достигают в нем лишь единицы? И сам на него отвечает: потому что красноречие — труднейшее из искусств, так как требует от оратора знаний сразу по многим наукам, каждая из которых сама по себе уже значительна (I, 6—20). Красноречие — вершина науки, утверждает Цицерон. В мире скепсиса, где все истины науки относительно, одни истины красноречия абсолютны, ибо они убедительны. В этом высшая гордость оратора. Подобная концепция риторики могла возникнуть из сплава скептицизма и стоицизма, которым следовал Цицерон. Как последователь **скептика** Филона Цицерон придерживается широко известных в период эллинизма взглядов: критериев истинности познания для него нет, бытие божества недоказуемо, рока не существует, а человеческая воля свободна. В вопросах практической философии Цицерон — **стоик**: его этика строится на основании представления о природе, руководимой разумом, и о четырех добродетелях души (мудрость, справедливость, мужество, умеренность), диктующих человеку его нравственный долг, исполнение которого дает счастье.

Все эти философские вопросы были сосредоточены автором в первой книге диалога «Об ораторе», где Антоний и Красс в споре находят истину. Во второй книге Антоний рассуждал о нахождении, расположении, памяти и, что особенно интересно, об иронии и остроумии — материале, наименее поддающемся логическому схематизированию (II, 216—217) (т.е. о вопросах ремесла, которое Цицерон обозначил греческим словом *τεχνολογία*). В третьей книге Красс, продолжая разговор о ремесле, рассуждает о словесном выражении и о произнесении.

В целом книга «Об ораторе» говорила об образовании оратора истинного, идеального и совершенного. Следующий трактат «Брут» помимо споров с аттицистами, о которых речь пойдет в следующей главе, посвящался становлению национального красноречия и строился на продуманной картине исторического прогресса. Последний — «Оратор» — завершал картину риторической системы Цицерона. Умудренный опытом великий прозаик своей эпохи рассуждал о трех стилях красноречия, об уместности, ритме, словесном выражении и других практических вопросах риторики.

В трактате по истории римского красноречия «Брут» (46 г. до н.э.) Цицерон заметит: «Ни те, кто заняты устройством государства, ни те, кто ведут войны, ни те, кто покорены и скованы царским

владычеством, не способны воспылать страстью к слову. Красноречие — всегда спутник мира, товарищ покоя и как бы вскормленник благоустроенного государства» (45). Его красноречию оставалось цвести менее трех лет, но эти три года показали миру, что размышления Цицерона по поводу истинного оратора — не громкая фраза. Он, долгие годы уступавший сильнейшим, искавший компромиссы, оказался последним и единственным идейным вождем и защитником римской республики.

Вернувшись из Киликии, Цицерон нашел Рим на пороге гражданской войны. Два бывших триумвира (Марк Красс погиб в Парфии в 53 г. до н.э.) и недавних родственника (в 54 г. до н.э. умерла Юлия, дочь Цезаря и жена Помпея) Гай Юлий Цезарь и Гней Помпей Великий решили с помощью вверенных им легионов выяснить, кому из них будет принадлежать власть в государстве, еще недавно считавшемся свободным. Цицерон долго колебался. Он все надеялся на возможность примирения даже тогда, когда Помпей и сенат бежали в Грецию, а Цезарь с легионами громил сторонников сената на земле Италии. Перед решающей битвой Цицерон оказался в лагере Помпея, но все там раздражало его и вызывало саркастические замечания (см.: Plut., Cic., 38). После Фарсальского разгрома Помпея и сената Цицерон вернулся в Италию, год ждал прощения от Цезаря в Брундизии, но, увидев его «уважение и дружелюбие», вернулся к своим ученым занятиям. Он использовал римский форум, чтобы стать единственным защитником знатных республиканцев перед диктатором. Его речи «За Лигария», «За Марцелла» полны лести Цезарю, которая особо неприятно поражает на фоне знаменитых писем, где Цицерон называет нового властителя Рима кровавым тираном, Писистратом, Фаларисом, а его правление — «царской властью». Подобного обвинения в римской республике было достаточно для насильственного устранения обвиняемого. Итак, публично восхвалявший Цезаря Цицерон все же имел гражданское мужество высказаться в защиту политических врагов диктатора и, по общему признанию, стал идеологом заговорщиков-республиканцев, зарезавших Цезаря в сенате 15 марта 44 г. до н.э.

После гибели Цезаря дальнейшая судьба государства на римском форуме решилась с помощью риторики, и народ предпочел Бруту, изящному и сдержанному носителю идеи абстрактной свободы, эмоционального и напористого демагога Антония, который посулил толпе завещанные Цезарем деньги. К сожалению, об этих речах сохранились лишь отрывочные заметки в исторических сочинениях Плутарха, Светония, Аппиана, Диона Кассия

и др. Смысл этой борьбы гениально уловил У. Шекспир в III акте трагедии «Юлий Цезарь». Формально Цицерона не было среди заговорщиков и в трагедии, непосредственно развернувшейся после мартовских ид, он не участвовал. Его прощальный выход был запланирован на сентябрь 44 г. до н.э.; 2 сентября он выступил перед сенатом с «Первой филиппикой против Марка Антония».

К этому времени Антоний понял, что республиканские идеалы оказались фанатической верой замкнутой касты заговорщиков, а власть в Вечном городе могла быть присвоена любым удачливым авантюристом, чем он и воспользовался. Начальник конницы диктатора Антоний был при Цезаре вторым лицом в государстве и благодаря этому завладел архивами, дневниками и частью денег Цезаря. От имени поверженного диктатора он стал проводить в жизнь выгодные для себя политические решения и указы.

Цицерон, отношения которого с Антонием к этому времени обострились, выступает с «Первой филиппикой» именно против этих «замогильных» законов Антония. Прибегнув к *эпифоре* (противоположность *анафоры*), Цицерон остроумно разоблачает козни Марка Антония: «Изгнанников возвратил умерший (*a mortuo*); не только отдельным лицам, но и народам и целым провинциям гражданские права даровал умерший; представлением неограниченных льгот нанес ущерб государственным законам умерший» (10, 24). Цицерон не просто ставит под сомнение эти Антониевы происки, но доказывает, что они не имеют никакого отношения к убитому, ибо, «если бы ты спросил самого Цезаря, что именно совершил он в Риме, нося тогу, он ответил бы, что законов он провел много и притом прекрасных...» (7, 19). Это не панегирик умершему диктатору, а дань уважения ему как патриоту государства. Что касается оценки деятельности Цезаря-политика, то Цицерон считает ее антиобщественной и аморальной, а его убийц называет «освободителями отечества», их деяние — «величайшим и прекраснейшим поступком». Говоря о роли узурпатора прав сограждан, Цицерон прибегает к серии выразительных антитез, украшенных цитатой из трагедии Акция «Атрей»: «Пользоваться любовью у граждан, иметь заслуги перед государством, быть восхваляемым, уважаемым, почитаемым — все это и есть слава; но внушать к себе страх и ненависть тяжело, отвратительно; это признак слабости и неуверенности в себе. Как мы видим также и в трагедии, это принесло гибель тому, кто сказал: “Пусть ненавидят, лишь бы боялись!” <...> Ведь те, кто думают, что он (Цезарь. — Е.К.) был счастлив, сами несчастны. Не может быть счастлив человек, который находится в таком положении, что его могут

убить, уже не говорю — безнаказанно, нет, даже с величайшей славой для убийцы» (14, 34—35). Республиканские воззрения Цицерона определяют его позицию, и надо признать, что сходные идеи звучат во многих трактатах Макиавелли, который стал автором самого громкого политического трактата, поскольку был внимательным читателем Цицерона.

В этой речи Цицерон намерен «свободно высказывать все, что думает о положении государства». Это был величайший акт гражданского мужества, ибо опытный политик, проживший жизнь на римском форуме, Цицерон не мог не понимать, что Антоний и для государства, и для него лично представлял гораздо большую опасность, чем Катилина. Но оратор принял вызов и довел свою борьбу до конца.

На речь Антония в сенате 19 сентября Цицерон ответил **памфлетом** «Вторая филиппика против Марка Антония», написанным в виде речи. Это блистательный образец ораторского искусства, сопоставимый только с лучшими речами Демосфена против царя Филиппа. Гений Цицерона здесь сдержан, могуч и прекрасен в своей соразмерности. Вся палитра ораторских приемов и риторических ухищрений представлена в лучших проявлениях. Цицерон начинает с апологии себя, но это апология защитника законности и гражданских интересов, который отстаивает свою позицию только с помощью красноречия. Почему «на протяжении двадцати лет не было ни одного врага государства, который бы в то же время не объявил войны мне?» Ответом на вопрос является содержание «Второй филиппики».

19 сентября Антоний упрекнул Цицерона, что Цезарь якобы был убит по наущению Оратора. «Боюсь, как бы не показалось, отцы-сенаторы, будто я — а это величайший позор — воспользовался услугами человека, который под видом обвинения превозносит меня не только за мои, но и за чужие заслуги», — отвечает он (11, 25). И далее звучит прославление тираноубийства; Оратор уверен, что «все честные люди, насколько это зависело от них, убили Цезаря», а Брута считает своим духовным наследником и соперником в славных делах, совершенных на государственном поприще (12, 28—30). Цицерона не было среди убийц Цезаря, но это его идеи подвигли их на борьбу. «Ведь я, будь в их числе, уничтожил бы в государстве не одного только царя, но и царскую власть вообще; если бы тот стиль был в моих руках, как говорят (Цицерон намекает на первый удар, нанесенный Цезарю в шею Каской, который ранил диктатора острой палочкой

для письма. — Е.К.), то я, поверь мне, довел бы до конца не один только акт, но всю трагедию» (14, 34). Поэтому нет и не может быть примирения между защитником республики Цицероном и претендующим на роль нового узурпатора Антонием.

Разумеется, в традициях античного красноречия Цицерон для обличения Антония использует *инвективу* (8, 20; 18, 44—19, 45 и проч.) и *сарказм*²⁵, но цель автора «Филиппики» — обнажить преступления Антония перед Римским государством, а не перед самим собой, хотя частная жизнь государственного человека, человека, облеченного властью, тоже не может быть лишь его интимным делом; публичный политик, как жена Цезаря, должен быть «вне подозрений» и в своей частной жизни.

Государственная деятельность Антония, по мнению Цицерона, есть преступление против римской свободы еще более тяжкое, чем преступления убитого на троне «тирана» Цезаря. Цезарь «отличался одаренностью, умом, памятью, образованием, настойчивостью, умением обдумывать свои планы, упорством. Вступив на путь войны, он совершил деяния, хотя и бедственные для государства, но все же великие; замыслив царствовать долгие годы, он с великим трудом, ценой многочисленных опасностей осуществил то, что задумал... Но о Цезаре — ни слова...» (45, 116). Антоний был тем, кто спровоцировал худшие деяния будущего диктатора, ибо он и Гай Курион подали Цезарю «повод для объявления войны отчизне»; «вообще ни у кого не может быть законного основания браться за оружие против отечества... а вот ты во всяком случае должен признать, что предлогом для самой губительной войны оказался ты сам... Как Елена для троянцев, так Марк Антоний для нашего государства стал причиной войны, мора и гибели» (22, 53—55). В гражданской войне и на поле Фарсала Антоний «упился кровью граждан», как Харибда и Океан пожрал годами накапливаемые богатства знаменитого покорителя Азии, несчастного Гнея Помпея, так что даже Цезарь не выдержал бесстыдства своего приспешника и «заявил жалобу в сенат». Наконец, именно Антоний дал главный козырь противникам Цезаря, чтобы обвинить диктатора в стремлении к царской власти, так как во время праздника Луперкалий пытался водру-

²⁵ Например: «...Тебя и ожидает участь Клодия, как была она уготована Гаю Куриону, так как у тебя в доме находится та, которая для них обоих была злым роком». Цицерон намекает на Фульвию, жену Антония, два первых мужа которой, уже упоминавшийся здесь враг Цицерона Клодий и мятежный трибун Курион, о нем речь пойдет ниже, были убиты.

зять на голову диктатора диадему — символ царской власти. Трижды Антоний, сопровождаемый стоном толпы, подносил диадему Цезарю, и трижды тот под рукоплескания народа ее отвергал... С помощью фигуры *хиазма*²⁶ Цицерон усиливает эмоциональный накал своего последнего обвинения: «Какой позор! Тот, кто возлагал диадему, жив, а убит — и как все признают, по справедливости — тот, кто ее отверг» (34, 86). Риторический вопрос, украшенный перечислением фактов славного прошлого республиканского Рима, завершает период: «Для того ли был изгнан Луций Тарквиний, казнены Спурий Кассий, Спурий Мелий, Марк Манлий, чтобы через много веков Марк Антоний, нарушая божественный закон, установил в Риме царскую власть?» (34, 87).

После убийства Цезаря Антоний, спасая свою жизнь, попытался угодить сенату, но, почувствовав свою власть, стал попираť законы и разорять государство. «В государственных делах нет ничего более важного, чем закон», — утверждает Цицерон (17, 109). Поэтому Антония ждет участь Цезаря. «...Прекрасным поступком является убийство тирана, насколько приятно оказать людям это благодеяние, сколь великую славу оно приносит. <...> Образумься, наконец, прошу тебя, — взывает Цицерон к Антонию, — подумай о том, кем ты порожден, а не о том, среди каких людей ты живешь. Ко мне относись как хочешь; помирись с государством. Но о себе думай сам; я же о себе скажу вот что: я защищал государство, будучи молод; я не покину его стариком. С презрением отнесся я к мечам Катилины, не испугаюсь и твоих. Более того, я охотно встретил бы своей грудью удар, если бы мог своей смертью приблизить освобождение сограждан, дабы скорбь римского народа, наконец, породила то, что она уже давно рождает в муках. И в самом деле, если около двадцати лет назад я заявлял в этом же самом храме, что для консуляра не может быть безвременной смерти, то насколько с большим правом я скажу теперь, что ее не может быть для старика! Для меня, отцы-сенаторы, смерть поистине желанна, когда все то, чего я добивался, и все то, что я совершал, выполнено. Только двух вещей я желаю: во-первых, чтобы я, умирая, оставил римский народ свободным (ничего большего бессмертные боги не могут мне даровать); во-вторых, чтобы каждому из нас выпала та участь, какой он своими поступками по отношению к государству заслуживает» (46, 118—119).

²⁶ Греч. *χιασμός* — крестообразное расположение в виде греческой буквы *χ* — стилистическая фигура, заключающаяся в том, что в двух соседних предложениях или словосочетаниях, построенных на синтаксическом параллелизме, второе предложение или сочетание строится в обратной последовательности членов.

Цицерон оказался прав: Антоний начал войну против одного из заговорщиков Децима Брута, а это была война против сената. Однако в этой Мутинской войне сенатские войска под предводительством двух консулов Гирция и Пансы разгромили Антония. Цицерон произносил одну за другой новые филиппики, последней стала «Четырнадцатая», в которой он прославил Авла Гирция и Гая Пансу, еще не зная, что один из них погиб на поле битвы, а второй вскоре умрет от ран. В последней «Филиппике» Цицерон создает *эпитафию* воинам, погибшим за отечество, напоминающую патетический стиль эпитафии Перикла: «Коротка жизнь, данная нам природой, но память о благородно отданной жизни вечна. Не будь эта память более долгой, чем эта жизнь, кто был бы столь безумен, чтобы ценой величайших трудов и опасностей добиваться высшей хвалы и славы? Итак, прекрасна была ваша участь, солдаты, при жизни вы были храбрейшими, а теперь память о вас священна, так как ваша доблесть не может быть погребена; ни те, кто живет ныне, не предадут ее забвению, ни потомки о ней не умолчат, коль скоро сенат и римский народ, можно сказать, своими руками воздвигнут вам бессмертный памятник. Не раз во время пунийских, галльских, италийских войн у нас были многочисленные, славные и великие войска, но ни одному из них не было оказано такого почета. О, если бы мы могли больше сделать для вас! Ведь ваши заслуги перед нами еще во много раз больше. Это вы не допустили к Риму бешеного Антония...» (12, 32—33). Великому оратору кажется, что он добился освобождения Рима. Он не мог представить предательства Октавиана, племянника и наследника Цезаря, выступавшего в качестве защитника сената. Этого юношу прославил Цицерон в десятой книге XIV Филиппики, он ввел будущего императора Августа на политический олимп и был предан... Октавиан вступил в сговор с поверженным Антонием и Лепидом, и, образовав Второй триумvirат, они двинули войска на Рим. Лишенный защиты сенат признал их власть.

Цицерон попытался бежать в Грецию. При составлении триумвирами новых проскрипционных списков Антоний обменял у Октавиана голову Цицерона на голову своего дяди, которого ненавидел наследник Цезаря. Убийцы настигли Цицерона 7 декабря 43 г. до н.э. недалеко от его Тускулланской виллы и привезли Антонию отрубленную голову и руки лучшего писателя «золотого века» римской литературы. По преданию, жена Антония Фульвия втыкала в язык мертвой головы булавки, а затем, как

рассказывает Плутарх, «голову и руки он приказал выставить на ораторском возвышении, над корабельными носами, — к ужасу римлян, которым казалось, будто они видят не облик Цицерона, но образ души Антония» (Plut., Cic., 49).

ЦЕЗАРЬ Гай Юлий Цезарь (101 или 100—44 до н.э.) —
И АТТИЦИЗМ знаменитый римский полководец и основатель
империи — сыграл немалую роль в истории
публицистики и политической агитации, поскольку свое искусство оратора и писателя он успешно использовал в ожесточенной политической борьбе со сторонниками республики, а также с претендентами на единоличное господство в Риме.

В бушующем океане политических страстей Рима периода гражданских войн Цезарь избрал для себя поприще лидера анти-сенатской партии популяров, т.е. родовитого вождя римской черни — свободных граждан, не входивших в высшие сословия всадников и сенаторов. Как наследник Гракхов и Мария, Цезарь не мог не владеть искусством слова на уровне, сопоставимом с лидерами своих политических противников — оптиматов, ведущей фигурой среди которых был Цицерон.

Мысль о выдающихся достоинствах Цезаря — оратора и писателя — подтверждается практически всеми древними авторами, писавшими о нем. Образование Цезарь получил, подобно Цицерону, у известного родосского ритора Молона (Plut., Caes., 3). В молодости и в зрелые годы он отдавал дань литературе: античные писатели не раз упоминали несохранившуюся поэму Цезаря о Геракле и трагедию «Эдип», трактат «Об аналогии» (54 г. до н.э.), написанный в ответ на риторическое произведение Цицерона «Об ораторе», два памфлета «Антикатоны», развенчивавшие цicerоновскую апологию стоика Катона (Plut., Caes., 54), поэму «Путь» (Iter). Светоний свидетельствует о тонком литературном вкусе Цезаря, назвавшего Теренция «полу-Менандром» (Suet., Vita Teren., 5). Тот же историк говорит о Цезаре — судебном ораторе, начавшем политическую карьеру с обвинения в лихоимстве одного из столпов сенатской партии Долабеллы (77 г. до н.э.). «После обвинения Долабеллы все без спору признали его одним из лучших судебных ораторов Рима», — пишет Светоний (Suet., Jul., 4, 55).

К сожалению, ни одна из политических речей Цезаря не сохранилась до наших дней. Вероятно, он не считал необходимым обнародовать тексты своих выступлений по случаю, так как, в от-

личие от Цицерона, не считал их произведениями высокого искусства, а видел в них лишь средство к достижению политических целей.

Тем не менее современники считали образцом убедительности те из них, которые были произнесены Цезарем в переломные моменты римской истории. Историки (Саллюстий, Плутарх, Светоний, Аппиан и проч.) с нескрываемым удовольствием рассказывают об участии Цезаря в сенатском заседании по делу заговора Катилины. Цицерон, увлеченный ролью спасителя Родины, обвинил во всех смертных грехах соратников Катилины Лентула и Цетега и начал спрашивать у сенаторов поименно их мнение о наказании виновных. По рассказу Плутарха, «все высказывались за смертную казнь, пока очередь не дошла до Цезаря, который выступил с заранее обдуманной речью, заявив, что убивать без суда людей, выдающихся по происхождению своему и достоинству, несправедливо и не в обычае римлян, если это не вызвано крайней необходимостью. Если же впредь до полной победы над Катилиной они будут содержаться под стражей в итальянских городах, которые может выбрать сам Цицерон, то позже сенат сможет в обстановке мира и спокойствия решить вопрос о судьбе каждого из них.

Это предложение показалось настолько человеколюбивым и было так сильно и убедительно обосновано, что не только те, кто выступал после Цезаря, присоединились к нему, но и многие из говоривших ранее стали отказываться от своего мнения и поддерживать предложение Цезаря, пока очередь не дошла до Катона и Катула. Эти же начали горячо возражать, а Катон даже высказал в своей речи подозрение против Цезаря и выступил против него со всей резкостью. Наконец, было решено казнить заговорщиков...» (Plut., Caes., 7—8).

Более поздние события периода гражданской войны между Цезарем и сенатом стали другим свидетельством мастерства Цезаря — публичного оратора. Лишь силой своей речи он сам бесстрашно подавил и привел к полному подчинению восставшие в Капуе легионы²⁷. Как рассказывает Светоний, «Цезарь, не слушая отговоров друзей, без колебаний вышел к солдатам и дал им увольнение; а потом, обратившись к ним *“граждане!”* вместо обычного *“воины!”*, он одним этим словом изменил их настроение и склонил их к себе: они наперебой закричали, что они его воины, и добровольно последовали за ним в Африку, хотя он

²⁷ См.: Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1973. С. 269.

и отказывался их брать» (Suet., Caes., 70). Используя свое блестящее знание солдатской психологии, Цезарь одним «квириты!» вместо «милитас!» добился потрясающего эффекта.

Сам Цезарь, высоко ценивший красоту и силу мысли в речах Цицерона, никогда не пользовался речью ради «искусства для искусства». Для него талант оратора был необходимой составляющей политической карьеры. Поэтому красноречие Цезаря было лишено поэтических красот и ученых изысков, оно преисполнено живостью, естественностью и энергией. Впервые Цезарь серьезно взялся за перо, чтобы защититься от нападок сената в последние месяцы своего проконсульства в Галлии.

Дело в том, что сенатская партия была обеспокоена усиливавшимся авторитетом и военной мощью признанного предводителя демократической партии Юлия Цезаря и предъявила ему ряд серьезных обвинений в беззакониях, нарушении элементарных норм римского права и воинской чести. На основании подобных обвинений претор Гай Мемлий и трибун Люций Антисий требовали отчета Цезаря о его действиях за истекшее время консульства и даже судили его квестора. Катон в сенате настаивал на выдаче Цезаря германцам за коварное нападение проконсула Галлии на усипетов и тенктеров, просивших мира (см.: Suet., Jul., 23; Plut., Caes., 22).

Преступления, ставившиеся в вину Цезарю, не являлись в жизни Древнего Рима чем-то из ряда вон выходящим, напротив, грабеж казны и получение взяток консулами были явлениями привычными, а коварство на войне с варварами вполне могло расцениваться как военная хитрость. К примеру, в XIV Филиппике Цицерон говорит, что если кто-нибудь «перебил 1000 или 2000 испанцев, или галлов, или фракийцев, то сенат по установленному обычаю провозгласил бы его императором» (Cic., Phill., XIV, 26, 12). Услуги Цезаря Риму были гораздо значительнее, поскольку лишь благодаря его энергии государство было избавлено от повторения нашествия кимвров и тевтонов, а также значительно расширило свои границы в Европе²⁸. Обвинения, предъявленные Цезарю, были пунктами политической программы в борьбе сенатской олигархии против политического деятеля, явно стремившегося к диктатуре. Привлечение Цезаря к суду должно было лишить его сторонников в среде всадничества и плебса.

²⁸ См.: *Соболевский С.И.* Галлы и Галлия до времени Юлия Цезаря // Цезарь Гай Юлий. Записки о войне с галлами: В 2 т. М., 1946. Т. 1. С. 23.

Для Цезаря такой поворот событий был катастрофой. Надо было немедленно развеять утверждения сторонников сената о хищническом управлении провинциями и создать иную картину. Функция создания мифического образа непобедимого и справедливого рачителя интересов римского народа Юлия Цезаря была возложена автором на «Записки о Галльской войне» — апологию самого себя, произведение в высшей степени тенденциозное.

Однако, будучи тонким психологом, Цезарь сохраняет в своем повествовании иллюзию правдивости и объективности. Формально рассказ выглядит как беспристрастный отчет о проводимых им в Галлии наступательных и оборонительных операциях. Хронологически последовательное изложение событий ведется в эпическом тоне от третьего лица, так что неопытный читатель не сразу разглядит тенденциозность и выразительный боевой пафос. Цезарь прекрасно понимал, какое впечатление произведет на римского читателя рассказ о подлинных боях с указанием имен, названий местности и подлинных обычаях варваров.

В массе военных и этнографических сведений, поражающих тонкостью наблюдений и динамикой воспроизведения, перед читателем постепенно вырисовывается образ полководца, наделенного недюжинным стратегическим талантом, поразительной смелостью и находчивостью. Цезарю, герою «Записок», всегда сопутствует *Fortuna* — воинское счастье²⁹. Он всегда во главе своего войска, всегда на переднем крае обороны — там, где всего труднее. Перед битвой он спешивается и приказывает всему войску

²⁹ Bell. Gall., I, 40; VI, 35, 42 и проч. Необыкновенное «везение» Цезаря, подчеркиваемое им на протяжении всех «Записок», работало на понятную римлянам сверхзадачу. Эта была целая концепция жизни, восходящая к практике диктатора Луция Корнелия Суллы, который постоянно подчеркивал свое счастье, везение вразрез со старой этикой *virtutes* — добродетелей. По этой концепции не обветшалые добродетели, а именно поддержка богов обеспечивает выдающееся место в обществе. Подр. см.: *Утченко С.Л.* Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. С. 47—48.

Как указывает М.М. Бахтин, «категория счастья на этой почве имеет особое значение. Она становится формой личности и ее жизни («вера в свою звезду»). Это начало определяет самосознание Суллы в его автобиографии. Но, повторяем, в этом счастье Суллы или счастье Цезаря: государственные и личные судьбы сливаются воедино. Менее всего это узколичное, приватное счастье. Ведь это — счастье в делах, в государственных начинаниях, в войнах. Оно совершенно неотделимо от дел, от творчества, от труда, от их объективно-публичного, государственного содержания. Таким образом, понятие счастья здесь включает в себя и наши понятия «дарования», «интуиции» и то специфическое понятие «гениальности», которое имело такое значение в философии и эстетике конца XVIII века (Юнг, Гаман, Гердер, бурные гении)» (*Бахтин М.М.* *Формы времени и хронотопа* в романе // *Бахтин М.М.* *Вопросы литературы и эстетики.* С. 289).

«оставить коней, чтобы, уравнив опасность всех, отнять надежду на бегство» (Caes., Bell. Gall., I, 25). Он выхватывает оружие у отступающих и ведет их в первые ряды³⁰. Он знает своих центурионов по имени, он ободряет солдат, приносит им удачу только одним своим появлением. Он прост в обращении, неприхотлив, наравне с солдатами переносит все тяготы службы (Caes., Bell. Gall., II, 25; V, 24; VII, 9, 19, 56, 86—87).

Цезарь с упоением рассказывает о доблести своих подчиненных: про оборону легионом Гальбы дороги через Альпы, о мужестве Пулиона и Ворена, подвиге центуриона Секция Бакула и безымянного орлоносца при высадке в Британии, а также о наградах и поощрениях героев. Расчет Цезаря-политика прост: главная опора его могущества — армия. Солдат должен чувствовать свое значение, заботу о себе полководца, и тогда он будет служить верой и правдой. Пусть воины Помпея пожалеют, что им не пришлось служить под началом у Цезаря.

Доблесть армии Цезаря еще более подчеркнута описанием мужества врагов, их хитрости и упорства. Автор отдает дань уважения воинскому искусству варваров, их храбрости, например в описании войны с нервиями. В рассказе об обороне Алезии звучит гимн стойкости и самоотверженности галлов³¹. Однако Цезарь постоянно подчеркивает «варварское» коварство своих врагов, послам которых он не доверяет, а миролюбия опасается. Как любой римлянин, он придерживается мнения, что лучше мертвый враг, чем ненадежный друг. Только стремлением к славе Рима, только заботой о благе государства и римского народа объясняет Цезарь свои невероятные жестокости по отношению к варварам. Он сообщает о «полном уничтожении и даже самого имени нервиев»³², о продаже в рабство 53 000 человек из племени адуатуков, нарушивших условия капитуляции, о расправе над ведетами, когда весь сенат был предан смертной казни, а остальные проданы в рабство с молотка. Избавляя Рим и свое войско от «очень опасной войны», Цезарь приказывает почти целиком вырезать племена усипетов и тенктеров, просивших мира; в интересах римского народа переправляется за Рейн, дабы «внушить

³⁰ Факты, свидетельствующие о мужестве Цезаря на поле брани, приводят и позднейшие историки: Plut., Caes., 18, 20, 56; Suet., Jul., 36; Cass. Dio, 43, 87; App., b.c., II, 104.

³¹ Caes., Bell. Gall., II, 27; VII, 25.

³² Там же. II, 28. Преувеличение. См. комментарии М.М. Покровского в кн.: Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. 2-е изд. М., 1962. С. 349.

германцам... страх за их собственные владения». Так опровергаются все «облыжные» обвинения сенатской партии, мелко интригующей против Цезаря, и в сознание римского обывателя внедряется идея о мудрости и дальновидности Цезаря-политика, «мстителя и за себя, и за отечество», главной заботой которого являются интересы римского народа.

Впрочем, в своем политическом облике Цезарь никогда не забывает подчеркнуть милосердие к побежденным, просящим пощады³³: «Чтобы с очевидностью проявить милосердие к несчастным и молящим, Цезарь дал им полное помилование, им самим приказал спокойно оставаться в своей стране и городах, а их соседям воспретил чинить им какие бы то ни было оскорбления и насилия» (VII, 7).

Цезарь уважает своих политических противников в Риме, поскольку ни разу не прибегает к откровенной лжи и передергиванию фактов. Напротив, с демонстративной искренностью и прямоотой он говорит о своих неудачах: гибели легиона Котты и Сабина (V, 27—37); просчетах Квинта Туллия Цицерона (брата оратора) за Рейном (VI, 36—41) и проч. Причем описания гибели римлян пронизаны подлинным переживанием и драматизмом.

Еще реже при описании явлений, разрушающих единство героического облика, Цезарь прибегает к фигуре умолчания или к скороговорке, понятной только посвященному в детали читателю (рассказ о первой неудачной высадке в Британии). Мастерство Цезаря таково, что эти приемы остаются почти незаметными, и у читателя возникает ощущение прямооты и правдивости автора, выставляющего на суд римского народа «обнаженную правду»³⁴. Даже такой тонкий ценитель, как Цицерон, был введен в заблуждение мастерством Цезаря. «Записки, им сочиненные, заслуживают высшей похвалы, — писал Цицерон в диалоге “Брут”, — в них есть нагая простота и прелесть, свободные от пышного ораторского облачения. Он хотел только подготовить все, что нужно для тех, кто пожелает писать историю, но угодил, пожалуй, лишь глупцам, которым захочется разукрасить его рассказ своими завитушками, разумные же люди после него уже не смеют взяться за перо» (Cic., Brut, 75, 262).

³³ В Древнем Риме «...милосердие всегда считалось одной из отличительных черт, достойных правителя» (*Штаерман Е.М.* SNA как исторический источник // Вестник древних историй (ВДИ). 1957. № 1. С. 235).

³⁴ Об искажении Цезарем правды в угоду политической тенденции см.: *Jachmann G.* Caesartext und Caesarinterpolation // Rh. Mus. 1940. Vol. 89. S. 161; *Balsdon J.P.* The Veracity of Caesar // Greece and Rome. 1957. Vol. 4. N 1. P. 19.

Своим сочинением Цезарь не только удачно опровергает все обвинения политических противников, но и в свою очередь уличает их в сговоре с варварами. «Многие знатные римляне», по словам Ариовиста — поверженного в осаде Алезии предводителя варваров, — обещали ему свою поддержку, ибо надеялись руками восставших галлов уничтожить Цезаря и его войско, невзирая на интересы Рима. «Записки о Галльской войне» выполняют главную политическую задачу Цезаря — создают его идеализированный имидж для римского общественного мнения. Облик Цезаря складывается из нескольких пунктов, в целом соответствующих политической программе идеального правителя в энкомии Исократов «Евагор». Во-первых, талантливый, удачливый полководец, умеющий вырвать удачу из рук судьбы; во-вторых, мудрый, дальновидный государственный деятель, руководствующийся интересами римского народа и готовый дать правдивый отчет о своих деяниях; в-третьих, человек по натуре милосердный, сторонник демократии, любящий своих солдат и любимый войском; наконец, человек образованный, блестящий стилист, не претендующий, впрочем, на лавры историка, ибо сочинение названо просто «*Commentarii*». Любопытно, что антицезарианскую агитацию тех лет Цицерон строил по той же исократовской схеме, только от противного.

При описании событий гражданской войны в следующей книге «*Commentarii de bello civili*» («Записки о гражданской войне») Цезарь сталкивается с более значительными трудностями идеологического характера, поскольку попрание конституции, нарушение основ римского законодательства (выступление против собственного сената и народа с оружием в руках) — вещи недопустимые. Поэтому автору не удастся долго сохранять позицию объективного повествователя и приходится прибегнуть к менее respectable приемам оправданий и инвектив.

Оправдывая свои противозаконные действия, Цезарь приводит аргументы, создающие хоть видимость законности и справедливости. Например, свой святотатственный переход с войсками через Рубикон (пограничную реку между провинцией Галлия и собственно римской территорией) он, по его словам, совершает «ради блага государства», чтобы «восстановить народных трибунов, безбожно изгнанных из среды гражданства, в их сане, чтобы освободить себя и народ римский от гнета шайки олигархов» (I, 9, 22). При вступлении в столицу этот «рачитель законности» предлагает «сенаторам взять на себя заботу о государстве и управ-

лять им сообща с Цезарем. Но если они из страха будут уклоняться от этого, то он не станет им надоедать и самолично будет управлять страной» (I, 32). Теперь цинизм и демагогия станут определяющими чертами в облике публичного политика, лидера партии популяров.

Цезарь из всех сил стремится сохранить в своем политическом имидже черты, которыми он наделил Цезаря — проконсула Галлии, героя «*Commentarii de bello Gallico*» («*Записок о Галльской войне*»), но это удастся ему лишь в редких случаях, например при создании облика Цезаря-полководца, победителя в Фарсальском сражении (III, 72—78, 89, 94 и проч.). Гораздо убедительнее выглядят в этой книге образы развенчанных противников — олигархов, паразитирующих у кормила власти и погрязших в различных пороках. Противники Цезаря действуют незаконно, угрожая при голосовании сенаторам войсками (I, 2—3), они разрушают старинные традиции и ритуалы, покушаются на храмовые святыни, чтобы на похищенные ценности вербовать войска против Цезаря (I, 6), они кипят личной ненавистью к Цезарю и завистью к его славе. «Катон... действовал против Цезаря по старинной вражде и огорченный безуспешным поиском почестей» (I, 4). «Помпей, увлеченный врагами Цезаря, не хотел, чтобы кто-нибудь мог равняться с ним властью, и решительно отверг дружбу Цезаря, пристав к бывшим их общим врагам, недружбу которых Цезарь нажил большею частью во время сближения своего с Помпеем» (I, 4). Консул Лентул, «не щадивший ругательств», «отъявленный должник, в надежде на взятки союзных царей сам хвалился, что будет вторым Суллою и захватит верховную власть в свои руки» (I, 4). Сципион за некоторые поражения, «понесенные им у Амана, провозгласивший себя императором» (ирония — III, 31). Все они стремятся погубить Цезаря. Отметим, что, обличая политических противников, Цезарь старается придерживаться достоверности, иногда прибегает к иронии, но никогда не перегибает палку, увлекшись, как это бывает с Цицероном, мифологическими и историческими параллелями или пафосом погоса, переходящими в инвективу с ее неполитической лексикой и площадными издевками. Легко заметить, что большинство обвинений есть обвинения морального характера — те, которые труднее всего опровергнуть.

В обеих книгах «Записок» Цезарь создает особый стиль политической публицистики, избегающий просторечий, оскорбительного

тона и не всем понятных, красочных выражений (архаизмов, неологизмов, сложных поэтических тропов, пышности, вычурности и риторических приемов, бросающихся в глаза своей искусственностью). Его повествование — образец простоты, ясности и убедительности. Как подсчитали ученые, «в “Записках о Галльской войне” повторяющихся слов 1200—1300; к ним следует прибавить 614 слов, употребленных два-три раза, и 788 слов, употребленных всего один раз. Конструкция предложений, умелое деление периодов на составные части, выделение главной мысли в каждом периоде и внутренняя упорядоченность и стройность характерны для языка и стиля Цезаря»³⁵.

Поскольку публицистика Цезаря претендует на объективность, автор предпочитает вести повествование от третьего лица и избегает прямой речи. Это, впрочем, не значит, что он недостаточно владеет традиционными приемами красноречия. В речи Критогната (Записки о Галльской войне, VII, 77) Цезарь обнаруживает высокое мастерство в искусстве этопеи, создавая образ сурового и непреклонного галла. Не менее блестящим психологом обнаруживает себя автор в речи Куриона (Записки о гражданской войне, II, 32), воссоздающей характер молодого и самоуверенного римлянина.

Основным принципам повествования в цезарианской прозе пытаются следовать и его «продолжатели», авторы «Записок об Александрийской и Африканской войне» (предположительно Гирций и неизвестные авторы, особенно в случае с авторством «Записок об Испанской войне»). Однако они обладают меньшим талантом и политическим опытом, что сказывается на художественном уровне их творений.

Литературная деятельность Цезаря сыграла значительную роль в его политической карьере. Несмотря на скептицизм знатоков, среди которых был соратник Цезаря Азиний Поллион, считавший, по словам Светония, что «Записки...» «...написаны без должной тщательности и заботы об истине....»³⁶, общественное мнение перешло на сторону Цезаря. Его диктатура была узаконена, он отпраздновал четыре триумфа и готовился к парфянской войне, когда его настигли кинжалы заговорщиков. Убийцами Цезаря стали отпрыски сенаторских родов, люди, фанатично защищавшие

³⁵ История римской литературы / Под общ. ред. Н.Ф. Дератани. С. 171.

³⁶ «...многое, что делали другие, Цезарь напрасно принимал на веру, и многое, что делал он сам, он умышленно или по забывчивости изображает превратно; впрочем, Полион полагает, что он переделал бы их и исправил» (Suet., Jul., 56).

древние свободы и не подверженные политической демагогии Цезаря в силу способности к аналитическому мышлению. Но убийство в мартовские иды было лишь дворцовым переворотом, вызвавшим ужасное возмущение римского плебса. Вот как описывает Плутарх развитие событий после смерти Цезаря: «На следующий день заговорщики во главе с Брутом вышли на форум и произнесли речи к народу. Народ слушал ораторов, не выражая ни неудовольствия, ни одобрения, и полным безмолвием показывал, что жалеет Цезаря, но чтит Брута... После вскрытия завешания Цезаря обнаружилось, что он оставил каждому римлянину значительный подарок. Видя, как его труп, обезображенный ударами, несут через форум, толпы народа не сохранили спокойствия и порядка; они нагромодили вокруг трупа скамейки, решетки и столы, менял с форума, подожгли все это и таким образом предали труп сожжению. Затем одни, схватив горящие головни, бросились поджигать дома убийц Цезаря; другие побежали по всему городу в поисках заговорщиков, стараясь схватить их, чтобы разорвать на месте...» (Plut., Caes., 67—68). Сторонники цезаризма в конце концов одержали полную политическую победу.

Победными оказались не только политические, но и стилистические идеи Цезаря. Его простой, ясный и изящный стиль — **аттицизм**, напомилавший Лисия и ранних аттических политических ораторов, завоевывал себе в Риме все больше сторонников. К нему склонялись и убийцы Цезаря *Брут*, и поэт и оратор *Лициний Кальв*, и *Марк Калидий*, *Квинт Корнифиций*, *Азиний Поллион*, по большей части цезарианцы, и позднейшие историографы: *Саллюстий*, *Веллей Патеркул*, *Николай Дамасский*, вплоть до пропитанного драматизмом повествования *Тацита*.

Что касается политического облика Цезаря, то он стал образцом для подражания всех позднейших апологетов единовластия, вплоть до Наполеона и Муссолини. При Наполеоне сочинения Цезаря стали образцом школьной латыни первоначально благодаря политической тенденции. Позднее это чтение привилось благодаря правильному и точному языку, сравнительно скромному словарному составу и занимательному рассказу.

Аттицизм на римской почве был несомненным заимствованием из греческой ученой моды, доступной лишь узкому кругу ценителей. В дни молодости Цицерона эта новинка казалась эстетической прихотью нескольких образованных греков Дионисия Галикарнасского и Цецилия Калактинского, чьи изыски предназначались узкому кругу знатоков и ценителей. Тот же Цицерон

утверждал, что оратор должен рассчитывать в своих выступлениях не на знатоков и философов, а на оболечение толпы. Если он не хочет или не может увлечь толпу, он — не настоящий оратор, как бы ни ценили его ученые критики: истинное красноречие — всегда только то, которое одинаково нравится и народу, и знатокам (Ог., 183—200). Эта позиция Цицерона была точкой зрения республиканца, привыкшего, что все государственные решения принимаются на форуме. Новый век диктатуры и власти избранных отличался презрением к вкусам и страстям толпы; стиль Цицерона кажется аттицистам напыщенным, расплывчатым и многословным, ритм изломанным и развинченным, многочисленные усилия оратора привлечь внимание слушателя, постоянно отвлекаемого от сути говоримого, — излишеством и дурным тоном.

Как пишет М.Л. Гаспаров, «аттицизм в красноречии также был одной из форм протеста против современности. Вовсе отстраниться от политической жизни молодые римляне не могли, да, пожалуй, и не хотели; но снисходить в своих речах до угождения вкусам толпы было ниже их достоинства (если не говорить о таких ораторах, как Целий или Курион, в своем презрении к вырождавшейся республике доходивших до крайнего политического авантюризма). Пышная выразительность гортезиевского или цicerоновского слога им претила. Они обращались не к чувствам слушателей, а к их разуму, вместо полноты и силы искали простоты и краткости. К этому их толкала и философия, которую они исповедовали: стоицизм с его культом логики и отрицанием страстей и эпикурейство, осуждавшее всякую заботу о художественности речи»³⁷.

В трактатах «Брут» и позднее «Оратор» Цицерон титанически боролся с язвой аттицизма на римском форуме. Строго говоря, аттицизм вообще не мог быть воспроизведен в латинской традиции, поскольку греки в своей рафинированной учености обращались к классическим греческим образцам трехвековой давности (Лисию, Фукидиду, Демосфену). Латиняне такой традиции не имели, поскольку три века назад латинского красноречия не было вовсе, а если в своей утонченности, иронизирует Цицерон, они стремятся быть последовательными, то новым римским стилистам следует подражать Катону (Ог., 63—70). Однако молодых римлян в учении аттицистов пленяла совсем не верность традиции. «Им нравился более всего самый дух учености, труднодоступного

³⁷ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 48.

искусства, умственного аристократизма, проникавший реставраторские изыскания греческих риторов. Это было поколение, вступившее в политическую жизнь Рима уже после того, как террор Мария и Суллы оборвал преемственность древних республиканских традиций; заветы Сципиона, Сцеволы и Красса для них уже не существовали, а на агонию республики они смотрели не с болью, как Цицерон, а с высокомерным равнодушием. От политических дразг они уходили в личную жизнь, в искусство и в науку; чем меньше общего имели их занятия с интересами форума, тем дороже им были эти занятия»³⁸.

Опытный политик, Цицерон понимал опасность этой «эгоистической» тенденции красноречия для судеб республики. В трактате «Оратор» при классификации трех стилей он выделяет и в простом, и в высоком стиле два вида: один естественный, грубый и неотделанный, другой искусственный, рассчитанный и закругленный. Красноречие римских аттицистов Цицерон относит к низшему виду, красноречие из греческих образцов — к высшему виду. Простота Лисия и Фукидида была результатом продуманного и тонкого искусства, а простота римских подражателей — результат недомыслия и невежества (Ог., 20, 75—90).

Несчастьем Цицерона в его республиканских убеждениях было то, что, увлеченный воспеванием роли практического оратора, он не создал собственной школы и не подготовил смены своих единомышленников на римском форуме. Имея бесчисленное множество учеников и подражателей в последующие века европейской культуры, он не смог внушить идеи о необходимости красноречия публичного, т.е. увлекающего толпу, даже своему ближайшему другу Марку Юнию Бруту. В кульминационной для римской истории схватке с Антонием на форуме Брут сохранял стоическое спокойствие и аттический стиль красноречия, усвоенный не без участия только что поверженного Цезаря. Но тонкий знаток психологии толпы Гай Цезарь воспользовался изящным аттическим стилем для создания письменного отчета о своей деятельности. Размеры «Записок...», тип неторопливого усвоения в процессе чтения позволяли постепенно внедрить в сознание читающего необходимые автору идеи. Поставленный лицом к лицу с римскими плебеями Марк Брут находился в совершенно иной ситуации, которую мог выиграть, скорее, оратор цицероновского типа... О речи, произнесенной Брутом после убийства Цезаря, Цицерон в письме к другу отзывался так: «Речь написана очень

³⁸ Там же.

изящно и по мысли, и по выражению — ничто не может быть выше. Однако если бы я излагал этот предмет, то писал бы с большим жаром... В том стиле, которого держится наш Брут, и в том роде красноречия, который он считает наилучшим, он достиг в этой речи непревзойденного изящества; однако я следовал по другому пути, правильно ли это или неправильно...» (Cic., Att., XV, 1, A, 2). Правоту Цицерона в этом споре доказала римская история.

РОЖДЕНИЕ ГАЗЕТЫ В годы расцвета греческой демократии и в последующем существовании эллинского мира не было и намека на периодическую печать. Правда, уже при Исократе, как отмечалось выше, появились *энкомий* и *памфлет* — формы письменной публицистики, выполняющие свою идеологическую и агитационную роль. Насколько действенными были подобные политические брошюры (например, «Панегирик» Исократа), трудно судить, так как древние сохраняли записи речей как образцы ораторского искусства, несущие в себе прежде всего эстетическое наслаждение, а предпочтение всегда отдавали живому слову. В классической филологии XIX в. стало общим местом рассуждение о «южном типе» эллинской цивилизации, развившейся и процветавшей под открытым небом на площади, когда любая информация с легкостью передавалась из уст в уста, без посредства письменности³⁹. Этому способствовали и размеры полисов — греческих городов-государств, самые обширные из которых достигали 300—500 тыс. человек. Даже более расчетливый и регламентированный в правовом отношении римский мир вплоть до последних десятилетий существования республики не нуждался в официальных способах распространения информации, опираясь, с одной стороны, на традиционный для греков ораторский стиль политической борьбы в сенате и на форуме и, с другой — на известный способ сообщений с помощью глашатаев, а позднее надписей (*inscriptions*) и афиш.

Впрочем, уже в греческом мире существовали образцы публичных надписей информационного характера, ставшие прообразом различных современных досок подобного типа. Известно, что крупнейшим культовым центром греческого мира были Дельфы. Святилище Аполлона, находившееся здесь, стало своего рода соединительным звеном для греков, которые, будучи разделен-

³⁹ См., напр.: *Фолькманн Р.* Реторика греков и римлян. Ревель, 1891; *Никитинский Н.* Речи Исея и Демосфена. М., 1903.

ными на небольшие города-государства, испытывали потребность в центрах, подчеркивающих их племенное единство. Благодаря Оракулу Дельфы чтили и негреческие правители и народы. Все греческие полисы имели здесь свои посольства, собственные сокровищницы, где хранились приношения богам; сюда стремились иноземцы, желавшие прильнуть к источнику греческой мудрости, услышать прорицание божества. Известен, например, богатейший дар легендарного царя Креза, преподнесенный пифии, предсказание которой этого Креза и погубило⁴⁰.

Центральный храм Аполлона опирался на так называемую полигональную (т.е. многоугольную) стену, которая была замечательна именно тем, что все края составляющих ее многоугольных камней безупречно пригнаны друг к другу, образуя изогнутые линии. На этой стене с архаических времен стали высекать сохранившиеся до наших дней надписи об освобождении рабов, которые являлись своеобразным документом — «вольной». Позднее афиняне воспользовались дельфийской стеной для того, чтобы оповестить всю Грецию о победе при Саламине. Вслед за ними платейцы отметили колонной и надписью свою победу над персами. Так общегреческое святилище приобретает роль информационного центра, что во многом усиливает политическое значение Оракула, зачастую устраивавшего государственные дела Греции⁴¹.

С другой стороны, количество древних надписей римской эпохи, сохранившихся до наших дней, поражает воображение, ибо каждый из более чем 120 000 образцов, собранных новейшими историками в книге «*Corpus inscriptionum latinarum*», достигает возраста двух тысячелетий! Среди них официальные документы, постановления сената и законы, памятные даты и... объявление вдовы, желающей продать дом, афиши группы гимнастов, рекламные предложения услуг астрологов и врачей...

В зависимости от важности сообщения и материального достатка заказчика надписи делались на мраморе, меди, досках, беленых стенах... Одна из таких стен — знаменитая *Regia* — на доме, где жил верховный понтифик, сыграла значительную роль в римской истории. На этой стене помещалась специальная доска *album*, открывавшаяся именами консулов и судей, на которую по приказу официальных властей вносились краткие записи о наиболее значительных событиях, происходивших в Риме и провинциях. Позднее, по окончании года, доски стали переносить в хранили-

⁴⁰ См. подробнее: *Геродот. История*. III, 1.

⁴¹ См.: *Консола Д. Дельфы. «Olimpic color»*. John Decopules, 2001.

ще — архив, откуда и началась писаная история Римского государства. Не случайно все историки, пользовавшиеся *Annales maximi* (Великими летописями), начинали свое повествование о каком-либо годе словами: «В консульство такого-то и такого-то...».

Главную роль в распространении информации играла, разумеется, *Fata* — богиня *Молва*, наделенная сотнями глаз и ушей. О ней упоминали греки Гомер и Софокл, Вергилий же утверждал, что днем она держится на вершинах зданий, чтобы все видеть, а ночью пробегает по небу, дабы все рассказать. Молва никогда не дремлет и разглашает равно как ложь, так и истину.

Перечисленные способы распространения информации вполне устраивали тех, кто постоянно находился в Городе, но по многим делам известные политики и государственные деятели вынуждены были отбывать в далекие провинции, и тогда в ход пускались письма. Как утверждает французский ученый Гастон Буассье, «...в то время люди, занимавшиеся политической деятельностью, нуждались в частной переписке гораздо более, чем теперь. Проконсул, уезжая из Рима для управления какой-либо отдаленной провинцией, прекрасно понимал, что он тем самым совершенно удаляется от политической жизни. Для людей, привыкших к волнениям политических дел, к партийным заботам или, как они выражались, к постоянной толчее на форуме, было большим лишением покинуть на несколько лет Рим для тех бесконечно далеких стран, куда не достигал никакой шум общественной римской жизни»⁴². Тоска по Риму, трогательные жалобы и печальные воспоминания о Вечном городе наполняют и *письма Цицерона*, и «*Понтийские элегии*» Овидия.

Для того чтобы не отрываться от событий римской жизни, вдыхать воздух римских мостовых, состоятельные люди нередко нанимали подобие репортеров, так называемых *operarii* (т.е. просто «ремесленников», людей образованных, но без определенных занятий, деклассированных). Многие из них были греками, ищущими интеллектуальных заработков в латинской столице. *Compilatio* — *похититель, плагиатор* — так шутивно называл их Цицерон. В обязанности этих людей входила беготня по городу и собирание любой информации о происшествиях, скандалах, несчастных случаях и тому подобных событиях. Они не упускали случая описать в донесениях патрону различные театральные истории, сообщали об освищенных актерах, о побежденных гла-

⁴² Буассье Г. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1993. Т. 1. С. 43.

диаторах, подробно описывали богатые похоронные процессии и вообще делились всякого рода слухами и сплетнями, особенно всеми скандальными случаями, о которых им удалось узнать. Вот такие сведения получал знаменитый Цицерон от своих корреспондентов из среды «голодных греков», завербованных специально для проконсула его другом Марком Целлием Руфом (Cic., Epist. ad fam., II, 8; VIII, 1). Вся эта болтовня была занимательной, но малоинформативной, поскольку «греков» не пускали в знатные дома и они были далеки от людей, осуществлявших управление государством, хотя опытный политик по самым незначительным происшествиям мог уловить настроения римского народа.

Другую группу корреспондентов составляли лица более осведомленные в глубинных течениях римской политики — друзья и близкие, люди из сенаторского сословия. Они были вхожи к первым лицам государства и часто посвящались в тайны римской политики. Особо ценились письма людей мыслящих, аналитиков, способных представить целостную картину происходящего, обладающих юмором и хорошим литературным стилем. К таким корреспондентам принадлежал и сам Цицерон, чьи частные письма еще при его жизни стали достоянием публики усилиями друга и издателя *Аттика*. Современник великого оратора историк *Корнелий Непот* говорил, что тому, кто прочтет эти письма, нет надобности в каком-либо другом историческом сочинении этого времени, ибо события описываемой эпохи изображены в них с потрясающей живостью, точностью и непередаваемым духом борьбы (Corn. Nepos., Att., 16). Поныне *эпистолы* Цицерона сохраняют значение памятника исторической и поэтической мысли.

В жизни римской республики письма играли достаточно важную роль: с помощью письма можно было не только сообщить важные сведения какому-либо политическому лицу, но и выразить ему свою симпатию. Набирающий политический вес *Цезарь-проконсул* получал в Галлии огромное количество писем. «Ему сообщают все, — говорит Цицерон, — как о важных вещах, так и о пустяках» (Cic., ad Quint, III, 1). Цезарь как опытный политик нередко сам писал письма, чтобы привлечь на свою сторону известных людей или сделать общим достоянием свои подвиги. Например, он рассыпался в похвалах падкому на лесть стороннику сената Цицерону, будучи уверенным, что последний обязательно разгласит его слова по всему Риму: «Ты открыл все сокровища, свойственные красноречию, и сам первым воспользовался ими.

С этой стороны ты много прославил римское имя и возвеличил свою родину. Ты снискал себе лучшую из всех славу и триумф более предпочтительный, чем успехи самых великих полководцев, так как больше ценности в расширении границ ума, чем в расширении пределов государства» (Cic., Brut., 72; Plin., Hist. nat., VII, 30). Тому же Цицерону он отправлял письма из Британии, где его армия с трудом оборонялась от воинственных жителей Альбиона, вовсе не потому, что он, скучая, заполнял свой досуг, а потому, что представлялась редкая возможность пометить свое послание страной, куда до него не ступала нога римлянина.

Эпистолярное творчество римлян во многом заменяло им нашу газету. Письма выдающихся людей, где они высказывали свои чувства и взгляды, читались, комментировались и переписывались. Посредством таких писем государственный человек защищал себя перед людьми, уважением которых он дорожил. Эпистолы, в которых содержалась какая-либо значительная новость, переходили из рук в руки и становились общественным достоянием. Корреспонденцией Цезаря в Германии и Британии пользовались и офицеры его штаба, поскольку это помогало восстановить ту атмосферу светской жизни, позабыть которую не властен был никто. Наконец, в зависимости от серьезности сделанного заявления корреспондент мог отправлять одинаковые письма сразу нескольким важным лицам, что приходилось делать Цезарю в последние месяцы его проконсульства в Галлии при назревавшем конфликте с сенатом. Существовал и обычай **открытых** писем — *in publico propositae*, — текст которых размножали и развешивали на стенах в публичных местах. Когда форум замолк, как во времена последней диктатуры Цезаря, с помощью писем пытались образовать нечто вроде общественного мнения в узком кругу сторонников сената. «Подметные письма» — практически агитационные листовки заговорщиков — сыграли не последнюю роль в удачном разрешении заговора против Цезаря, о чем упоминают в своих рассказах практически все римские историки⁴³. О значении эпистолярного жанра для римской культуры можно судить и по сохранившимся памятникам античной литературы, так как наиболее прославленные поэты Древнего Рима *Гораций* и *Овидий* использовали форму послания в своем художественном творчестве. Жанровая форма письма оказалась многофункциональной. Эпистола обладала одной существенной особенностью — субъектив-

⁴³ См., напр.: Plut., Caes., 62; Suet., Jul., 80.

ностью изложения материала, поскольку письмо было явлением частной жизни граждан и, следовательно, как форма идеологического воздействия не подлежала контролю со стороны государства. В период становления римского единовластия такое положение вещей не могло долго сохраняться. Реформатором вновь, как и во многих других областях, оказался Гай Юлий Цезарь.

Роль основателя мировой прессы вполне в духе наших представлений о *Гае Юлии Цезаре* — римском военачальнике и политике. В мифологическое сознание европейцев Цезарь вошел как архетипический родоначальник всего и вся: он действительно был творцом идеи императорского Рима и первой фигурой среди императоров; его родовое имя стало титулом единовластных правителей Рима — **цезарь** (цезарь Август или цезарь Нерон, откуда позднейшие *кесарь*, *царь* и т.д.); по его указу было создано традиционное европейское летоисчисление — юлианский календарь, которым православная церковь пользуется и доньше; он оставил нынешним европейцам наиболее древние сведения об истории их предков, рассказав в «Записках о Галльской войне» о варварских народах Европы, их местоположении, обычаях, нравах... В Средние века существовала страсть начинать историю городов, областей и даже стран упоминанием о расположении лагерей цезаревых легионов. Еще при Августе *Божественного Юлия* ввели в пантеон римских божеств, Овидий и Вергилий рассказывали о нем чудесные истории, а суеверные поклонники считали буквальным отцом целых наций. Пожалуй, пресса может гордиться звучным именем человека, стоявшего у ее колыбели.

В год своего первого консульства (59 г. до н.э.) Юлий Цезарь начал издавать знаменитые «*Acta diurna senatus ac populi*», что дословно можно перевести «*Ежедневные протоколы сената и римского народа*»⁴⁴. Биограф Цезаря *Гай Светоний* повествует об этом так: «По вступлении в должность он первым приказал составлять и обнародовать ежедневные отчеты о собраниях сената и народа» (*Instituit ut tat senatus quam populi diurna acta comfierent et publica-*

⁴⁴ «Acta diurna», «стенгазета Цезаря», следует решительно отличать от «acta senatus» — протоколов сената, которые никогда публично не выставлялись и шли в архив; к ним имели доступ, конечно, сами сенаторы, но, возможно, временами и более широкий круг лиц. Они велись издавна и сперва содержали только итоговые постановления; Цезарь в том же 59 г. до н.э. распорядился включать туда и попутные *sententiae* отдельных сенаторов. Эта протокольная служба велась до V в. н.э., заведовал ею *curator actorum senatus*. Август на какое-то время ограничил доступ к этим *acta senatus*. Газетой или «предгазетой» они **не** были (примеч. М.Л. Гаспарова).

rentur — Suet., Jul., 20)⁴⁵. Действительно, цезарев ежедневный листок содержал протоколы заседаний сената и прений в народных собраниях, краткое изложение громких судебных дел, разбиравшихся на форуме, и, кроме того, описание происходивших общественных церемоний и разных атмосферных явлений. Последние вовсе не были сводкой погоды, а включались в официальные ведомости из политических соображений: языческая религия римлян запрещала принятие важных политических решений и начало битв в дни неблагоприятных небесных знамений. За соблюдением правил следила специальная коллегия авгуров, отменявшая по своему усмотрению заседания сената и народные собрания. Коллега Цезаря по консульству Бибул пытался сорвать проводимый Гаем Юлием законопроект о земле, «ссылаясь на дурные знамения». Цезарь «силой оружия прогнал его с форума» (Suet., Jul., 20). Практически листок, публикуемый Цезарем, носил чисто политический характер и, по мнению комментатора Светония М.Л. Гаспарова, был «шагом в угоду народу»⁴⁶.

Действительно, из скудных сведений о существовании первой римской ежедневной газеты мы можем предположить, что ее основатель Юлий Цезарь, задумывая издание «Acta diurna», более всего заботился об объективности информации, доходившей до граждан в различных уголках римской республики. В основе газеты лежал жанр отчета о постановлениях, принятых в сенате и в комициях, или, как пишет Г. Буассье, «протоколы» заседаний законодательных структур⁴⁷.

Создание официальной газеты — одно из наиболее демократических деяний Цезаря. В год первого консульства недавний глава партии популяров действительно стремился закрепить за собой поддержку народа и производил значительные демократические преобразования. По словам Плутарха, «едва лишь он вступил в должность, как из желания угодить черни внес законопроекты, более приличествовавшие какому-нибудь дерзкому народному трибуну, нежели консулу, — законопроекты, предлагавшие вывод колоний и раздачу земель» (Plut., Caes., 14)⁴⁸. Цезарь

⁴⁵ Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. М.Л. Гаспарова. М., 1988. С. 20. Существует другой перевод: «Одним из его первых дел было постановление о том, чтобы ежедневно составлять и обнародовать протоколы как сенатских собраний, так и народных».

⁴⁶ Там же. С. 368.

⁴⁷ См.: Буассье Г. Собр. соч. Т. 1. С. 273; Буассье Г. Газета Древнего Рима // Буассье Г. Картины древнеримской жизни. Очерки общественных настроений времен римских цезарей. СПб., 1896. С. 302—303.

улучшает экономическое положение ветеранов, утвердив раздел Стеллатского участка и Кампанского поля (Suet., Jul., 20, 3), он возвращает плебеям утраченные при Сулле политические права, восстановив комиции, он покровительствует народным трибунам вплоть до бесчинствующего Клодия. Попытка предоставить *квиритам* (гражданам) объективную информацию, исходящую от лица демократически избранных магистратов, — это шаг вперед демократически избранного политика, рационалиста, изымающего монополию на знание истинного положения дел у сенаторов и апеллирующего к общественному мнению.

На антисенатский характер новой газеты указывает Гастон Буассье: «Политические собрания, равно как и бюрократические учреждения — последние даже в особенности, много теряют, если их видеть вблизи; трудно бывает сохранить большое уважение даже в самых почетных собраниях, когда видишь, сколько в них интриг, сколько интересов и страстей сталкивается под видом общего блага»⁴⁹. Остроумная догадка Буассье о том, что исконный враг сената популярь Цезарь решил показать рутину и мелочную игру личных интересов в сенате, современным свидетелям подробных телеотчетов о работе Государственной думы может показаться верной. Но исходя из замечаний, оставленных современниками римских «*Acta diurna*», мы должны истолковать ее как модернизацию. Даже столь чуткий к всевозможным антиреспубликанским настроениям и проявлениям тирании Цицерон ни в 59 г. до. н.э., ни позднее не обмолвился об антисенатском характере «Ежедневных протоколов сената и римского народа»; более того, находясь в изгнании в 58 г. до н.э. и позднее, он неоднократно ссылается на «*Acta diurna*» в своей переписке с братом и Атиком (Cic., Att., LXIV, 3 — «Что касается твоего совета не ехать дальше, пока мне не будут доставлены майские акты, то я думаю так и поступить...»; LXXIII, 6 — «я жду в Фессалонике актов от секстильских календ») ⁵⁰. Даже при столь кратком цитировании писем Цицерона становится очевидным основной недостаток цезаревой газеты — отсутствие оперативности в распространении и доставке информации. Дело в том, что рукописные экземпляры «Ежедневных протоколов сената и римского народа» вывешивались в Риме в публичных местах, а в дальнейшем граждане читали и переписывали их в силу желания и потребности.

⁴⁸ Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 2. С. 171.

⁴⁹ Буассье Г. Газета Древнего Рима. С. 299.

⁵⁰ Письма Марка Туллия Цицерона: В 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 158, 174.

Цицерон получал «газету» вместе с частными письмами, пользуясь услугами все тех же наемных переписчиков и специальных рабов-почтальонов (*talellarii*). Иногда почта передавалась с оказией или с гонцами откупщиков (*publicani*), но так или иначе для находящихся за пределами Города «газета» запаздывала минимум на две-три недели. Даже преемник Цезаря Октавиан Август, учредивший государственную почту для доставки в провинции депеш и приказов, не стал использовать этот канал для распространения «Ведомостей». Очевидно, римляне не придавали большого идеологического значения начинанию Юлия Цезаря.

К подобному выводу приходит и прославленный немецкий историк Античности, лауреат Нобелевской премии Теодор Моммзен. В третьем томе «Истории Рима» он пишет: «Журналистика, в нашем смысле слова, никогда не существовала у римлян; литературная полемика ограничивалась брошюрной литературой да еще весьма распространенным в то время обычаем писать в общественных местах кистью и грифелем все сведения, предназначавшиеся для публики. Зато многим мелким личностям поручалось записывание для отсутствующих господ всех ежедневных происшествий и городских новостей; Цезарь еще во время своего первого консульства принял необходимые меры для немедленного обнародования извлечений из сенатских прений. Из частных записок этих римских наемных писак и из текущих официальных отчетов возникло что-то вроде столичного листа новостей (*acta diurna*), куда заносился краткий отчет о делах, обсуждавшихся в Народном собрании и в сенате, список родившихся, смертные случаи и тому подобное. Этот листок стал со временем довольно ценным историческим источником, но никогда не имел настоящего политического и литературного значения»⁵¹.

Сказанное Т. Моммзеном вовсе не означает, что римляне недооценивали роль публичного слова. Обратное блестяще доказали и Цезарь, и Цицерон, о чем речь шла выше. Вероятно, сказывалась изначальная культурная привязанность к устному политическому слову, привычка борьбы на римском форуме и недооценка общественного мнения провинции. Время публичной газеты еще не наступило.

Уже при Августе идея цезаревых «Ежедневных протоколов» была сильно изменена, поскольку Октавиан Цезарь был далек

⁵¹ Моммзен Т. История Рима: В 5 т. СПб., 1995. Т. 3. С. 422.

от идеализма своего приемного отца по поводу гражданского сознания населения Рима. Подробные отчеты заменили кратким отредактированным резюме; за счет уменьшения объема официальной информации расширился отдел происшествий, из которых публиковались самые невероятные. Римляне называли их «пустяками» (*ineptiae*). Образчики подобных сообщений сохранились у Плиния, который сам называет источником информации «*Acta senatus et populi*» — так стала именоваться официальная газета при Августе. Оттуда Плиний взял историю о каменном дожде, падавшем на форум в то время, когда Милон обращался к толпе с приветственной речью; из того же источника он заимствовал историю о верной собаке, которую не смогли оторвать от трупа ее хозяина, казненного и брошенного в Тибр.

«Пользуясь тем же источником, — утверждает Гастон Буассье, — Плиний рассказывает, что в восьмое консульство Августа один из жителей *Faesulae* пришел для жертвоприношения в Капитолий вместе с восьмью своими детьми, двадцатью восьмью внуками, восьмью внучками и девятнадцатью правнуками; вероятно, эта сказка была помещена по особому распоряжению императора, беспокоящегося обезлюдением Италии и любившего оказывать почет многочисленным семействам. Прибавим, что в этом же отделе упоминалось также о знатных свадьбах (светская хроника), рождениях и смертях, не считая разводов, которые должны были занимать большое место, ибо, по словам Сенеки, в Риме ежедневно происходило по крайней мере по одному разводу. Наконец, тот же Сенека следующими словами дает понять, что газетой пользовались еще при случае некоторые хвастуны для составления себе рекламы: “Что касается меня, я не помещаю в газете о своих пожертвованиях”»⁵².

При императорах, преемниках Августа, все более расширяется отдел светской хроники — описание различных церемоний при дворе. Публикуются списки лиц, принимаемых императором на Палатине. Сообщения, исходящие от лица императоров, постепенно присваивают себе близкие к трону женщины, Ливия и Агриппина, что, по словам историка, «очень оскорбляло Тиберия и Нерона». Теперь газета приводит речи императоров и даже упоминает об аплодисментах, которыми их встречали. С точки зрения занимательности правительственный листок делает большие успехи, но утрачивает первоначальный смысл, вложенный в него

⁵² Буассье Г. Газета Древнего Рима. С. 304—305.

Цезарем, чей образ мыслей сложился в республиканском государстве. Публикуя стенографические отчеты о заседаниях сената (за них обычно отвечал секретарь *abactus senatus* — молодой сенатор, бывший квестор и группа стенографов), Цезарь рассчитывал на добрую волю, разум римского гражданина, его стремление уразуметь истину, не жалея усилий, разобраться в процессах, происходящих в государстве. Поэтому газета Цезаря не претендовала на занимательность — она была полна неизбежных длиннот, повторов и... правды, неискаженной и неотредактированной. Цезарь верил в могущество своей газеты, поскольку, защищаясь от обвинений республиканцев, велел опубликовать там о своем отказе от царского титула (Vell. Pat., IV, 9). «Acta diurna» использовались как официальный документ без отвращения и насмешки. А новые «Acta senatus» стали объектом сатиры в *мениппее* все подвергавшего сомнению *Петрония*. В романе «Сатириконе» оплывший жиром от лености и тупости Трималхион (букв. в пер. с лат. — трижды противный) составляет счетную книгу по образцу городской газеты (*tanquam urbis acta*), где перечисляются события одного дня, происшедшие в землях безмерно богатого вольноотпущенника: «В седьмой день календ секстилия в поместье Трималхиона, что близ Кум, родилось мальчиков тридцать, девочек — сорок. Свезено на гумно модиев пшеницы — пятьсот тысяч, быков пригнано — пятьсот. В тот же день прибит на крест раб Митридат за непочтительное слово о Гении нашего Гая (пародия на императорский закон *об оскорблении величия* — *lex de maiestate*. — Е.К.). В тот же день отослали в кассу десять миллионов сестерциев, которые некуда было деть. В тот же день в Помпейских садах был пожар, начавшийся во владениях Насты, бурмистра» (Petr., Satir., LIII)⁵³. Содержание «Ведомостей» времен императора Нерона здесь передано довольно точно.

И все же скудная политическая информация, сохранявшаяся в «Acta senatus», влияла на формирование общественного мнения в провинциях. Об этом свидетельствует история гибели Тразеи, рассказанная *Корнелием Тацитом*. По словам историка, сенатор Тразея Пет не захотел поздравить Нерона со смертью его матери и не признал божеских почестей, воздаваемых жене императора Поппее. Стараясь не быть замешанным в мероприятиях, которые

⁵³ *Петроний Арбитр*. Сатириконе / Пер. Б. Ярхо // Петроний Арбитр. Апулей. М., 1991. С. 63.

он считал преступными, но не желая явиться бунтовщиком, нападая на них открыто, он удалился из сената и в течение трех лет не показывался там. Этим воспользовались доносчики, чтобы погубить его, и утверждали перед Нероном: «Ежедневные ведомости римского народа с особым вниманием читаются в провинциях и в войсках, потому что все хотят знать, что еще не захотел делать Тразея» (Тас., Ann., 22)⁵⁴. Нерон обратился к сенаторам с жалобой на «строптивость» Тразеи, личным примером поощряющего бесчинства других; в результате Тразея как «дезертир общего дела» был казнен.

Заканчивая разговор о римской газете, укажем, что наиболее полное собрание того, что сохранилось от издания «*Acta diurna*» и «*Acta senatus*», можно найти в книге: *Huner. De senatus populi que romani actis*. Leipzig, 1860. Само же прилагательное *diurnalis* (ежедневный) легло в основу французского понятия *journal*, и, следовательно, от него ведет свое название журналистика.

КРАСНОРЕЧИЕ ИМПЕРАТОР- СКОГО РИМА (I — начало II в. н.э.)

I век н.э. — время становления императорской власти в Риме, когда республиканские традиции красноречия превращаются в факт далекой и славной истории предков и открывается страница запретов на республиканскую идеологию и ее пропаганду. Историк Кремуций Корд, прославивший убийцу Цезаря Брута в своем труде, поплатился за это жизнью. Труд был сожжен, а историки и публичные ораторы мало-помалу научились выражаться кто языком лести, а кто языком Эзопа.

«С переходом от республики к империи латинское красноречие повторило ту же эволюцию, которую в свое время претерпело греческое красноречие с переходом от эллинских республик к эллинистическим монархиям. Значение политического красноречия упало, значение торжественного красноречия возросло. Не случайно единственный сохранившийся памятник красноречия I в. н.э. — это похвальная речь Плиния императору Траяну. Судебное красноречие по-прежнему процветало, имена таких ораторов, как Эприй Марцелл или Аквиллий Регул, пользовались громкой известностью, но это уже была только известность бойкого обвинителя или адвоката. Римское право все больше складывалось в твердую систему, в речах судебных ораторов оставалось

⁵⁴ Тацит К. *Анналы* // Тацит К. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 321.

все меньше юридического содержания и все больше формального блеска. Цицероновское многословие становилось уже ненужным, на смену пространным периодам приходили короткие и броские сентенции, лаконически отточенные, заостренные антитезами, сверкающие парадоксами. Все подчиняется мгновенному эффекту. Это — латинская параллель рубленому стилю греческого азианства; впрочем, в Риме этот стиль азианством не называется, а именуется просто “новым красноречием”. Становление нового красноречия было постепенным, современники отмечали его черты уже у крупнейшего оратора следующего за Цицероном поколения — Валерия Мессалы; а еще поколение спустя пылкий и талантливый Кассий Север окончательно утвердил новый стиль на форуме. Успех нового красноречия был огромным...»⁵⁵ Сенека перенес его в философию и драму, Лукан — в эпос, Персий и Ювенал — в сатиру.

Главным прибежищем красноречия этого периода становятся риторические школы, где учебными образцами остаются классические речи и трактаты Цицерона. Один из прославленных в это время риторов *Сенека Старший* (отец Сенеки — философа и моралиста) в «Предисловии» к **сборнику декламаций** (своего рода хрестоматия учебных речей по принципу *техне*) сожалеет об упадке красноречия своего времени, восхваляет времена республики, когда при Цицероне римские ораторы могли превзойти надменную Грецию. Поэтому, приводя суазорию на тему «Обсуждает Цицерон, умолять ли ему Антония?», Сенека замечает, что лишь немногие ученики осмеливались вложить в уста Цицерона обсуждение вопроса, как примириться с Антонием, а не гордое предпочтение смерти. Помимо воли Сенека отмечает существование республиканских взглядов в стенах школы: ученики из сенаторских семей охотно порицали тиранов суазорий, очевидно намекая на антисенатский террор в эпоху ранней империи.

Обыкновенно школьные упражнения разделялись на **суазории** (буквально «убеждающие речи»), т.е. речи увещательные, и **контroversии** (дословно «противоречия»), т.е. речи по поводу вымышленного судебного казуса. Вот пример первых: «Агамемнон обсуждает, принести ли ему в жертву Ифигению, если прорицатель Калхас утверждает, что иначе плыть невозможно?» Образец любопытной контroversии из хрестоматии Сенеки Старшего приведен в «Истории римской литературы» под редакцией С.И. Соболев-

⁵⁵ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 65.

ского: «Больной потребовал, чтобы раб дал ему яду. Тот отказался. Умиравший наказал наследникам распять раба. Раб ищет защиты у трибунов. Ритор, выступающий против раба, восклицает: “Вся сила завещаний погибла, если рабы не выполняют волю живых, трибуны — волю мертвых. Неужели не господин рабу, а раб господину определяет смерть?” Ритор, защищающий раба, возражает: “Безумен был приказавший убить раба; не безумен ли тот, кто и себя хотел убить? Если считать смерть наказанием, зачем ее просить? Если благом, зачем ею грозить?”»⁵⁶

Массу подобных примеров ученик риторической школы мог обнаружить в девяти книгах «Достопамятных деяний и изречений» *Валерия Максима*, опубликованных в 31 г. н.э. при императоре Тиберии. Скорее ритор, чем историк, Валерий Максим подбирает броские фразы, необыкновенные происшествия, включая и чисто фантастические, из всех доступных ему исторических сочинений, написанных как римлянами, так и другими народами. Он подбирает редкие слова и выражения, злоупотребляет ритмическим построением предложений и никогда не упускает возможности выразить свою преданность режиму и императору.

Все эти школьные упражнения, естественно, были очень далеки от практики красноречия предшествующей эпохи, но не были вовсе бесполезны: они представляли собой прекрасную гимнастику для ума и языка. Помимо этого, изобретательность и занимательность сюжета, чисто психологические коллизии, патетика, установка на образное восприятие конфликта, игра воображения — все сближало риторику и поэзию. Результатом стало развитие жанра авантюрного романа и других не менее плодотворных жанров «второй софистики», оказавшей огромное влияние на развитие европейской литературной традиции.

Однако времена меняются, и постепенно риторические школы в Риме, где в конце концов узаконили преподавание на латинском языке, наполняются не представителями древних аристократических родов, в результате императорского террора уходящих с политической сцены Рима, а «новыми людьми» из западных, а позднее и восточных римских провинций. «Провинциалы», введенные в сенат императорской властью, все более ратуют за необходимость и неизбежность утверждения монархии, о примирении с ней и стоическом принятии всех ее зол и положительных

⁵⁶ История римской литературы: В 2 т. / Под ред. С.И. Соболевского. М., 1959. С. 518.

деяний. В философии пышно распускаются все формы эскапизма — бегства от действительности в недра субъективных идеалистических концепций: скептицизм, кинизм, особая форма эпикуреизма в среде образованных знатоков, а также увлечение восточными мистическими культами в низовой среде. Впоследствии все это станет почвой для утверждения новой идеологии христианства.

Глава новой риторической школы *Марк Фабий Квинтилиан* размышлял «О причинах упадка красноречия» в одноименном трактате. На поставленный вопрос Квинтилиан отвечал как педагог: причина упадка красноречия в несовершенстве воспитания молодых ораторов. В целях улучшения риторического образования Квинтилиан пишет обширное сочинение «Образование оратора», где излагает ведущие взгляды своей эпохи на теорию и практику красноречия, образцом которого продолжает служить Цицерон.

Подобно Цицерону («Брут»), Квинтилиан видит залог процветания красноречия не в технике речи, а в личности оратора: чтобы воспитать оратора «достойным мужем», необходимо развивать его нравственность, чтобы он был «искусен в речах», следует развивать его вкус. Развитию нравственности должен служить весь образ жизни оратора, в особенности же занятия философией. На развитие вкуса рассчитан цикл риторических занятий, систематизированный, освобожденный от излишней догматики, ориентированный на лучшие классические образцы. «Чем больше тебе нравится Цицерон, — говорит Квинтилиан ученику, — тем больше будь уверен в своих успехах».

«Но именно это старание Квинтилиана как можно ближе воспроизвести цицероновский идеал отчетливее всего показывает глубокие исторические различия между системой Цицерона и системой Квинтилиана. Цицерон, как мы помним, ратует против риторических школ, за практическое образование на форуме, где начинающий оратор прислушивается к речам современников, учится сам и не перестает учиться всю жизнь. У Квинтилиана, наоборот, именно риторическая школа стоит в центре всей образовательной системы, без нее он не мыслит себе обучения, и его наставления имеют в виду не зрелых мужей, а юношей-учеников; закончив курс и перейдя из школы на форум, оратор выходит из поля зрения Квинтилиана, и старый ритор ограничивается лишь самыми общими напутствиями для его дальнейшей жизни. В соответствии с этим Цицерон всегда лишь бегло и мимоходом касался обычной тематики риторических занятий — учения о пяти

разделах красноречия, четырех частях речи и т.д., а главное внимание уделял общей подготовке оратора — философии, истории, праву. У Квинтилиана, напротив, изложение традиционной риторической науки занимает три четверти его сочинений (9 из 12 книг — это самый подробный из сохранившихся от древности риторических курсов), а философии, истории и праву посвящены лишь три главы в последней книге (XII, 2—4), изложенные сухо и равнодушно и имеющие вид вынужденной добавки. Для Цицерона основу риторики представляет освоение философии, для Квинтилиана — изучение классических писателей; Цицерон хочет видеть в ораторе мыслителя, Квинтилиан — стилиста; Цицерон настаивает на том, что высший судия ораторского успеха — народ; Квинтилиан в этом уже сомневается и явно ставит мнение литературно искушенного ценителя выше рукоплесканий невежественной публики. Наконец — и это главное — вместо цицероновской концепции плавного и неуклонного прогресса красноречия у Квинтилиана появляется концепция расцвета, упадка и возрождения — та самая концепция, которую изобрели когда-то греческие аттицисты, вдохновители цицероновских оппонентов. Для Цицерона золотой век ораторского искусства был впереди, и он сам был его вдохновленным искателем и открывателем. Для Квинтилиана золотой век уже позади, и он — лишь его ученый исследователь и реставратор. Путь вперед больше нет: лучшее, что осталось римскому красноречию, — это повторять пройденное»⁵⁷.

Учеником и последователем Квинтилиана был *Плиний Младший*, автор уже упоминавшегося «Панегирика Траяну». Помимо этого огромного, почти в 100 страниц энкомия здравствующему властителю, пропитанного ненавистью к деспотизму его предшественника Домициана, в подражание Цицерону Плиний написал целый том писем (девять книг посланий к разным лицам и одну — деловой переписки с императором Траяном). Он сам собрал свои письма, к подлинным добавил фиктивные, написанные специально для издания в форме рассуждения и рассказа, с продуманной прихотливостью расположил их по книгам, не связанным со временем или определенным адресатом... Плиний был не лишен таланта и стилистического блеска, но его «стилизация» под классика Цицерона «особенно ярко показывает, насколько бессилён оказывается классицизм рядом с классикой»⁵⁸.

⁵⁷ Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 68.

⁵⁸ Там же. С. 69.

Другой значительной фигурой в истории «нового красноречия» стал философ и моралист *Луций Анней Сенека* (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.). В молодости Сенека пробовал свои силы как судебный оратор, но настоящий успех имели его выступления в сенате, за которые он поплатился при Клавдии почти восьмилетней ссылкой. И хотя Сенека не претендовал на лавры риторика и наставника новых поколений, Квинтилиан свидетельствует об обратном: «Один он был в руках молодежи»⁵⁹. В периоды общего упадка гражданских идей в обществах, прошедших путь от демократии к единовластию, всегда наблюдался процесс примирения риторики и философии. Сенека Младший — характернейший пример подобного симбиоза.

Если Цицерон писал свои морально-этические трактаты в форме диалога, то Сенека в своих философских трактатах приходит к форме **диатрибы** — проповеди-спора, где новые и новые вопросы заставляют философа все время с разных сторон подходить к одному и тому же центральному тезису. Если трактаты Цицерона имели в основе линейную композицию развития тезиса — логику развития мысли, то в сочинениях Сенеки композиция как таковая отсутствует: все начала и концы выглядят обрубленными, аргументация держится не на связности, а на соположении доводов. Автор старается убедить читателя не последовательным развертыванием логики мысли, подводящей к центру проблемы, а короткими и частыми наскоками со всех сторон: логическую доказательность заменяет эмоциональный эффект. По существу, это не развитие тезиса, а лишь повторение его снова и снова в разных формулировках, работа не философа, а риторика: именно в этом умении бесконечно повторять одно и то же положение в неистощимо новых и неожиданных формах и заключается виртуозное словесное мастерство Сенеки.

Тон диатрибы, проповеди-спора, определяет синтаксические особенности «нового стиля» Сенеки: он пишет короткими фразами, все время сам себе задавая вопросы, сам себя перебивая вечным: «Так что же?». Его короткие логические удары не требуют учета и взвешивания всех сопутствующих обстоятельств, поэтому он не пользуется сложной системой цicerоновских периодов, а пишет сжатыми, однообразно построенными, словно нагоняющими и подтверждающими друг друга предложениями. Там, где Сенеке случается пересказывать мысль Цицерона своими словами,

⁵⁹ *Квинтилиан. Образование оратора. X, 1, 125 (см.: Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976. С. 94).*

эта разница особенно заметна. Так, Цицерон писал: «Даже в гладиаторских боях, где речь идет о положении и судьбе людей самого низкого происхождения, мы обычно относимся с отвращением к тем, кто дрожит, молит и заклинает о пощаде, но стараемся сохранить жизнь тем, кто храбр, мужествен и смело идет на смерть: мы скорее жалеем тех, кто не ищет нашего сострадания, чем тех, кто его добивается» (За Милона, 92). Сенека передает это так: «Даже из гладиаторов, говорит Цицерон, мы презираем тех, кто любой ценой ищет жизни, и одобряем тех, кто сам ее презирает» (О спокойствии духа, 11, 4). Вереницы таких коротких, отрывистых фраз связываются между собой градациями, антитезами, повторами слов. «Песок без извести» (*harenam sine calce*) — метко определил эту дробную рассыпчатость речи ненавидевший Сенеку император Калигула⁶⁰. Враги Сенеки упрекали его в том, что он использует слишком дешевые приемы в слишком безвкусном обилии; он отвечал, что ему как философу безразличны слова сами по себе и важны лишь как средство произвести нужное впечатление на душу слушателя, а для этой цели его приемы хороши. Точно так же не боится быть вульгарным Сенека и в языке: он широко пользуется разговорными словами и оборотами, создает неологизмы, а в торжественных местах прибегает к поэтической лексике. Так из свободного словаря и нестроного синтаксиса складывается тот язык, который принято называть «серебряной латынью», а из логики коротких ударов и эмоционального эффекта — тот стиль, который в Риме называли «новым красноречием»⁶¹.

Примером едкой публицистической манеры Сенеки может служить политический памфлет на императора Клавдия, написанный после его смерти, когда Сенека занял значительный пост в иерархической системе власти при молодом Нероне. В переводе на русский язык памфлет Сенеки назывался «*Отыквление*» («*Apocolokyntosis*»), что звучало как каламбур по отношению к «*обо-жествлению*» (*Apotheosis*) — официальному ритуалу включения в сонм божеств каждого умершего римского императора со времен «Божественного Юлия». Острый комизм ситуации придавало то, что в Риме тыква традиционно слыла символом глупости.

Сатира Сенеки начинается в духе инвективы против Клавдия, которого философ обвиняет в провинциальном происхождении,

⁶⁰ Suet., Caligula, 53 (см. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988).

⁶¹ История всемирной литературы. Т. 1. С. 473—474.

в глупости, рассеянности, неуклюжей походке грузного и хромого человека. Особый предмет для издевательств составляет увлечение Клавдия филологией и греческим языком, еще не вполне обретшим права гражданства в Риме. Как образованный ритор Сенека блестяще пользуется цитатами из древних. К примеру, встречая Клавдия на небесах, Геркулес обращается к нему стихом из Гомера: *«Кто ты таков? Где отчизна твоя? Где родитель живет твой?»* Счастливый Клавдий, нашедший понимание на Олимпе, отвечает таким же стихом из «Одиссеи»: *«От Илиона меня к киконам буря пригнала»*.

Такая смесь стихов (а Сенека для своей пародии пользуется цитатами не только из Гомера, но и из Еврипида, Вергилия, Катутла и менее известных поэтов) и прозы в Античности называлась «менипповой сатурой». Сам строй языка, в котором много просторечия, поговорок, низменных выражений, контрастирует с цитатами из высокой классической литературы и обстановкой Олимпа, где и происходит «отыквление». Впоследствии этот стиль будет использован Лукианом для кинического развенчания всех божеских и человеческих авторитетов. Здесь же Сенека не упускает возможности восторженно прославить молодого преемника Клавдия Нерона, того самого императора, чьим воспитателем он был и по приказу которого вскроет себе вены.

Последним великим оратором этой эпохи был *Корнелий Тацит*, сверстник Плиния. Единственное риторическое сочинение Тацита *«Разговор об ораторах»* появилось, по-видимому, немногим позже *«Образования оратора»* Квинтилиана, около 100 г. н.э. Вопрос о судьбах латинского красноречия вновь поднимается Тацитом, но не с точки зрения стиля и построения программы обучения риторике, а с точки зрения места риторики в жизни общества, социального смысла красноречия. Поэтому некоторые герои *«Разговора об ораторах»* (действие происходит в 75 г. н.э.) живо напоминают нам центральные образы Цицероновского диалога *«Об ораторе»* (стремительный и беспринципный Април исполняет роль, аналогичную Антонию, а рассудительный образованный Мессала — Цицероновского приверженца старины Красса). Разговор начинается с призыва Курация Матерна отказаться от ораторских занятий и предаться чистой поэзии, поскольку тревоги, унижения и опасности подстерегают оратора на каждом шагу. Его позицию пытается опровергнуть Април, приводящий доводы в пользу нынешнего красноречия, на что Мессала обращается к сравнению «нового» и «древнего» (т.е. республиканского) красноречия. Очевидно, что красоты нового стиля слишком часто оказываются

жеманными, недостойными мужественной важности речи, что сама эта забота о внешности, яркости, блеске речи есть признак вырождения и упадка. Кроме того, древнее цicerоновское красноречие естественно порождало обилие слов обилием мыслей, усвоенных из философии, а новое красноречие с философией не знакомо, мыслями скудно и вынуждено прикрывать свое убожество показным блеском. «Август умиротворил красноречие», — подводит итог Мессала. Красноречию нет места в обществе, где царствует тиран.

Как блестяще формулирует М.Л. Гаспаров: «Вопрос о судьбах римского красноречия распадается на два вопроса — о жанре и о стиле красноречия. Квинтилиан признавал незыблемость жанра красноречия, но предлагал реформировать стиль. Тацит отрицает жизнеспособность самого жанра красноречия (политического и судебного) в новых исторических условиях. Это мысль не новая: она трагической нотой звучала в том же цicerоновском “Бруте”; и если Квинтилиан, читая “Брута”, учился быть критиком, то Тацит, читая “Брута”, учился быть историком. Действительно, он уходит от красноречия к истории, как Матерн — к поэзии: первые книги “Истории” Тацита появляются через несколько лет после “Разговора об ораторах”. Что же касается вопроса о стиле, то и здесь сказалось тацитовское чувство истории. Он видит вместе с Апром историческую закономерность перерождения цicerоновского стиля в стиль “нового красноречия” и понимает, что всякая попытка повернуть историю вспять безнадежна. Поэтому вместе с Мессалой он не осуждает новый стиль в его основе, а осуждает только его недостатки в конкретной практике современников: изнеженность, манерность, несоответствие высоким темам. И когда он будет писать свою “Историю”, он наперекор Квинтилиану и Плинию смело положит в основу своего стиля не цicerоновский слог, а слог нового красноречия, но освободит его от всей мелочной изысканности, бьющей на дешевый эффект, и возвысит до трагически величавой монументальности. Стиль Тацита-историка — самая глубокая противоположность цicerоновскому стилю, какую только можно вообразить, но Тацит пришел к нему, следуя до конца заветам Цицерона.

Квинтилиан стремился перенести в свою эпоху достижения Цицерона, Тацит — методы Цицерона. Квинтилиан пришел к ретавраторскому подражанию, Тацит — к дерзкому эксперименту. И то и другое было попыткой опереться на Цицерона в борьбе против модного красноречия, но путь Квинтилиана был удобен для бездарностей, путь Тацита доступен только гению. Поэтому

на обоих путях Цицероновскую традицию ждала неудача: классицизм Квинтилиана в течение двух-трех поколений выролдился в ничто, а искания Тацита не нашли ни единого подражателя, и стиль его остался единственным в своем роде. Это было последнее эхо Цицероновского призыва к обновлению риторики»⁶².

ЭЛЛИНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ И «ВТОРАЯ СОФИСТИКА»

Последний период расцвета античной культуры связан с кратковременным этапом стабилизации императорского Рима и установления долгожданного *paх romanorum* — **римского мира**, который сводился не только к миру на

римских границах, но и к миру между императорской властью и сенатом, почти целиком состоявшим из провинциальной знати. Сенатская оппозиция, возглавляемая представителями старинного римского нобилитета, была практически уничтожена путем репрессий императоров против сената в I в. н.э. Провинциальная аристократия в сенате склонилась к поддержке власти императоров и одобрению избранных им соправителей и наследников. Именно императорская власть защищает интересы новых сенаторов на местах, а в конце III в. н.э. официально распространяет право римского гражданства на всех провинциалов. С другой стороны, внутренние распри претендентов на власть наконец прекратились; огромная держава перестала стремиться к новым захватам, а оборона рубежей от варваров стала делом небольших гарнизонов.

Центр культурной жизни империи переносится из столицы в провинции. В культуре II—III в. н.э. большую роль приобретают грекоязычные окраины — Малая Азия и Сирия, а также Африка. «Основой “эллинского возрождения” были экономическое благосостояние и богатые культурные традиции восточных провинций: до II века оно сковывалось сопротивлением римских ценителей, заметным и у Сенеки, и у Тацита, и у Ювенала. Теперь оно быстро расцветает и становится центральным явлением культурной жизни всей империи. **Эллинофильство** делается модой: африканцы Фронтон и Апулей декламируют на обоих языках, галл Фаворин и италик Элиан гордятся чистотой греческого слога, даже император Марк Аврелий пишет свои философские размышления по-гречески. Синтез греческой и римской культур, не встречая преграды уже ни в политическом сопротивлении Рима, ни в культурном

⁶² Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика. С. 70—71.

высокомерии Греции, находит теперь свое окончательное выражение»⁶³.

Профессия странствующего риторa, выступающего в греческих городах с демонстрационным репертуаром гастролирующей знаменитости, становится настолько распространенной, что II в. н.э. принято считать веком «**второй софистики**». Терминологически понятие связывается с расцветом «первой» софистики в V в. до н.э., когда учителя красноречия, странствуя по Элладе, создавали дотоле невиданный образ мира, основанный не на слепой вере, а на разуме и знании. Конечно, знания «первой» софистики во многом базировались на релятивизме и скептицизме, но в основе они проверялись логикой и сами подготавливали почву для развития философии и первых научных знаний о человеке, обществе и природе (именно в такой последовательности). «Вторая софистика» была явлением совершенно другого ряда, поскольку не ставила перед собой практических задач совершенствования человека и мира. Это было увлечение кастово замкнутой группы интеллектуалов, выступавших перед толпой, как факиры, демонстрирующие чудеса. *Политическое красноречие* не могло быть родом деятельности бродячего риторa, поскольку в сферу его деятельности перестало входить решение политических и государственных вопросов, да и его слушатели давно забыли шум Агоры и время, когда страной правил Народное собрание. Императорская власть была столь мощна и недостижима, что обсуждать ее решения не приходило в голову никому. *Судебное красноречие* перестало служить трибуной, с которой, как во времена Цицерона, провозглашали и защищали нравственные и политические идеалы; назначенный императором судейский чиновник в этом смысле не составлял благодатной аудитории.

Единственным дошедшим до нас подлинным памятником судебного красноречия этого времени является «Апология, или Речь о магии» (*Apologia sive de magia*) *Апулея* (ок. 125—180 н.э.), произнесенная им в суде в свое оправдание. Конечно, для издания текст был переработан автором, но все же он дает довольно полное представление о судебном красноречии в провинциях императорского Рима.

Поводом к обвинению послужил навет недругов оратора, обвинявших его в черной магии. При изображении тупости, ограниченности и невежества своих обвинителей Апулей не жалеет

⁶³ История всемирной литературы. Т. 1. С. 485.

красок. Помимо этого он в лучших традициях инвективы создает портрет людей, утративших всякое понятие о порядочности. Характерны и зарисовки бытового характера, изображающие семейный быт зажиточных граждан далекой африканской провинции Рима (ср. Лисий).

Зато свой собственный портрет Апулей рисует с нескрываемым удовольствием. Красивый и изысканный молодой ритор и философ, он везде подчеркивает свою образованность, умение прекрасно говорить, поэтический талант, великолепное владение латынью и греческим. Будущий автор «Золотого осла» с наслаждением цитирует греческих и римских поэтов, упоминает десятки исторических имен и фактов, ссылается на авторитеты Платона, Аристотеля, Феофраста... Он настолько увлечен риторическими красотами — антитезами, короткими, симметрично построенными фразами, ритмическими клаузулами, рифмованными концовками предложений, архаическими и редкими словами, вульгаризмами и варваризмами, которые он собирает как скупец, что, кажется, иногда забывает о формальном поводе произнесения речи — защите от обвинения в колдовстве. Стиль Апулея в Античности именовали «африканским», но по своей пышности, цветистости и изощренности он был близок к азианству. Единственное, о чем Апулей никогда не забывает, так это об использовании малейшей возможности польстить власти предрежащей — в конкретном случае наместнику провинции, возглавлявшему суд.

Речь приносит очевидные плоды — Апулей оправдан и может продолжать творить. Ощущавший себя наследником классической Эллады, Апулей в одном из сохранившихся отрывков речей выражает умонастроение, объединяющее всех риторов «второй софистики»: «Один мудрец, ведя беседу за столом, произнес слова, ставшие знаменитыми: “Первая чаша принадлежит жажде, вторая — веселью, третья — наслаждению, четвертая — безумию”. Но о чашах муз должно сказать наоборот: чем чаще следуют они одна за другой, чем меньше воды подмешано в вино, тем больше пользы для здоровья духа. Первая — чаша учителя чтения — закладывает основы, вторая — чаша филолога — оснащает знаниями, третья — чаша ритора — вооружает красноречием. Большинство не идет дальше этих трех кубков. Но я пил в Афинах из иных чаш: из чаши поэтического вымысла, из светлой чаши геометрии, из терпкой чаши диалектики, но в особенности из чаши всеохватывающей философии — этой бездонной нектарной чаши. И в самом деле, Эмпедокл создавал поэмы, Платон — диалоги, Сократ —

гимны, Кратет — сатиры, Эпихарм — музыку, Ксенофонт — исторические сочинения, а ваш Апулей пробует свои силы во всех этих формах и с одинаковым усердием трудится на ниве каждой из девяти муз...»⁶⁴. На самом деле стремление совместить все искусства оборачивалось утратой возможности достичь совершенства хотя бы в одном из них, в частности в красноречии.

Как в случае с Апулеем, судебное красноречие этого времени вырождается в «Апологию самому себе» и инвективу на противника. Единственным благодатным жанром в условиях императорского Рима II—III вв. н.э. становится *торжественное, эпидейктическое* красноречие, в котором похвала наместнику, городу, памятнику, богу или абсурдным — горшкам, мышам, мухе (см. Лукиан) — есть часть концертной программы странствующих виртуозов слова. Наиболее обидным представляется то, что эллинская культура в Средиземноморье продолжает рождать талантливых мастеров красноречия. Но на последней стадии умирающей культуры слово, как и оружие, «игрушкой золотой» блещет на стене, «увы, бесславной и безвредной».

Поскольку перспектива будущего общественного развития в культуре императорского Рима II—III в. н.э. отсутствует, возникает характерная и для предшествующего периода *идеализация прошлого*. «Сочетание сознательной реставрации культурных форм прошлого расцвета и бессознательного тяготения к культурным формам наступающего упадка определяет своеобразие этой ступени развития античной литературы», — отмечает М.Л. Гаспаров⁶⁵.

Реставраторские поиски идеала и образца в истории давно ушедших эпох определяют творчество великого мастера красноречия *Плутарха* (ок. 45 — ок. 127). Его «Сравнительные жизнеописания», не раз цитировавшиеся в этой работе, могут служить великолепным образцом риторической практики. Но, помимо прочего, Плутарх — великий историк и моралист, «речи» его героев, диалоги и диатрибы в его философских беседах связаны с беллетристикой. Говоря о прошлом, Плутарх позволяет себе пропагандировать древние республиканские и демократические идеалы, поэтому его творчество в период развития «второй софистики» стоит несколько особняком.

Собственно, в риторике реставраторские тенденции ощущаются еще сильнее, чем в истории (Плутарх, Дион Кассий) и в фило-

⁶⁴ Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды / Пер. М.А. Кузмина, С.П. Маркиша. М., 1993. С. 351—352.

⁶⁵ История всемирной литературы. Т. 1. С. 486.

софии (Эпиктет, Филострат). «Почвой для них был *аттицизм* — стремление вернуться к языку классиков, минуя язык эллинистических писателей. Мы видели зарождение этого направления в I в. до н.э. и победу его в I в. н.э. Но тогда крайности его были смягчены, и понятие “подражание классикам” понималось достаточно широко. Теперь, когда уход в древность стал знамением времени, это понятие сузилось до его буквального значения. Идеалом красноречия было объявлено точное воспроизведение аттического диалекта древних классиков, т.е. языка 600-летней давности. Все слова, вошедшие в язык позднее, изгонялись из употребления в речах. Противоестественность такого языкового консерватизма очевидна; и все же аттицизм восторжествовал в литературе, по крайней мере в “высокой” литературе. Были мастера, которые даже импровизировали по-аттически. Отдельные виртуозы достигали такого совершенства, что их сочинения долго принимались за подлинные произведения V в. до н.э.; но большинство писателей довольствовались более отдаленным подражанием, оставлявшим больше места собственному вкусу. Играл роль также и выбор образца: одни предпочитали воспроизводить манеру Исократ, другие — манеру Демосфена; были такие, которые по желанию подражали то одному, то другому; были такие, что при этом даже выходили за пределы аттического круга образцов и подражали, например, ионийской прозе Геродота (Арриан в “Индии”, Лукиан в “Сирийской богине”). Это прощалось, потому что главное требование времени — реставрация старины, оставалось удовлетворенным. <...>

Однако все это подражание аттическим классикам практически ограничивалось одной лишь областью — областью языка. Уже на уровне стиля, а тем более на уровне жанра, не говоря уже об уровне тем и идей, никакое следование аттическим образцам было невозможно. ...оратору не в чем убеждать, и он может лишь услаждать и волновать свою публику; по-прежнему главным для оратора остается внешний эффект, ради которого мобилизуются и пышные периоды, и звонкие созвучия, и броские образы, и четкие ритмы; по-прежнему питомником такого красноречия является риторская школа с ее декламациями, темы которых или вымышлены, или заимствованы из далекой древности. Иными словами, аттицизм господствует лишь в уделе грамматика, а в уделе ратора продолжает царить тот эллинистический стиль, который когда-то назывался “азианством”, а потом “новым красноречием”»⁶⁶.

⁶⁶ Там же. С. 487—488.

Наиболее блистательным ритором этого периода может быть назван *Дион Хрисостом* (*Златоуст* — ок. 40—120), уроженец Вифинии, соединивший в себе идеал странствующего оратора и философа-киника. В прославленной «Олимпийской речи, или Об изначальном сознании божества» он много раз варьирует известный кинический тезис «...я ничего не знаю и не говорю, будто знаю»⁶⁷. Кинизм — наиболее воинствующее, критическое учение Античности, и поэтому спокойной жизни Диону не видать.

Поводом странничества и несения комплекса страдальца, зарабатывающего на жизнь поденным трудом, послужил конфликт Диона с императором Домицианом, запретившим риторам жить в Вифинии и в Италии, поскольку последний сблизился в Риме с придворной оппозицией. Дион действительно стремился к общественно значимому красноречию, но судьба политической публицистики и ее носителей при авторитарном правлении предсказуема, и поэтому талантливый ритор избирает роль странствующего философа. Из речей «Об изгнании», «Диогеновских», «Борисфенской» нам известно о четырнадцатилетних скитаниях Диона. Смерть Домициана и воцарение новой династии Антонинов изменили политическую ситуацию в Риме. При императоре Траяне гонения на сенат закончились, и Дион вернулся к широкой общественной деятельности. Являясь вифинийским послом в Риме, он произносит перед Траяном четыре знаменитые речи-проповеди «О царской власти», в которых обосновывает и утверждает идею просвещенной монархии. Эти речи, почти лишенные лести, отличаются от характерных для времени Диона торжественных славословий императору. Он умеет быть суровым и в отношении сограждан, которых упрекает в безнравственности и легкомыслии («Александрийская речь»), но слава его базируется совсем на других, парадоксальных по своему характеру сочинениях.

В уже упомянутой «Олимпийской речи...» Дион делает центральным эпизодом мнимое оправдание Фидия, «человека речистого и уроженца речистого города, да к тому же близкого друга Перикла...» (55). Великий скульптор V в. до н.э. защищается от обвинения в создании с помощью «смертного искусства» облика божества, «соответствующего его имени и величию». Воображаемый суд и воображаемые речи, Атика V в. до н.э., пышные риторические украшения, общие места философских размышлений о происхождении богов — все так сильно напоминает упражнения

⁶⁷ Цит. в пер. Н. Брагинской, М. Грабарь-Пассек по: Ораторы Греции. С. 284.

риторской школы, что речь Диона просто перестает восприниматься всерьез. В филологическом знании, в умении цитировать древних, в попытках психологизации искусства Диону нет равных. Но стилистика времени накладывает свой отпечаток на усилия риторы, желающего быть философом, и превращает его искусство в поле битвы с самим собой, битвы изнурительной и драматической, но заметной только внимательному глазу специалиста. Риторика Диона перестает также быть формой общественной пропаганды и превращается для толпы в «чистое искусство» избранных...

Еще более показательна в этом смысле «Троянская речь». Повод к ее созданию чисто политический, а не парадоксальный, как представляется поверхностному взгляду. Действительно, что может быть неожиданнее попытки опровержения Гомера, повествующего о падении Илиона?! Но формальная, игровая задача обоснована автором так: «Всех людей учить трудно, а морочить легко <...> меня не удивило бы, если бы вы, мужи Илиона, были готовы больше доверия высказать Гомеру, хотя его ложь о вас чудовищна, нежели мне с моей правдой, и если вы были бы готовы признать того божественным мужем и мудрецом и с самого младенчества обучать своих детей его стихам, хотя вашему городу в них достаются только поношения, да еще и клеветнические...» (4). О чем речь и почему слушатели Диона — «мужи Илиона»? Внимательным читателям Вергилия и без комментариев ясно, что оратор обращается к гражданам Римской империи, потомкам Энея, основателя римского могущества. Еще до появления «Энеиды» римляне возводили генеалогию своих знатнейших родов к троянскому царевичу Энею, сыну Венеры и Анхиза, бежавшему из разоренного ахейцами Илиона. Например, род Юлиев, знаменитостью в котором был диктатор Гай Юлий Цезарь, называл своей прародительницей Венеру (мать Энея), а родовое имя возводил к Иулу, сыну Энея от Лавинии. Священная история Рима, получившая формальное воплощение в национальном эпосе римского народа, вышедшем из-под пера Вергилия, была ответом латинян на заносчивость «жалких греков», гордившихся своей многовековой историей. Могущественные цари мифической Трои стали предшественниками Ромула и Рема, чтобы римская гордость не страдала при звуках песен Гомера.

Задача Диона еще более тенденциозна. Он намерен вопреки Гомеру доказать, что в борьбе под Троей ахейцы потерпели поражение и убралась восвояси, не получив даже Елены, которая между тем была выдана замуж за Александра (Париса) «по воле

ее родичей» (61). Троянский царевич не оскорбил греков похищением «мужней жены» и нарушением законов гостеприимства, а вражда к царству Приама Менелая и Агамемнона была вызвана опасениями за утрату микенского влияния на Элладу с усилением влияния троянского...

В свою парадоксальную речь Дион привлекает целый арсенал понятий и терминов современной ему римской политики. Блистательная эрудиция филолога, историка, психолога, весь запас риторических приемов, глубокий аналитический ум — средства, направленные на осуществление искусственной идеи — доказать мифическое римское превосходство над мифическими же героями Эллады. Диону в этой речи невозможно отказать в виртуозной логике и в знании человеческого характера. Его доводы нередко раздражают, особенно требования формального правдоподобия от автора эпической поэмы, но неожиданно — убеждают. Тенденциозность Гомера в изложении событий отмечалась критикой и в Новое время (например, «Лаокоон...» Лессинга). Диону же в этом смысле нет равных. Оратор убедителен, серьезен и оттого еще более наивен. Развенчание Гомера — фарсовый, пародийный прецедент, поскольку ценность гомеровского эпоса не столько в его фактической достоверности, сколько в гуманистическом пафосе и великой поэзии. Великий дар Хрисостома отражает тенденции времени: любовь к формальной игре ситуациями и смыслами, демонстрирование эрудиции, измельчение проблематики, поиски редких сюжетов, элитарность, оригинальность, неожиданность решения — все так знакомо нам, живущим в среде постмодернистской культуры. В этом нет вины Диона, такова судьба красноречия в периоды кризиса культуры. Уточним: такова судьба публицистических жанров в период умирания гражданского общества.

В середине II в. н.э. на смену Плутарху и Диону приходит *Элий Аристид* (ок. 117—189) — идеальное воплощение «второй софистики». Профессор Ф.Ф. Зелинский метко характеризует «вторую софистику» Аристида таким образом: «Явление это — очень интересное в бытовом отношении, но малоутешительное в литературном, и мы бываем склонны проклинать извращенный вкус последующих эпох, которые, дав погибнуть стольким сокровищам греческой поэзии, бережно хранили нам бессодержательные речи *Элия Аристида*»⁶⁸. Аристид был при жизни очень знаменит (до наших дней сохранилось 55 его речей). Модный

⁶⁸ Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. С. 339.

ритор, он заносчиво заявлял, что «не пользуется словами, не за-свидетельствованными у древних»⁶⁹. Его искусство — стилизация, его идеи — официальные версии имперской политики («Похвала Риму»), он самобытен только в болезни, когда создает благодарственные, как молитвы, речи во славу Асклепия, бога-врачевателя. «Вторая священная речь», одна из пяти дошедших до нас «преданий о божественных откровениях Асклепия», поражает читателя прежде всего отсутствием продуманного плана или хотя бы хронологического рассказа о событиях. Свободное течение мысли прихотливо располагает материал, с трудом воспринимаемый на слух. Это сбивчивый рассказ человека, приобщившегося к «чуду». Предметом речи становятся пересказы вещей снов, пророчеств, описание жертвоприношений, омовений, магических обрядов, чудесных спасений и, наконец, явлений бога самому рассказчику (тип былички). Однако жанры мистического пророчества и публицистического красноречия почти несовместимы, поэтому логика риторической структуры разрушена, исторические экскурсы (тема чумы в Афинах при Перикле) и блеск «ученой» эрудиции неуместны. Впрочем, речи Аристиды, может быть, в большей мере, чем другие сохранившиеся документы эпохи, отражают умонастроения толпы, устранившейся от общественной деятельности, склонной к суевериям и мистицизму, увлеченной самыми крайними формами восточных мистериальных культов.

Интересной фигурой последнего века античной риторики является *Либаний* (314—393), всеми признанный ритор и грамматик из Антиохии, мастерству которого подражали и знаменитый император *Юлиан Отступник*, и его христианские антагонисты Василий Кесарийский и Григории Назианзин.

Либаний — прежде всего учитель красноречия, и в его наследии сохранился ряд риторических упражнений — декламаций (*прогимнасы*, как называли их древние). Познакомившись с ними, можно представить процесс обучения в риторских школах поздней Античности. Помимо общеобразовательных знаний по разным дисциплинам ученики получали навыки в композиционном построении речи и в поиске элементов, оживлявших материал. «Среди этих упражнений особое место занимает *басня* (типа эзоповской), *диегема* (рассказ на историческую тему), *хрия* (развитие морального принципа каким-либо знаменитым человеком),

⁶⁹ *Борухович В.* Ораторское искусство Древней Греции // Ораторы Греции. С. 17.

сентенция (развитие философского положения), *опровержение* (или, наоборот, *защита*) правдивости рассказа о богах и героях, *похвала* (или, наоборот, *порицание*) какого-либо человека или предмета, *сравнение* (двух людей или вещей), *экфраз* (описание памятника изобразительного искусства или достопримечательной местности)»⁷⁰.

Весь комплекс риторического мастерства и соединение разнообразнейших жанровых форм находим в «Апологии Сократа ратора Либания», написанной с этико-эстетической целью прославленным виртуозом едва ли не семь веков спустя после казни героя энкомия. В «Апологии Сократа...» Либаний блистает изощренной аттической речью и аттической же эрудицией. Это торжественное по жанру риторическое упражнение (житие и муки мудреца Сократа) стилизовано под речь судебного защитника, выступающего на процессе 399 г. до н.э. Вдохновленный собственной патетикой, Либаний восклицает, что «готов с Сократом рядом встать и правосудию ответить» (92)⁷¹.

В этой речи, как и во многих других, Либаний почти не употребляет слов, отсутствующих в лексиконе Демосфена. Разнообразие и богатство его лексики позволяют ему подбирать самые близкие современным понятиям эквиваленты, благодаря чему его изложение становится максимально понятным и напоминает естественную разговорную речь. Виртуозно владеющий приемами Аристотелевой риторики, Либаний выстраивает целый ряд энтимем, помогающих опровергнуть обвинения, выдвинутые против Сократа Анитом, Милетом и проч., — и вдумчивый историк получает дополнения к рассказу Платона и Ксенофонта о процессе Сократа. Автор «Апологии...» III века широко пользуется *приемом наведения*, обратившись к мифологии и аттической истории не столько с целью доказательства невиновности подсудимого, сколько с надеждой продемонстрировать свои глубокие знания и начитанность в этих областях. При использовании риторических *антитез*, *амплификаций*, *олицетворений* и прочих красот Либанию нет равных. Все приемы уместны, ясны и наглядны, только приведены в таком изобилии, что общий смысл говоримого постепенно теряется для неопытного читателя и, по сути, не может быть воспринят слушателем. 184 отлично сделанных

⁷⁰ Там же. С. 21.

⁷¹ Апология Сократа ратора Либания. Цит. соч. в пер. М.А. Райциной // Суд над Сократом: Сб. исторических свидетельств: Платон, Ксенофонт, Диоген, Лаэртий, Плутарх, Либаний. СПб., 1997.

и выверенных периода с кульминацией (обращением к Аполлону Дельфийскому, нарежнему Сократа мудрейшим из людей) точно в сотой книге не предназначены для произнесения. Как большинство эпидейктических речей, «Апология...» Либания предназначалась для прочтения и хранения учениками.

И все же в «антикварной» речи Либания есть важные для автора осовременивающие моменты. Их три: во-первых, стоицизм Сократа («не станет мудрец к средствам неблаговидным для оправдания своего прибегать...» — 3, а также 170) как образец достойного поведения философа и интеллектуала в условиях политических гонений; во-вторых, тема благого воздействия философии и риторики⁷² на политическую и общественную жизнь [Либаний рассуждает о судьбе Фемистокла, Мильтиада, Аристиды, осужденных и гонимых народом, хотя они не были учениками софистов, и продолжает: «Итак, мужи, ни одним словом софиста не испорченные, запятнали себя делом бесчестным; тогда как Перикл, сын Ксантиппа, народом правил и согласия с волей своей добивался легко. Под эгидою Зевса, царя богов, достоинства царского на земле учредителя, достиг сей муж всех мыслимых вершин в государстве, и послушались его сограждане, когда просил их питомец Анаксагоров учителя из тюрьмы выволить. А может, уроки софиста — источник Перикловой славы и добродетели, благодаря им снискал он признательность величайшую и любовь народа?.. (156). С другой стороны, Критий и Алкивиад, возможно, выросли б малыми вовсе беспутными, если б знакомство с наукой сей души их не смягчило...» (160)]. В-третьих, псевдопророчество о прокля-

⁷² Учитель и ритор Либаний в сердцах не может сдерживать негодования, коснувшись темы «дурных учеников»: «Виноват ли наставник в том, что леньность, недостаток способностей или добронравия помешали кому-то из питомцев его усвоить зерно наставлений, как хотелось учителю? Не в ученике ли самом, что безразличен остался к словам старшего — по легкомыслию, а может статься, оттого, что с уроком в душе не соглашался, ибо склонился к примерам иным, — причина никудышнего результата? Представьте, для сравнения, земледельца, трудившегося на пашне усердно, орудия выбравшего наилучшие и самых крепких волов, однако оставшиеся ни с чем, когда пришло время жатвы, ибо все приложенные усилия бесплодие почвы сгубило? Кого обвините вы в неудаче — пахаря или безжизненный грунт?

Какому угодно ремеслу обучаясь — башмачника ли, плотника, — успехами ученики не одинаковы: один превзойдет учителя, другой точь-в-точь приемы мастера повторяет, и на шаг от усвоенного урока отступить не отваживаясь; дурак же и азбуки дела не одолеет. А все потому, афиняне, что разнятся люди природой своей в дарованиях и способностях, и иной раз усилия воспитателя тщетны. Не смирились с истиной сей, посчитай учителя всемогущим — никто не дерзнул бы знанием поделиться, — ведь воспользуясь им ученик неверно, а то и во зло окружающим, не сносить учителю головы» (142—143).

тиях и несмываемом позоре, павшем на головы виновников смерти философа [«Заклеймит вас на веки вечные несмываемое пятно позора. Писатели, знаменитые в трудах своих, его обессмертят — ведь записанная история повествует бесстрастно о добром и злом, и не вычеркнешь ни строки из памяти человеческой» (176, а также 181, 182)]. Все три темы указывают на то, что Либаний сосуществует с формирующейся властью средневековых императоров и в его творчестве остро встает вопрос об отношениях слова с единовластием, интеллекта — с монополией на мысль, общечеловеческой нравственности — с государственными интересами.

Формальное мастерство Либания, его виртуозное владение словом в полной мере воплощены в «Надгробном слове по Юлиану» — эпитафии на смерть императора, убитого в 363 г. н.э. во время войны с Персией. Для Либания Юлиан — покровитель, заступник и единомышленник. Поэтому в «надгробной речи», на самом деле существовавшей лишь в письменном варианте и никогда не произносившейся, Либаний создает род энкомия — панегирик рано умершему властителю. Несомненно, образцом для Либания служит Исократ — создатель жанра энкомия и «пишущий» оратор.

Эпитафий Юлиану строится по вполне привычной схеме похвальной речи: происхождение — воспитание — характер — деяния. Рассказ о формировании личности будущего благодетеля империи во многом напоминает «Евагора» Исократа: «Однако не во всем был он ровней товарищам, ибо куда как далеко опередил их понятливостью и смышленостью, и памятьливостью, и неутомимостью в ученье...» (*Либаний. Надгробное слово по Юлиану*, 12)⁷³. Подражая классикам, Либаний вдруг сбивается на стиль христианских житий, повествуя о чудесах, свершенных богами ради сохранения жизни будущего наследника престола (10, 28—30, 40—41 и др.). В личности Юлиана Либаний отмечает не только традиционные античные добродетели — доблесть, гражданственность, мудрость и справедливость, — но и христианские, совсем недавно вошедшие в обиход представлений современников ритора, такие как скромность, застенчивость, покорность диктату императора Константина и проч., в то время как идейные противники Юлиана христиане названы «растленными» (121). Либаний — человек своего времени, и его нескрываемое восхищение вызывают такие деяния Юлиана, сама мысль о которых не могла бы

⁷³ Здесь и далее цит. по: Ораторы Греции. С. 356.

прийти в голову ораторам классического периода. Например, император разгоняет чиновничий аппарат (отсутствовавший при демократии), полный мздоимцев и преступников, и окружает себя более или менее честными людьми (130—134). Император правит суд (который при демократии был судом присяжных) с удивительной простотой в обхождении: «...даже с судейского места обращался он к тяжущимся витиям и к их подзащитным совершенно запросто, дозволяя всяческие вольности: хоть кричи во все горло, хоть руками размахивай, хоть ходуном ходи, хоть издавайся над противником и прочее подобное — все, что принято делать для победы в прениях. Обыкновенно обращался он к спорящим “друзья мои”, именуя так не одних витий, но всех — впервые в наше время называл владыка подданных друзьями и таковым словом стяжал приязнь крепче, чем вертишейка бы на-вертела!» (189—190).

Конечно, герой энкомия — талантливый полководец, которому содействуют боги, мудрый и милосердный государственный правитель, любимый народом, но как далек этот идеал не только от исократовского образца, но даже от литературного облика Юлия Цезаря! Нечто подобное наблюдаем и на языковом уровне, когда великолепные антитезы, хиазмы, перечисления, созвучия, ритмизованные отрывки являются красотами сочинения, воспринимаемого исключительно в процессе чтения, поскольку объем эпитафия вряд ли бы мог позволить оратору произнести его за один раз. Великолепная начитанность и эрудиция Либания в древней истории Эллады нужна ему не в качестве аргументов в политической полемике, как это было у Демосфена и Исократ, а для пышных сравнений, как украшение, придающее величие подвигам сегодняшнего императора. Это тупик в развитии античной публицистики, не потому что стило притупилось, но потому что талант и мастерство тратятся на цели, недостойные усилий. Публицистика — искусство публичное, в обстановке душевных кабинетов и школьных классов оно вырождается, разрушается, гибнет.

У Либания были современники — Фемистий, Гимерий — известные риторы, претендовавшие на звание философа и поэта, но в их наследии мы находим те же черты. Стоит ли говорить о них?



РИТОРИКА И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

Первые христианские общины стали появляться в Восточном Средиземноморье в конце I в. до н.э. — начале I в. н.э. Обще-признано, что наиболее ранние из дошедших до нас христианских текстов были написаны по-гречески и, следовательно, создавались под непосредственным влиянием эллинистических культур. Там, где традиция сообщает о негреческом (еврейском или арамейском) подлиннике, как в случае с Евангелием от Матфея, до нас не дошло ни слова. Поэтому культурное воздействие эллинистического мира, в том числе и риторики, не могло не сказаться на словесном и текстовом оформлении нового религиозного учения.

По авторитетному мнению проф. И.С. Свенцицкой, «примерно около полувека христианство распространялось прежде всего благодаря устным проповедям и рассказам. Само слово “евангелие” (благовестие) не имело первоначально в представлении христиан специфического значения писаного произведения. Существование устного “благовестия” отразилось и в первых христианских сочинениях, в частности в посланиях Павла»¹. «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое», — утверждает апостол Христов (1:6—7,11). И далее: «В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков...» (2:16).

Ясно видно, что для автора посланий *евангелие* — не писание, а проповедуемое странствующими пророками «благовестие» о Христе и его миссии.

Преимущественно устный характер проповеди нового религиозного учения определил его взаимодействие с традициями позд-

¹ Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан. М., 1980. С. 11.

него античного красноречия. Роль **проповеди** в истории христианства вообще была исключительно велика. В своем классическом виде она сводилась к цитированию евангельской перикопы и разъясняла ее смысл. Естественно, что ранняя монологическая проповедь была направлена к увещеванию, разъяснению, возвещению истины, т.е. имела дидактические цели.

Христианство возникло и первоначально распространялось как религия бедняков и отверженных, людей далеких от сокровищниц образованности и культуры. Между тем рукописные книги были дороги и малодоступны, да и грамотность в основном распространялась в пределах городских культурных центров, далеких от раннехристианских общин, располагавшихся в сирийской и палестинских пустынях. С утратой воспитательной роли книги, литературы, театра живая речь с ее приемами прямого эмоционального обращения к человеку, к массе обретала все большее значение.

С другой стороны, в окружающем римско-эллинистическом мире обращения к коллективу граждан с помощью речей, которые не столько несли информацию, сколько пробуждали определенную реакцию слушателей, были наиболее распространенным способом агитации и привлечения сторонников. К тому же такое совместное слушание сплачивало людей, создавало ощущение их причастности к «общему делу».

Первые христиане, среди которых было много людей, не входивших в гражданский коллектив городов, в которых они жили, — переселенцев, вольноотпущенников, рабов, — не признавали официальных публичных торжеств, религиозных празднеств. Эти люди, собираясь где-нибудь за городом или в опустевших ремесленных мастерских, ощущали свою общность, слушая пришедшего к ним проповедника. Эта общность в свою очередь усиливала эмоциональное воздействие слова. Такое воздействие вряд ли могло оказать уединенное чтение рассказов о жизни Иисуса или библейских пророчеств. Эта особенность раннехристианского учения сохранилась и в писанных текстах Евангелий. Как отмечает С.С. Аверинцев, «евангельские тексты — не только и не столько литература, рассчитанная на одинокое, “кабинетное” чтение, сколько цикл так называемых перикоп для богослужебно-назидательного рецитирования на общинных собраниях; они с самого начала литургичны, их словесная ткань определена культовым ритмом»².

² Аверинцев С.С. Истоки и развитие раннехристианской литературы // История всемирной литературы. Т. 1. С. 506—507.

Первым в ряду евангельских учителей, вероятно, следует поставить самого Иисуса, проповедовавшего свое учение среди учеников и последователей³. Речения Иисуса, так называемые *логи*, долгое время сохранялись в устной традиции вытверженных на память афоризмов и рассказов. «В Палестине тех времен, — рассказывает С.С. Аверинцев, — было принято заучивать и передавать из уст в уста изречения знаменитых рабби и рассказы о них, донесенные до письменной фиксации (в Талмуде) порой через много столетий; память ближневосточного человека тех времен была тренированной. С этим согласуется тот факт, что афоризмы Иисуса в Евангелиях от Матфея и от Луки нанизаны в соответствии с объединяющим их ключевым словом, но порядок их бывает различным в зависимости от ключевого слова: сказывается мнемотехника устной традиции»⁴. О логиях Иисуса помимо евангелистов упоминает в IV в. Евсевий в «*Demonstratio evangelica*»; позднее они были обнаружены в оксиринхских папирусах и в гностическом Евангелии от Фомы, найденных археологами в конце XIX — начале XX в.

Логии Иисуса, запечатленные в Евангелиях, коренным образом отличаются от речей героев деяний в греко-римской биографии или историографической литературе. «Чисто семиотической формой назидания являются знаменитые евангельские *макаризмы* (так называемые заповеди блаженства): “Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие справедливости, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы...” (Мф., 5, 3—7 и далее). Им противостоят пугающие формулы “горе вам!”, например: “Напротив, горе вам, богатые, ибо не будет вам утешения!” (Лк., 7, 24)»⁵. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. <...> Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты...» (Мф., 23, 14—27). Подобные проклятия характерны для иудейского фольклора, известного

³ Тонкий и наблюдательный киник, один из первых критиков христианства Лукиан из Самосаты остроумно заметил, что христиане поклоняются некоему «распятому софисту» (Лукиан. О кончине Перегрини, 13 // Лукиан. Избр. М., 1962).

⁴ Аверинцев С.С. Истоки и развитие раннехристианской литературы. С. 506—507.

⁵ Там же. С. 508.

по Талмуду: «Горе злодеям, ибо они навлекают вину не на себя одних, а и на своих детей».

Не менее сильное впечатление производили на слушателей и возводимые традицией к Христу **притчи** (маршал — форма назидательной иудейской литературы, близкая к басне или сказке), примером которых может служить знаменитое заключение Нагорной проповеди: «Всякого, кто слушает эти мои слова и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает эти мои слова и не исполняет их, подобен человеку безрассудному, который построил свой дом на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф., 7, 24—27). Притчи, как некогда рекомендованные Аристотелем для ораторской практики басни, в образной форме изъясняли то, что в непосредственном виде оказалось бы непонятным или неприемлемым. Образная символическая форма позволяла сделать содержание многозначным и, следовательно, более универсальным и менее дидактичным.

Раннеевангельские литературные формы изложения кратки и очень выразительны, отличаются фольклорной свежестью образов. Примером суровой простоты и сдержанности выражений может служить самое раннее из Евангелий — Евангелие от Матфея. Семиотические формы мысли то и дело просвечивают здесь сквозь греческий синтаксис, появляется много разговорных и негреческих выражений, отсутствуют обязательные для традиционной риторики декоративные части, такие как вступление.

Практически проповедь Иисуса в изложении евангелистов строится на ближневосточной традиции, и о греческом влиянии можно говорить только по отношению к композиции Евангелий, соотносимых в описании «жития» Христа с греко-римской биографией, и о некоторых чисто греческих элементах повествования в наиболее «литературном» Евангелии от Луки, где обнаруживаются черты лиризма, жанровости, утонченной чувственности и проч. Но все это касается чисто литературных аспектов и не имеет прямого отношения к риторике.

Совершенно иной характер имеет последнее по времени написания Евангелие от Иоанна, включенное в канон. В нем излагается не житие Иисуса и практическая мораль, как в Нагорной

проповеди, а переосмысленное в духе христианской этики позднеэллинское учение о Логосе. Земная жизнь Христа «интерпретировалась как самораскрытие мирового смысла (примерно так может быть передано греческое понятие “логос”, условно переводимое по-русски как “слово”). Четвертое Евангелие обращается к важной для мифа идее изначального исходного; оно с умыслом открывается теми же словами, которыми начат рассказ о сотворении мира в Ветхом Завете (Быт., 1, 1) — “в начале”. Вот этот пролог: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово; оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него не начало быть ничто из того, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков: и свет во тьме светит и тьма не объяла его...” (Ин., 1, 1—5). Автор как бы сам вслушивается и вдумывается в постоянно повторяемые им слова-символы с неограниченно емким значением: уже в приведенном только что прологе появляются Слово, Жизнь и Свет, затем к ним присоединяются чрезвычайно важные словесные мифологемы — Истина и Дух»⁶. Ассимилированная в духе христианской мистики греческая философская мысль не могла не привнести в текст Нового Завета риторически оформленных идей неоплатонизма, стоицизма и кинизма, столь распространенных в средиземноморском мире на рубеже двух эпох. Так, в Евангелии от Иоанна находим вариации сходных мыслей в духе Сенеки — тезисы: «Если мир вас ненавидит, знайте, что он меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир...» (Ин., 15, 18—19). Когда же Иисус вступает в диалог с защитниками старой веры, перед читателем являются известные формы стоической диатрибы, в которой подразумеваются вопросы и возражения воображаемого собеседника. Например, на празднике кушей Христос использует непринужденную разговорную лексику, свободно переходит от темы к теме, демонстрирует раскованность и живость интонации: «... одно дело сделал Я, и все вы дивитесь; Моисей дал вам обрезание — хотя оно и не от Моисея, но от отцов, — и в субботу вы обрезываете человека; Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, — на меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин., 7, 21—24).

⁶ Там же. С. 511.

Пока христианская религия была учением нескольких иудейских сект, в своих проповедях она апеллировала к ветхозаветному авторитету — к тексту Септуагинты, переводу Библии на греческий, выполненному в III в. до н.э. Септуагинта «воссоздает особый строй семиотической поэтики, более грубый, но и более экспрессивный по сравнению с языком жанров греческой литературы. Синтаксический параллелизм был достаточно известен греческой риторике, но там он отличался большой дробностью, у него как бы короткое дыхание; библейская поэзия работает большими словесными массами, располагаемыми в свободной организации. В определенном отношении правила библейского стиля ближе нашему современному восприятию (подготовленному веками вчитывания в Библию!), чем правила греческой прозы. Греческий вкус требовал, чтобы ритмические отрывки прозы заканчивались на одинаковые глагольные формы, по возможности рифмующиеся между собой: “К чародейству она прибегает, благой цели не достигает и своих приверженцев к ней не направляет, но во многом сама в себе заблуждает и лишь нечто горестное и скудное порою осуществляет” (*Гелиодор*. Эфиопика / Пер. А.Н. Егунова). В Библии такие глагольные формы не завершают, а открывают стихи и полустихия: “Так, Господи, ты познал все, мое новое и древнее; ты образовал меня и возложил на меня руку твою” (Пс., 125, 4). Когда мы читаем в I Послании апостола Павла к фессалоникийцам: “Вразумляйте беспорядочных, утешайте малодушных, помогайте немощным”, то этот порядок слов сформирован традицией Септуагинты. Греческий ритор построил бы период так: “Беспорядочных вразумляйте, малодушных утешайте, немощным помогайте” (V, 15)⁷.

Однако выйдя за рамки иудейского сектантства, христианский проповедник вынужден был искать иные формы, более привычные и доступные римлянам и эллинам, и тогда в жизнеописании Христа появляются образцы риторического красноречия. Образ неустроенности использовался еще в антиолигархической агитации Тиберия Гракха: «И дикие звери в Италии имеют логова и норы, куда они могут прятаться, а люди, которые сражаются и умирают за Италию, не владеют в ней ничем, кроме воздуха и света...» (Плутарх. Тиберий Гракх, 9). У автора Евангелия от Матфея получается несколько интимнее: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову» (Мф., 8, 20).

⁷ Там же. С. 503.

Еще большей проникновенностью и экспрессивностью обладают письменные проповеди — **послания** апостолов Христовых и самого яростного проповедника христианства — Павла. Паулинские послания близки к жанру церковной проповеди и одновременно напоминают нам афористичный и экспрессивный стиль Сенеки (не случайно впоследствии появилась на свет псевдопереписка между Сенекой и апостолом Павлом). Апостольская диатриба сохраняет весь пыл и стиль живой полемики. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? говоря: не прелюбодействуй, прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?» — обращается Павел к ортодоксальному иудаисту (Рим., 2, 21—24). «Послания апостола Павла тем и отличаются от бесчисленных памятников христианской назидательной словесности, что в них мысль идет через мучительные противоречия и мучительно борется сама с собою. Это придает паулиным текстам пульсацию жизни. В них органично воспринята и по-новому разработана форма **диатрибы** с ее “полифоничностью” внутреннего спора, в ходе которого автор перебивает себя и спорит с возможными выводами из собственных рассуждений»⁸. Мятущийся дух и страстная натура питают поэтический полет знаменитого послания к Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею *дар* пророчества, и знаю все тайны, ибо имею всякое познание и всю веру, так что *могу* и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в *том* никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор., 13, 1—7).

Паулинское самоотречение в вере приводит пророка почти к стоическому понятию свободы человеческой личности — свободы не как произвола, а свободы от произвола. Сторонники Сенеки Младшего тоже утверждали, что мир — не внешние обстоятельства, мир внутри тебя, и посему все, что происходит вне твоей души, — не важно. Для проповеди такой философской

⁸ Там же. С. 514.

позиции рационализм — самая невыгодная форма агитации; гораздо действеннее эмоциональный стиль фанатично верующего: «Так что же? Станем предаваться греху, как скоро мы не под законом, а под благодатью? Отнюдь! (букв. «да не будет»)» (Рим., 16, 15). Как напоминает этот стиль посланий эпистолы Сенеки: «Что же это? — душа, притом прямая, добрая, великая. А чем иным ты ее назовешь, как не богом, пребывающим в человеческом теле?» (Sen. Min., ep. IV, 2, 31)⁹.

В дальнейшем все указанные черты евангельской риторики становятся достоянием формирующегося института церкви. Главным орудием церкви как в обращении новых сторонников, в миссионерской деятельности, так и в наставлениях, разъяснениях и призывах, предназначенных верующим, становится проповедь, органически впитавшая в себя все новаторские приемы апостольской риторики. «Постепенно проповедь становится неотъемлемой частью литургического обихода и сосредоточивается у священнослужителей, а не у частных лиц, — утверждает историк Древнего мира А.Ч. Козаржевский. — Проповедь окончательно монологизируется и предназначается для безмолвного прослушивания присутствующими. Проповедь в основном обозначали два термина: *didascaliá* (обучение) и *homiliá* (общение, собеседование). Термин *logos* (слово) применяется главным образом к письменным поучениям»¹⁰.

Христианская проповедь впитала в себя многие философские и религиозные учения своей эпохи¹¹. Наряду с философским и религиозным синкретизмом новое учение творчески осваивает и пропагандистские системы уходящего мира, в том числе риторику. Не случайно почти все латинские апологеты и первые Отцы Церкви были риторамы или учителями красноречия до приня-

⁹ Равнович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990. С. 162.

¹⁰ Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство. С. 50.

¹¹ «Христианская догматика складывалась под сильным воздействием не только ближневосточных религиозных учений, иудаизма, манихейства, но и неоплатонизма. Мистический и теистический характер философской системы неоплатоников, их эстетические воззрения перекликались с христианским аскетизмом, открывали путь к сближению этих учений. Догмат о триничности божества — один из центральных догматов христианского вероучения — это, по существу, переосмысленная триада неоплатоников. Однако христианство, несмотря на наличие общих с манихейством и неоплатонизмом черт, принципиально отличалось и от манихейского дуализма, и от неоплатоновского монизма», — поясняет специалист по истории культуры Византии З.В. Удальцова (Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988. С. 42).

тия христианства. Приняв новую веру, апологеты осудили свою мирскую профессию, не потому что она была мирской и связывала их с миром или напоминала об их языческом прошлом, но они сознавали, что ее сущность, и именно эстетическая сущность, *противоречит простоте и безыскусности христианской доктрины*. Поэтому первый лозунг христианского красноречия — опрощение, вплоть до евангельского «Блаженны нищие духом...». Выявлению истины больше способствует безыскусная речь, ибо доказательство не скрыто в ней под покровом красотостей, а представлено в своей естественной форме. Так рассуждает в диалоге «Октавий» один из ранних теоретиков христианской риторики, юрист из Северной Африки Минуций Феликс (Octav., 14, 7), несколько приспособив к обстоятельствам идеи, высказанные в «Риторике» Аристотеля.

Напомним, что нередко античные риторы, такие как Лукиан, Либаний, Цецилий или пресловутый Юлиан Отступник, были ярыми и довольно изощренными противниками христианства. Поэтому нередко пафос христианских апологетов направляется не против онтологических или гносеологических соображений ниспровергателей христианства, а против формы их речений — против риторики. Тот же Минуций Феликс, комментирующий Цецилия, утверждает, что «от силы красноречия меняется положение самой ясной истины. Это случается, как известно, из-за легкомыслия слушателей, которые отвлекаются красотой слов (*verborum lenocinio*) от сути вещей и без рассуждения соглашаются со всем сказанным; они не отличают ложное от правильного, не зная, что и в невероятном бывает истина, и в истиноподобном ложь» (Octav. 14, 3—4)¹². Минуцию вторит Титиан: «Красноречие вы употребляете на ложь и клевету; вы продаете за деньги свободу часто представляете справедливым то, что в иное время считали недобрым» (Adv. gr. 1).

Один из виднейших апологетов христианства, также уроженец африканской провинции, *Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан* в своих проповедях нового вероучения вообще отрицает разум и заменяет его парадоксальным мистическим вчувствованием и сопереживанием: «Распят Сын Божий — не стыдно, ибо это постыдно. И умер Сын Божий — это вполне достоверно, ибо нелепо. А погребенный, он воскрес — это верно, ибо невозможно» (de same Chr. V). Рубленные антитезы превосходят своей «сыпучестью» даже

¹² Бычков В.В. Эстетика поздней Античности. М., 1981. С. 181—182.

«песок» Сенеки, передавая эмоциональный, взволнованный тон, хлесткая фраза питается неподдельными страстями ума и души, эксцентричные парадоксы, гротескные гиперболы объединены мистическим порывом... И все же полученное автором образование и практика судебного оратора проглядывают в текстах Тертуллиана, когда он, описывая сотворение Богом мира из ничего, уподобляет процесс Божественного творения работе писателя, которому «непременно так следует приступать к описанию: сначала сделать вступление, затем излагать [события]; сначала назвать [предмет], а потом описать» (Adv. Herm. 26).

«Если современные ему греческие церковные мыслители типа Клемента Александрийского работали над приведением библейского предания и античной философской традиции в целостную закругленную систему, — пишет о Тертуллиане С.С. Аверинцев, — то Тертуллиан не упускает ни одного случая злорадно подчеркнуть пропасть между верой и умозрением»¹³. Так рождается знаменитый принцип Тертуллиана «*Верую, потому что абсурдно!*» Эмоциональный фон мышления Тертуллиана — характерная для его кризисного времени и для молодого христианства тоска по эсхатологической развязке; имперскому общественному порядку он противопоставляет кинически окрашенный космополитизм и моральное бойкотирование политики: «Для нас нет дел более чуждых, чем государственные. Мы признаем для всех только одно государство — мироздание» («Апологетик») ¹⁴. Таков один из тех деятелей христианства, которые стояли у истоков формирования епископальной церкви — христианства, монополизированного пастырями, ставшими теперь посредниками между Богом и паствой.

Формирование епископальной церкви — важнейший период в развитии христианской риторики, потому что в это время в новую церковь приходят люди знатные, богатые и образованные. Именно они, приспособивая христианскую проповедь для нужд имперской государственности, вводят в нее идеи и приемы греко-римской риторики. Уже *Ориген* (III в. н.э.) рассматривает проповедь не как плод Божественного вдохновения, а как результат высокого искусства и говорит о необходимости специальной подготовки проповедника. Следующее за Оригеном поколение христианских проповедников — сплошь ораторы, получившие

¹³ Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л., Самарин Р.М. Латинская литература // История всемирной литературы. Т. 2. С. 441.

¹⁴ Там же.

образование в языческих риторических школах: Григорий Неокесарийский, Ипполит, Киприан и, разумеется, ученики знаменитого Либания Василий Великий (Кесарийский) и Григорий Богослов (Назианзин).

По мнению исследователя византийской риторики Г.Л. Курбатова, «оформителем некоторых видов христианской риторики IV в. следует признать *Евсевия Кесарийского*. Сохранившийся текст одной из его гомилий свидетельствует об усвоении приемов античной риторики (игра антитез, вкус к патетике, известная ритмика, “музыкальность” текста — черты, свойственные азианской школе). Ему принадлежит немалая заслуга в формировании жанра христианского панегирика, а впоследствии — жития, заимствовавшего форму языческого панегирика и сочетавшего его с нравственной проповедью»¹⁵. В числе первых был и *Арий* (родоначальник одной из самых мощных ересей Средневековья — арианства), который внес значительный вклад в развитие «народной» проповеди, предназначенной для самых широких масс¹⁶.

С победой христианства и массовым распространением нового учения в деревне для проповедей в среде неграмотного населения потребовались упрощенная форма и примеры, а также сравнения, взятые из понятного всем быта (ср. сравнения Сократа). Характер риторики резко меняется: ее «преимущественно городской» способ изъяснения заменяется «преимущественно деревенским». Тот же Г.Л. Курбатов выделяет три вида христианских

¹⁵ Курбатов Г.Л. Риторика // Культура Византии. М., 1984. Т. 1. С. 343.

¹⁶ Популярный александрийский пресвитер Арий (умер ок. 336 г. н.э.) «отстаивал такое понимание Христа, которое отдаляло его от абсолютного Бога Отца и приближало к сотворенному миру. Из этой концепции с логической необходимостью вытекало одобрение мирской жизни и утверждение примата светской власти над Церковью. Арианство — это христианство мирян (по преимуществу зажиточных горожан и солдат, позднее — воинов-варваров)» (*Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы*. С. 340). «Арий и его сторонники пытались рационалистически объяснить природу Троицы и место в ней Христа. По их учению, Христос — творение Бога Отца, следовательно, он не единосущен ему и занимает в Троице подчиненное место. По мнению Ария, Христос не человек, а подлинный Божественный Логос, но поскольку он Сын Божий, постольку было время, когда он не существовал. Господствующая Церковь, опасаясь раскола, резко выступала против Ария, обвинив его в ереси. В 325 г. на Вселенском соборе в Никее был выработан православный Символ веры, а учение ариан осуждено. Арий был отправлен в ссылку, и, несмотря на временную победу его сторонников при императоре Константине I, арианство вновь было предано анафеме на Константинопольском соборе 381 г. и на этот раз окончательно объявлено ересью» (*Удальцова З.В. Указ. соч.* С. 43—44).

риторических произведений: «1) экзегетические¹⁷ сочинения и проповеди, которые в полной мере использовали наследие античных грамматиков в толковании текстов Священного Писания; 2) назидательная, наставительная проповедь¹⁸, которая многое взяла от античных образцов совещательного красноречия; 3) богословская проповедь, использовавшая богатый арсенал приемов античной философии»¹⁹.

Значительную роль в формировании новой христианской риторики играет и античная философская диатриба, активно разрабатываемая столпом ортодоксального православия *Афанасием Александрийским* в цикле его речей «Против ариан». Все они построены в форме доверительной беседы, максимально доступной и легко передаваемой даже людьми, не имеющими специальной подготовки. С другой стороны, все их положения убедительны и доказательны, а также привязаны к определенному месту и времени. Но главное их воздействие скорее внерационалистическое — эмоциональное, ибо каждое слово Афанасия пронизано страстью, патетикой, вдохновением, убежденностью в собственной правоте и ненавистью к противнику²⁰.

Наиболее значительный вклад в развитие и совершенствование христианской риторики сделали «три великих каппадокийца» — известные христианские деятели, епископы 70—90-х гг. IV в. н.э., имена которых уже упоминались в этой главе.

Василий Кесарийский (ок. 330—379) получил риторическое образование в афинских школах Прозерсия и Гимерия и долгое время был логографом, совершенствуя свой стиль. Образцом для Василия долгое время оставался Либаний и связанная с ним Антиохийская риторская школа, где царили аттицизм, простота и ясность выражения. В 370 г. н.э. Василий, некоторое время практиковавший аскетизм, знакомый с жизнью христианских монастырей Сирии, Египта и Палестины, вернулся в Каппадокию, где был избран епископом Кесарии. На этом посту он всеми силами способствовал утверждению господства православия, за что посмертно был прозван *Великим*. Все мастерство оратора он вложил в свои проповеди, среди которых наибольшей популярностью

¹⁷ Трактующие Писание.

¹⁸ Иначе — катехитическая.

¹⁹ Курбатов Г.Л. Указ. соч. С. 342.

²⁰ Афанасий был автором одного из ранних христианских панегириков — Жития Антония, построенного по типу энкомия видному представителю египетского монашества, но со значительно усиленной дидактичностью и морализаторским пафосом.

в Средневековье пользовался «Гексамерон». В русском переводе «Гексамерон» — это «Шестоднев» — девять богословских бесед на шесть дней творения. Как подчеркивает Г.Л. Курбатов, «именно это произведение знаменует собой новый этап в становлении христианской мысли. Оно свидетельствует об умении Василия смело опираться в обосновании христианской доктрины на огромное наследие античного естественно-научного знания, умении, поставив превыше всего веру, опереться как на неоплатонические идеи, так и на традиционные теории (четыре элемента Аристотеля, идеи “Физиолога” и т.д.). “Обличение суетности язычников” становится у Василия Великого кратким очерком истории античной физики, данным мимоходом, но со знанием дела: “Эллинские мудрецы много рассуждали о природе, и ни одно их учение не осталось твердым и непоколебимым, потому что последующим учением всегда опровергалось предшествующее. Потому нам и не нужно опровергать их учения: их самих достаточно друг для друга, чтобы они себя же опровергали...” Уже в этих беседах проявляются характерные для проповедей Василия Великого черты риторического стиля: простота и серьезность тона, расчленение материала, облегчающее его осмысление. Каждая беседа как бы распадается внутри, кроме прамбулы и заключения, на небольшие разделы: четко поставленные вопросы и ясные ответы. Остроумные житейские сравнения, антитезы, метод доказательств от противного — таковы приемы, которыми блестяще владел Василий»²¹. Он «часто использует сравнения, взятые из реальной жизни — из области домостроения, кораблестроения или из жизни купцов, странников. Такие сравнения делали экзегезу Василия чрезвычайно популярной, доступной для людей любого социального положения»²².

Моральные проповеди Василия Великого — его *гомиллии* — связаны с античной традицией назиданий и дидактики. Часть из них посвящена изобличению человеческих пороков — гнева, зависти, пьянства. По мнению А.Ч. Козаржевского, разоблачение последнего порока носит «совсем уж мирской характер»: «Самых близких не узнают пьяные, а к чужим бегут, как к знакомым; часто прыгают через ручей или ров. А слух у них наполняется звуками и шумом, как у волнующегося моря. Им представляется, что земля поднимается вверх и горы идут кругом. Они то смеются

²¹ Курбатов Г.Л. Указ. соч. С. 345.

²² Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Византийская литература IV—VI вв. // Памятники византийской литературы IV—IX вв. М., 1968. С. 29.

неумолчно, то беспокоятся и плачут неутешно; то дерзки и неустрашимы, то боязливы и робки. У них сон тяжелый, почти небудный, удушающий, близкий к настоящей смерти, а бодрствование бесчувственнее сна... Долго ли будет пьянство? Есть ведь опасность, что из человека ты сделаешься грязью: так ты весь растороен вином и перегнил с ним от ежедневного опьянения...»²³

В назидательных проповедях Василия есть множество тем и сюжетов, объединяющих их с размышлениями, скажем, Либания, с которым первый находился в долговременной переписке. Либаний осуждает насилие богатых (Против Икария, 1, 7) и несправедливо приобретенное богатство, способ жизни «паразитов» и цирковой черни. На сходном материале особенно заметны отличия нового христианского красноречия Василия, прежде всего отказавшегося от «языческого тщеславия» в изображении личности автора. Назидательный сюжет и величие христианской темы делают неуместным стремление демонстрировать личное мастерство; все усилия говорящего направлены на то, чтобы дать слушателю духовную пищу и добиться, чтобы назидание было усвоено. Не случайно Василий требовал, чтобы паства во время речи перебивала его, спрашивала о том, что осталось непонятным.

Задача христианского оратора — не поразить, а убедить слушателя в истинности учения. Отсюда спокойный тон, ясность изложения, простота языка и доступность образности. Однако слушатель Василия должен «через видимое познать невидимое», поэтому образы и сравнения его речи символичны, продуманны и одновременно доходчивы. Образцом своей риторики прославленный кесариец избирает не современную ему изощренную технику эллинистического красноречия, а практику ораторов афинской Агоры — Перикла и Демосфена, для которых слово было действенным оружием. Подобно Демосфену Василий умеет быть патетичным, эмоциональным, серьезным, а редкие словесные красоты лишь подчеркивают строгость и сдержанность его стиля. Из близких по времени классических греческих авторов Василий более всего предпочитает Плутарха за воспитательный характер прозы и практический психологизм. Именно влиянию Плутарха в большинстве своем обязан трактат кесарийского епископа «О том, как молодые люди могут извлечь пользу из языческих книг».

Наконец, оформление жанра христианского панегирика тоже связано с именем Василия Великого, автора поэтически возвы-

²³ Козаржевский А. Ч. Указ. соч. С. 61.

шенного христианского энкомия «О сорока мучениках», который стал своего рода гимном торжествующему христианству.

Другой крупной фигурой христианской риторики был *Григорий Назианзин*, или *Богослов* (ок. 329 — ок. 390), автор прославленных философско-полемических трактатов по догматике. Но если для Василия писательство было средством убеждения других, для его ближайшего друга и соратника Григория — это способ выразить себя.

Григория Назианзина отличает от внутренне собранного и дисциплинированного практика, упорного церковного деятеля Василия стихия душевной смуты, рефлексия и даже некоторая христианская «слезливость». Исследователи отмечают новаторский для своего времени интимный психологизм Григория, великолепно переданный им в автобиографических сочинениях «О моей жизни», «О моей судьбе», «О страданиях моей души». Автор исповедальных по характеру сочинений был склонен к жизни скорее созерцательной, но судьба распорядилась иначе, и он принял руководство никейской общиной Константинополя. Однако Григорий всю жизнь мысленно обращался к риторским школам Кесарии Палестинской и особенно Афин, где получил образование. В его знаменитых теологических беседах в защиту православия против ариан он сохраняет дух задушевной беседы, в обличительных речах против императора Юлиана умеет использовать форму инвективы, граничащей с погосом. В богословских сочинениях он наиболее литературен, в инвективе — блистает эрудицией в области античной мифологии. Как философ он скорее наследник Феместия, риторика которого нужна ему для «познания истины». С точки зрения стилистики Богослов — сторонник консервации языковых форм, и этим близок к охранительным идеям эллинистического красноречия. Правда, в своих обращениях к пастве Григорий старался, «насколько возможно, избегать книжного слога, но склоняться более к разговорному»²⁴.

Наиболее показательна со всех точек зрения «Надгробная речь Василию Великому», в которой Григорий Назианзин горько оплакивает своего старшего друга и крупнейшего деятеля церкви. Глубоко интимные лирические переживания переплетаются здесь с религиозным чувством, искренняя повествовательная манера сочетается с возвышенно-риторическим духом общих размышлений. Панигирик Василию насыщен христианскими идеями. «Христианское утешение» обращено в надгробную речь. Не стоит

²⁴ Курбатов Г.Л. Указ. соч. С. 347.

забывать, что Григорий еще и поэт, автор религиозных гимнов, поэтому его проза музыкальна, лирична, поэтично выразительна, имеет своеобразный ритм, напевность.

Последний из каппадокийцев — младший брат Василия *Григорий Нисский* (ок. 335 — ок. 394) — большой мастер философской прозы, «кабинетный ученый», широко использовавший метод свободного аллегорического толкования Библии. «Первым из христианских теоретиков Григорий Нисский поставил вопрос о размежевании сфер теологии и чистой философии. Его риторика — образец ученой христианской риторики. Стиль его тяжеловесен. Он не злоупотребляет цитатами, предпочитая все излагать своими словами, несколько пышная торжественность стиля не мешает, однако, выразительности, даже самые отвлеченные мысли он формулирует с убедительной наглядностью»²⁵.

По глубокому замечанию С.С. Аверинцева, три великих каппадокийца перенесли в богословскую полемику «филигранные методы неоплатонической диалектики»²⁶ и уже этим обеспечили себе место в истории европейской культуры.

Расцвет христианской риторической прозы IV в. н.э. достигает своей кульминации в творчестве антиохийского проповедника Иоанна, прозванного за свое красноречие Златоустом (Хризостомом) (344—407). Принадлежал к следующему за «великими каппадокийцами» поколению «вселенских святителей и учителей» христианства. «Жизнь Иоанна изобилует трагической напряженностью. Он учился риторике у Либания, затем ушел к сирийским отшельникам, где предался суровой аскезе. Вернувшись в Антиохию, он заслужил необычайную популярность своими проповедями и независимой позицией во время столкновения городских масс с властями. В 398 г. его вызвали в Константинополь и сделали столичным архиепископом. Однако неумолимая бескомпромиссная прямота его проповедей навлекла на него ненависть двора и клерикальной верхушки: Иоанна отрешают от сана и отправляют в ссылку, затем под давлением народных волнений возвращают, но он не успокаивается, и через несколько месяцев его ссылают снова»²⁷. По дороге в ссылку Иоанн умирает.

В отличие от рассудительной, уравновешенной манеры Василия Кесарийского, увлеченного пафосом просветительства (экскурсами в общеобразовательные дисциплины, шутливый тон и добрую улыбку), речи Иоанна Златоуста предельно патетичны.

²⁵ Там же. С. 348.

²⁶ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 342.

²⁷ Там же. С. 343.

Большинство исследователей отмечают «филигранную риторическую отделку»²⁸ проповедей ученика Либания, блистательно и уместно использовавшего как аттическую, так и азианскую традицию. Златоуст свято, как греки времен «первой софистики», верует в силу и могущество слова, особенно слова «истинного», христианского, проповеднического. «Одного человека, — говорит он, — достаточно, если он объят рвением, для того, чтобы улучшить целый народ». Это кредо Иоанн пронесит через всю жизнь, и поэтому нет в его наследии компромисса, угодничества, есть святое, жертвенное служение идее.

Не стоит представлять себе Иоанна религиозным фанатиком, стремящимся всех загнать в монастыри. «Хотел бы я не меньше, а гораздо больше вас и часто молил, чтобы исчезла необходимость в монастырях и такой бы настал добрый порядок в городах, чтобы никогда никому не нужно было убежать в пустыню», — обращается он к своей пастве. Однако мир устроен иначе, и Иоанн со всей мощью своего слова обличает несправедливости властей, роскошь, стяжательство, распушенность высшего духовенства и придворных во главе с императрицей Евдоксией, которую зовет «Иродиадой, требующей себе головы Иоанна»²⁹ на блюде...». Он обличает еретиков, поддерживает страждущих, воспитывает аскетов, нравственно совершенствует паству. Однако этот святитель, учитель, гениальный комментатор Евангелий отмечает и собственные несовершенства, ибо «есмы человек...», и несовершенство своего искусства: «Это и портит церковь, что вы хотите слушать не такие проповеди, которые задевали бы вашу душу, но такие, которые ласкают ваши уши напевностью и звучностью слов, как будто вы слушаете певцов или кифаредов... Когда вы выражаете одобрение моей проповеди, я чувствую то, что испытал бы на моем месте каждый. Откровенно скажу — почему же не сказать? — я обрадован, я в восторге. Но после, когда я иду домой и начинаю думать, что толпа, выкрикивавшая мне похвалы, не получила полной пользы от проповеди, что эта польза была заглушена похвалами и восклицаниями, на моем сердце грустно, я скорблю и плачу...»³⁰ Проповедь Иоанна великолепно передает живые интонации речи и переживания оратора, и всю гамму человеческих чувств — от светлой радости

²⁸ Аверинцев С.С., Козаржевский А.Ч., Курбатов Г.Л. Указ. соч. С. 443.

²⁹ Речь, разумеется, идет об Иоанне Крестителе, хотя оратор блестяще использует аналогию с собственной судьбой.

³⁰ Козаржевский А.Ч. Указ. соч. С. 63.

в праздник Воскресения Христова до патетического сарказма в изображении грязных политических интриг современной святителью власти³¹.

Иоанн в высшей степени плодовитый писатель (ему принадлежит более тысячи проповедей, переводы которых на латинский, коптский, сирийский, армянский появляются уже в V в. н.э.), но писательство его — труд подвижника, способ служения Богу, поэтому ему чужд подчеркнутый артистизм Либания, красота фразы ради самой фразы. Его цель — максимальное проникновение в душу слушателя, донесение смысла, содержания, идеи говоримого. Это позволяет Златоусту довести до идеального состояния простоту и ясность выражений, четкость конструкции, ритмичность периодов и прочие черты, унаследованные от Либания. Его стиль поражает прозрачной легкостью, емкостью и точностью образов, утонченным психологизмом моралистических наблюдений, обилием доступных примеров из современной жизни.

Возведенный в норму христианской проповеди Василием Великим контакт со слушателем достигает у Иоанна совершенства: система злободневных примеров, вызывающих возражения, риторические вопросы как от лица оратора, так и его оппонентов, восклицания, прямые обращения к аудитории, дозированные риторические красоты (анафоры, рефрены, антитезы, смысловые повторы и проч.) делают его речь экспрессивной и эмоционально

³¹ В «Гомилии на Евтропия-евнуха, патрикия и консула» Иоанн рисует образ своего злейшего политического противника, человека, стремившегося отнять у храмов право убежища, а теперь, при падении, прибегнувшего к покровительству и защите гонимого им священника в храме Софии. Автор гомилии импровизирует в жанре плача-треноса, но благодаря библейскому изречению «Суета сует и все суета» его патетика приобретает горестно-саркастический и обличительный оттенок: «Всегда, а теперь особенно время воскликнуть: “Суета сует и все суета”. Где теперь ты, светлая одежда консула? Где блеск светильников? Где рукоплескания, хороводы, пиры и празднества? Где венки и уборы? Где вы, шумные встречи в городе, приветствия на ипподроме и льстивые речи зрителей? Все минуло. Ветер сорвал листья, обнажил перед нами дерево и потряс его до корня. Порывы ветра все сильней, вот-вот они уже вырвут корень и переломят ствол. Где вы, придворные друзья? Где попойки и пирушки? Где рой нахлебников? Где вечно наполняемая чаша неразговоренного вина? Где поварские хитрости? Где приспешники, все говорящие и делающие для угождения властям? Все это было ночное сновидение, но настал рассвет, и оно рассеялось. То были внешние цветы, но отошла весна, и они увяли. Тень была и убежала. Дым был и развеялся. Брызги были и исчезли. Паутина была и порвалась. Поэтому мы без конца и неустанно повторяем это духовное речение: “Суета сует и все суета”» (Цит. в пер. Т.А. Миллер по: Памятники византийской литературы IV—IX вв. С. 90—91).

выразительной. Взаимосвязь проповедника с паствой не односторонняя — она вдохновляет Иоанна, дарует ему силы и поэтическую мощь. «Вы братья мои; вы моя жизнь, моя слава!» — говорит он слушателям. «Долго я молчал, и вот опять, после немалого времени, пришел к вашей любви... Ибо я общий для вас всех отец, а забота моя не только о стоящих твердо, но и о падших, не только о тех, кого несет попутный ветер, но и о тех, кого захлестывают волны, не только о тех, кто защищен, но и о тех, кому грозит опасность»³². Милосердие завещает Иоанн своим духовным наследникам.

«Именно Иоанн Златоуст в завершенной форме создал общий стиль проповеднической прозы, в то время как его предшественники, в том числе «великие каппадокийцы», по сути дела, оформили лишь отдельные его элементы. В частности, именно в речах Златоуста имеет место сближение форм проповеди: у него экзегеза, ранее усложненная, близкая по форме традиционным языческим философским трактатам, сближается с остальными видами гомилий по простоте и ясности мысли, четкости и краткости изложения. У Златоуста и экзегетические проповеди обретают классическую форму»³³.

Иоанн Златоуст был недостижимым идеалом для каждого византийского проповедника. Его воздействие на средневековую Европу и Древнюю Русь трудно переоценить. Не случайно для русской традиции были характерны сборники поучений «Златоусты», «Златоструи», «Измарагды», «Маргариты». Наследником традиций Иоанна Златоуста можно по праву считать страстного борца с несправедливой властью протопопы Аввакума.

В западной патристике воспреемниками риторических традиций Античности принято считать двух прославленных Отцов Церкви — *Аврелия Августина*, в церковной традиции *Блаженного Августина* (354—430), автора «Исповеди» и трактата «О граде божием», а также *св. Иеронима* (ок. 347—420), переводчика Библии на латинский язык, автора канонической *Вульгаты*. Оба они как люди чисто римской латинской образованности были вдохновенными поклонниками мастерства Цицерона, чьи сочинения сыграли огромную роль в судьбе обоих. Августин пришел к религиозно-философским исканиям под влиянием прочитанного диалога Цицерона «Гортензий», о чем он сам повествует в «Исповеди». Иероним, отрекшись от всего мирского — семьи, имуще-

³² Памятники византийской литературы IV—IX вв. С. 94.

³³ Курбатов Г.Л. Указ. соч. С. 352.

ства, плотских радостей, не мог отказать себе в чтении Цицерона, за что, по его собственному рассказу, грозный Судия упрекал его: «Ты цicerонианец, а не христианин!»

Собственно, цicerоновская традиция была освоена христианскими мыслителями еще в творчестве Лактация, в котором авторы статьи о латинской прозе во втором томе «Истории всемирной литературы» усматривают «классицистическую волну» (конец III — начало IV в. н.э.). «Из всех авторов своей эпохи, как христианских, так и языческих, Лактацию удалось ближе всего подойти к цicerоновской норме латинской прозы: его слог отмечен чистотой языка, благородной простотой выражения мысли, стройной непринужденностью композиции. Гуманисты эпохи Возрождения прозвали его “христианским Цицероном”. В сознательном следовании традиционной юридической терминологии главный труд Лактация озаглавлен “Божественные установления”. Выразившийся в стиле и мысли набожного ритор синтез христианских и классических начал проведен с редкой уверенностью и последовательностью, но оплачен дорогой ценой: если христианская вера внутри такого синтеза утрачивает дерзновенную глубину парадокса, то античная культура сводится к стилистическому блеску и общим местам моральной философии, отказываясь от научного духа (именно у Лактация достижения космологии впервые оцениваются как опасность для веры)»³⁴.

«Цicerонианцем» был и *Амвросий Медиоланский*, сначала ритор, а потом епископ Милана, оказавший непосредственное влияние на художественное мышление *Софрония Евсевия Иеронима* и *Аврелия Августина*, будущих Отцов Церкви и самых знаменитых латинских христианских писателей.

Однако западную патристику от восточной отличало то, что ей не приходилось в условиях борьбы с инакомыслием отстаивать истинную веру от разнообразных ересей. Западные Отцы Церкви делали акцент на соотношении дарованной человеку благодати свыше и его воли. Черты риторики Иеронима проглядывают в его письмах, имеющих очень личный доверительный характер. По тонкости психологических нюансов, живости интонаций и правдивости изображения противоречивого образа эпохи и человека они могут быть поставлены рядом с письмами Цицерона. Тонкостью психологизма, исповедальными интонациями отличаются и сочинения Аврелия Августина. Он, автор

³⁴ *Аверинцев С.С., Гаспаров М.Л., Самарин Р.М.* Указ. соч. С. 442.

богословского трактата об утопическом средневековом христианском государстве, почти неизвестен нам как оратор. Сохранилась только одна его речь на Карфагенском соборе, когда он был епископом города Гипона в Северной Африке. Эта речь является собой свидетельство полемического искусства Августина, его умения строить убедительные умозаключения на основе оригинальной образности: «Убивающий и врачующий, оба режут тело и оба гонители, но один изгоняет жизнь, а другой гнилость... Конечно, никто не может сделаться добрым поневоле, но боязнь прекращает упорство и, принуждая изучать истину, приводит к нахождению ее. Когда наводят ужас в интересах истины, то это полезное предупреждение для ошибающихся и заблуждающихся». Комментируя подобные рассуждения, А.Ч. Козаржевский отмечает, что в Средние века такого рода тезисы «обернулись инквизицией и католической экспансией»³⁵. Да и сегодня от предложенных Августином методов борьбы с инакомыслием холодок продирает по коже.

Не случайно уже при императоре Константине I, а особенно после официального принятия Римом христианства (380 г. н.э.) церковь постепенно стала прибирать к рукам риторские школы и после крушения Римской империи в 478 г. н.э. получила полную монополию на образование в средневековой Европе. С тех пор основой богословского образования (*тривий*) на долгие века стала риторика наряду с диалектикой и грамматикой — вспомогательными дисциплинами эллинистических риторских школ.

Великие христианские писатели IV в. н.э. *Аврелий Августин*, *Иоанн Златоуст* и *Иероним* уже органически воспринимают и осуществляют великолепный по изяществу синтез риторической традиции Античности с эмоциональным накалом христианства. «Иероним уже способен в переводе на латинский язык Ветхого и Нового Заветов намеренно воссоздавать специфику их стиля, как эту специфику схватывает его воспитанный на Цицероне вкус, а Августин создает в своей “Исповеди” органичный и цельный сплав Вергилиевой классики, библейского лиризма псалмов и пафоса Павловых посланий. Одновременно в грекоязычной литературе... Иоанн Златоуст работает над таким же синтезом новозаветных интонаций с традициями аттического красноречия», — заключает С.С. Аверинцев³⁶.

³⁵ Козаржевский А.Ч. Указ. соч. С. 67.

³⁶ Аверинцев С.С. Истоки и развитие раннехристианской литературы // История всемирной литературы. Т. 1. С. 515.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почти тысячелетняя история развития греко-римской риторики наглядно выявляет общие закономерности функционирования публицистики в различных общественных структурах. Очевидно, что становление и расцвет красноречия связан с демократическими формами политического устройства, в то время как при автократических методах правления риторика перестает играть в государственной жизни сколь-либо заметную роль. Если при демократии ораторское искусство становится главным инструментом народовластия (в Народном собрании и в иных парламентских структурах) и защиты справедливости (в суде присяжных), то при утверждении единовластия оно служит целям распространения официальной идеологии как в случаях публичного прославления властителей и их побед, так и в школьном обучении. Наконец, если при становлении и расцвете демократии риторика почти не знала искусных приемов обольщения, а рассчитывала только на истинность доводов, нравственность и логику изложения, т.е. апеллировала в основном к разуму слушателя, то в периоды политических кризисов многократно усиливаются способы эмоционального воздействия на аудиторию. Многочисленные и выверенные приемы изменяют истинное значение говоримого, помогают создать иллюзию надежности или, напротив, ложности там, где их нет.

Формальный расцвет красноречия, именно в кризисные эпохи превратившегося в искусство, заставляет вспомнить о том, что в основании риторики как формы интеллектуальной деятельности лежат два разрушительных философских постулата: *релятивизм* и *скептицизм*. Оба философских явления стали реакцией греческого общества на распад мифологического сознания и отсутствие твердой идеологии (а следовательно, и морально-нравственной основы).

История свидетельствует о том, что век расцвета греческой риторики совпал с последними десятилетиями существования афинской демократии, а расцвет римского красноречия — с крушением римской республики и утверждением единовластия. Вопрос о том, риторика ли породила политический кризис или политический кризис есть наиболее благоприятное время для развития риторики, является вопросом схоластическим. Ясно одно: Исократ, Демосфен, Цицерон, Мильтон, вне всякого сомнения, были выдающимися публицистами, мастерами слова. Удалось ли кому-нибудь из них силой своего слова отстоять

собственные идеалы, сохранить воспетый ими политический строй? Ответ однозначен и не в пользу риторики¹.

Риторика — оружие обоюдоострое. Формальные приемы ее предназначаются для защиты нравственности, справедливости, гуманизма, но на самом деле они не раз служили и противоположным целям. Разумеется, крупнейшие деятели теории и практики красноречия стремились облагородить риторику, прививая ей нравственность и патриотизм. В отличие от софистов Платон, Аристотель и Цицерон ставили во главу учения не утилитарный принцип «убедить любой ценой», а этическую норму ответственности оратора (равно — политического деятеля) за судьбу народа. Исократ предлагал оценивать нравственность политического оратора, настаивавшего на реформах, ростом благосостояния народа в государстве. Но тщетно. Идеи Аристотеля о большей убедительности *истинного* перед *неистинным* разрушались практикой риторики на всем протяжении ее функционирования в истории и политике. Цицерон сам нередко грешил против истины и поддерживал (в угоду сиюминутным политическим выгодам) те силы в римском обществе, которые в конце концов уничтожили и республику, и самого оратора.

На протяжении существования античной цивилизации риторика осталась системой формальных приемов и тропов, так и не обретя статуса мировоззрения. В оппозиции «мудрость — рассудок» риторика была свойством последнего — бытового, банального помощника выкручиваться, на что сетовал еще Аристофан в «Облаках». В ситуации крушения идеалов, развала устоев риторика — незаменимый помощник. В целях созидательных (речь идет об интеллектуальной деятельности) она уступает место утопии, мифологии — формам, устремленным в будущее в отличие от апелляции риторики к прошлому.

Тем не менее влияние классической красноречия на европейскую цивилизацию трудно переоценить. Именно риторика как основа системы образования почти целиком переступила хронологические границы античного мира и органично вписалась в контекст культуры новых народов. Идеал классической риторики Рима — Цицерон был любим и Отцами Церкви (Августин, Иероним), и гуманистами (Петрарка, Эразм, Макиавелли), и классицистами, и просветителями... Риторика внесла свои коррективы в богословие и юриспруденцию, сочинения историков и писателей. Глобальные системы европейской культуры — классицизм, Просвещение, романтизм — тесно связаны с риторической традицией. Политическая публицистика, начиная с трактатов итальянских гуманистов и кончая агитаторами буржуазных и социалистических революций, строилась с учетом законов классической риторики. В странах, наиболее гордящихся своей демократией (например, в США), риторика занимает значительное место в политической жизни и в образовательных программах.

Владение словом — мощное оружие. Хорошо бы вложить его в добрые руки.

¹ В утешение будущим мастерам публицистики приведем мнение Виктора Гюго, в романе «Собор Парижской Богоматери» утверждавшего: «Каждая цивилизация начинается с теократии и заканчивается демократией...» (Гюго В. Собор Парижской Богоматери. М., 1976. С. 148). Демократия увенчана риторикой. Гибнут они обычно вместе.

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

- Античные риторика / Собр. текстов, коммент. и общ. ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978.
- Античные теории языка и стиля: Антология текстов / Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. Л., 1996.
- Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды / Пер. М.А. Кузмина, С.П. Маркиша. М., 1993.
- Аристотель. Метафизика / Пер. А.В. Кубицкого // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1976.
- Аристотель. О софистических опровержениях / Пер. М.И. Иткинда // Логика и риторика: Хрестоматия / Сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. Минск, 1997.
- Аристотель. Поэтика / Пер. М.Л. Гаспарова // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1983.
- Аристотель. Риторика / Пер. Н. Платоновой // Античные риторика / Собр. текстов, коммент. и общ. ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978.
- Аристотель. Топика / Пер. М.И. Иткинда // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1978.
- Горгий. Елена // Ораторы Греции. М., 1985.
- Демосфен. Речи / Пер. и вступ. ст. С.И. Радцига. М., 1954
- Демосфен. Речи: В 3 т. / Под. ред. Е.С. Голубцовой, М.П. Маринович, Э.Л. Фролова. М., 1994.
- Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. 2-е изд. М., 1962.
- Исократ. Евагор / Цит. в пер. Э.Д. Фролова // Вестник древних историй (ВДИ). 1966. № 4.
- Исократ. О мире. Филипп / Пер. Л.М. Глускиной // Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994.
- Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб., 1993.
- Лисий. Речи. М., 1994.
- Ораторы Греции. М., 1985.
- Памятники византийской литературы IV—IX вв. М., 1968.
- Памятники средневековой латинской литературы IV—IX вв. М., 1970.
- Письма Марка Туллия Цицерона: В 3 т. М., 1994.
- Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990—1994.
- Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М., 1994.
- Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988.
- Суд над Сократом: Сб. исторических свидетельств: Платон, Ксенофонт, Диоген, Лаэртций, Плутарх, Либаний. СПб., 1997.
- Тацит К. Соч.: В 2 т. М., 1993.
- Фукидид. История. М., 1993.
- Цицерон Марк Туллий. Речи: В 2 т. М., 1993.
- Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994.

Дополнительная литература

- Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // Античная поэтика. М., 1991.
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
- Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
- Аристотель и античная литература / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М., 1978.

- Аристофан. Ахарняне // Аристофан. Комедии: В 2 т. М., 1954.
- Асмус В.Ф. История философии. М., 1976.
- Асмус В.Ф. Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954.
- Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля. М., 1960.
- Борухович В. Демосфен. М., 1985.
- Буассье Г. Картины древнеримской жизни. Очерки общественных настроений времен римских цезарей. СПб., 1896.
- Буассье Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. СПб., 1993.
- Буассье Г. Цицерон и его друзья. М., 1914.
- Бычков В.В. Эстетика поздней Античности. М., 1981.
- Виндельбанд В. Платон. Киев, 1993.
- Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Античная поэтика. М., 1991.
- Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994.
- Геродот. История. М., 1969.
- Гиляров А.Н. Источники о софистах. Платон как исторический свидетель. Киев, 1891.
- Грабарь-Пассек М.Е. Марк Туллий Цицерон // Цицерон Марк Туллий. Речи: В 2 т. Т. 1. М., 1993.
- Грималь П. Цицерон. М., 1991.
- Журенко Н.Б. Риторика в ранневизантийской поэзии (архаическая образность и новозаветная образность в эпиграммах Григория Назианзина) // Античная поэтика. М., 1991.
- Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. 2-е изд. СПб., 1995.
- Зелинский Ф.Ф. Теория судебного красноречия // Цицерон Марк Туллий. Полн. собр. соч. / Пер. В.А. Алексеева, Ф.Ф. Зелинского. Т. 1. СПб., 1901.
- Зелинский Ф.Ф. Художественная проза и ее судьба // Из жизни идей. Т. 2. СПб., 1911.
- Зубов В.П. Аристотель. М., 1963.
- Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М, 1994.
- История всемирной литературы: В 9 т. Т. 1. М., 1983; Т. 2. М., 1984.
- История греческой литературы: В 3 т. / Под ред. С.И. Соболевского и др. Т. 2. М.; Л., 1955.
- История римской литературы / Под общ. ред. Н.Ф. Дератани. М., 1954.
- История римской литературы: В 2 т. / Под ред. С.И. Соболевского. М., 1959.
- Кессиди Ф.Х. Сократ. М., 1976.
- Ковельман А.Б. Риторика в тени пирамид. М., 1988.
- Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие к спецкурсу. М., 1980.
- Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971.
- Консола Д. Дельфы. «Olimpic color». John Desorpules, 2001.
- Кузнецова Т.И. Речи в «Истории от основания города» Тита Ливия // Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. М., 1989.
- Кузнецова Т.И., Стрельникова И.Г. Ораторское искусство в Древнем Риме. М., 1976.
- Куле К. СМИ в Древней Греции. М., 2004.
- Курбатов Г.Л. Риторика // Культура Византии. Т. 1. М., 1984.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.
- Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. Жизнь и смысл. М., 1982.
- Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Жизнеописание. М., 1977.
- Лукиан. Избранное. М., 1962.
- Маковельский А.О. История логики. М., 1967.
- Маковельский А.О. Софисты. Вып. 1. Баку, 1940.
- Маринович Л.Г., Кошленко Г.А. Предисловие к изданию речей Лисия. // Лисий. Речи. М., 1994.
- Марков В.Н. Культурно-исторический памятник или настольная книга // Аристотель. Риторика. Поэтика. М., 2000.
- Меликова-Толстая С. Античные теории художественной речи // Античные теории языка и стиля: Антология текстов / Под общ. ред. О.М. Фрейденберг. Л., 1996.

- Миллер Т.А. К истории литературной критики классической Греции V—IV вв. до н.э. // Древнегреческая литературная критика. М., 1975.
- Миллер Т.А. От поэзии к прозе. Риторическая проза Горгия и Исократа // Античная поэтика. М., 1991.
- Моммзен Т. История Рима: В 5 т. Т. 3. СПб., 1995.
- Мочульский Ф. Логика, риторика и поэзия. Харьков, 1911.
- Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху Античности. М., 1990.
- Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1977.
- Никитинский Н. Речи Исея и Демосфена. М., 1903.
- Павсаний. Описание Эллады. Т. 1—2. СПб., 1996.
- Памятники поздней античной научно-художественной литературы II—V вв. М., 1964.
- Петроний Арбитр. Сатирикон. // Петроний Арбитр. Апулей. М., 1991.
- Пиндар. Истмийские оды // Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980.
- Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М., 1990.
- Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан. М., 1980.
- Соболевский С.И. Галлы и Галлия до времени Юлия Цезаря // Гай Юлий Цезарь. Записки о войне с галлами: В 2 т. М., 1946—1947.
- Соболевский С.И. Лисий и его речи // Лисий. Речи. М., 1994.
- Соколов Г.И. Олимпия. М., 1981.
- Софокл. Антигона // Софокл. Драмы. М., 1990.
- Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» римской республики (II в. до н.э.). М., 1986.
- Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
- Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969.
- Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1973.
- Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1976.
- Ученова В.В. У истоков публицистики. М., 1989.
- Федоров М.А., Мирошенкова В.И. Античная литература. Рим: Хрестоматия. М., 1981.
- Фолькманн Р. Риторика греков и римлян. Ревель, 1891.
- Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Византийская литература IV—VI вв. // Памятники византийской литературы IV—IX вв. М., 1968.
- Цицерон. 2000 лет со времени смерти: Сб. статей / Ред. колл. Н.Ф. Дератани, С.И. Радциг, И.М. Нахов. М., 1956.
- Цицерон: Сб. статей / Отв. ред. Ф.А. Петровский. М., 1956.
- Чанышев А.Н. Аристотель. М., 1981.
- Штаерман Е.М. SHA как исторический источник // Вестник древних историй (ВДИ). 1957. № 1.
- Ягодинский И.И. Софист Протагор. Казань, 1906.
- Baldson J.P. The Veracity of Caesar // Greece and Rome, IV (1957). N 1. P. 19.
- Bringmann K. Studien zu den politischen Ideen des Isocrates. Göttingen, 1965.
- Grassi E. Rhetoric as philosophy: The humanist tradition. L., 1980.
- Jachmann G. Caesar text und Caesar interpolation // Rh. Mus., 89 (1940).
- Lewis J.D. Isegoria at Athens: When did it Begin? // Historia. 1971. Vol. 20.
- Malkovati H. Oratorum Romanorum Fragmenta. Turin, 1955.
- Norden E. Die antie Kunstprosa vom VI. Jahrhundert. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. Leipzig, 1898.
- Stahl F.J. Die Philosophie des Rechts. Bd. 1. Geschichte der Rechtsphilosophie. 5 Aufl. Tübingen, 1879.
- Vlastos G. Equality and Justice in Early Greek Cosmologies // Studies in Presocratic Philosophy. L., 1970.
- Woodhead A.G. Istoria and the Council of 500 // Historia. 1967. Vol. 16.

СОДЕРЖАНИЕ

Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции	3
Принцип состязательности	3
Софистика	6
Софистика и скептицизм	8
Предшественники красноречия	10
Роль звучащего слова в греческой культуре	12
Демократия и риторика	15
Классическая риторика V—IV вв. до н.э.	21
Выдающиеся политические ораторы	21
Первые учителя красноречия	25
Горгий и горгианские фигуры (485—380 до н.э.)	27
Практика судебного красноречия	36
Лисий (ок. 459—380 до н.э.)	38
Исократ (436—338 до н.э.)	45
Демосфен (ок. 384—322 до н.э.)	64
Сократ (470—399 до н.э.) и Платон (427—347 до н.э.)	81
Риторическое учение Аристотеля (384—322 до н.э.)	100
Паралогизм как риторическая проблема в трудах Аристотеля	116
Риторика в эпоху эллинизма	137
Красноречие в эллинистической Греции	137
Красноречие республиканского Рима	140
Цицерон (106—43 до н.э.)	147
Цезарь и аттицизм	170
Рождение газеты	182
Красноречие императорского Рима (I — начало II в. н.э.)	193
Эллинское возрождение и «вторая софистика»	202
Риторика и раннее христианство	215
Заключение	236
Библиография	239